

Мерст
Силь Мерст

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

И ВЕЩЕ



С Е М Ь В Е Р С Т Д О Н Е Б Е С

С б о р н и к п о в е с т е й

и р а с с к а з о в

ЛЕНИНГРАД
«ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ»
1990

ББК 84Р7
С85

Семь верст до небес: Сборник / Сост. П. В. Крусанов.—
С85 Л.: Объединение «Всесоюзный молодежный книжный центр» филиал
«Васильевский остров», 1990.— 240 с.
ISBN 5-7012-0048-5

В сборник включены рассказы и повести современных прозаиков **С. Довлатова**,
Т. Бутовской, **М. Городинского**, **А. Столярова**, **В. Кобец**, **Е. Звягина**, **В. Бацалева**,
А. Левкина, **Л. Межибовского**.

Обычно, представляя книгу, где под одной обложкой собраны произведения нескольких авторов, принято говорить о некоем единстве, связующем разнородный материал в монолит. И обычно за такими словами монолита не обнаруживается, потому что любая величина в искусстве стремится к обособлению от остальных, ибо она самодостаточна. В сборнике «Семь верст до небес» каждый автор, как знакомый, так и незнакомый читателю, отвечает сам за себя. Ну, а внешним объединяющим признаком является то, что все они — наши современники, и все выпадают из немоты. Но каждый выпадает по-своему.

С $\frac{4702010200-027}{022(01)-90}$ Без объявл.

ББК 84Р7

ISBN 5-7012-0048-5

© Состав, оформление. Филиал
«Васильевский остров» объединения
«Всесоюзный молодежный книжный центр», 1990

Сергей Довлатов

ЧЕМОДАН

Рассказы из книги*

...Но и такой, моя Россия,
ты всех краев дороже мне...
Александр Блок

ПРЕДИСЛОВИЕ

В ОБИРе эта сука мне и говорит:

— Каждому отъезжающему полагается три чемодана. Такова установленная норма. Есть специальное распоряжение министерства.

Возражать не имело смысла. Но я, конечно, возразил:

— Всего три чемодана?! Как же быть с вещами?

— Например?

— Например, с моей коллекцией гоночных автомобилей?

— Продайте, — не вникая, откликнулась чиновница.

Затем добавила, слегка нахмутив брови:

— Если вы чем-то недовольны, пишите заявление.

— Я доволен, — говорю.

После тюрьмы я был всем доволен.

— Ну, так и ведите себя поскромнее...

Через неделю я уже складывал вещи. И, как выяснилось, мне хватило одного-единственного чемодана.

Я чуть не зарыдал от жалости к себе. Ведь мне тридцать шесть лет. Восемнадцать из них я работаю. Что-то зарабатываю, покупаю. Владею, как мне представлялось, некоторой собственностью. И в результате — один чемодан. Причем, довольно скромного размера. Выходит, я нищий? Как же это получилось?!

Книги? Но, в основном, у меня были запрещенные книги. Которые не пропускает таможня. Пришлось раздать их знакомым вместе с так называемым архивом.

* Текст печатается по изданию: Сергей Довлатов, «Чемодан» (рассказы) — Нью-Йорк, «Эрмитаж», 1986.

Рукописи? Я давно отправил их на Запад тайными путями. Мебель? Письменный стол я отвез в комиссионный магазин. Стулья забрал художник Чегин, который до этого обходил ящики. Остальное я выбросил.

Так и уехал с одним чемоданом. Чемодан был фанерный, обтянутый тканью, с никелированными креплениями по углам. Замок бездействовал. Пришлось обвязать мой чемодан бельевой веревкой.

Когда-то я ездил с ним в пионерский лагерь. На крышке было чернилами выведено: «Младшая группа. Сережа Довлатов». Рядом кто-то дружелюбно нацарапал: «говночист». Ткань в нескольких местах порвалась.

Изнутри крышка была заклеена фотографиями. Рокки Марчиано, Армстронг, Иосиф Бродский, Лоллобриджида в прозрачной одежде. Таможенник пытался оторвать Лоллобриджида ногтями. В результате — только поцарапал.

А Бродского не тронул. Всего лишь спросил — кто это? Я ответил, что дальний родственник...

Шестнадцатого мая я оказался в Италии. Жил в римской гостинице «Дина». Чемодан задвинул под кровать.

Вскоре получил какие-то гонорары из русских журналов. Приобрел голубые сандалии, фланелевые джинсы и четыре льняные рубашки. Чемодан я так и не раскрыл.

Через три месяца перебрался в Соединенные Штаты. В Нью-Йорк. Сначала жил в отеле «Рио». Затем у друзей во Флашинге. Наконец, снял квартиру в приличном районе. Чемодан поставил в дальний угол стенового шкафа. Так и не развязал бельевую веревку.

Прошло четыре года. Восстановилась наша семья. Дочь стала юной американкой. Родился сынок. Подрос и начал шалить. Однажды моя жена, выведенная из терпения, крикнула:

— Иди сейчас же в шкаф!

Сынок провел в шкафу минуты три. Потом я выпустил его и спрашиваю:

— Тебе было страшно? Ты плакал?

А он говорит:

— Нет. Я сидел на чемодане.

Тогда я достал чемодан. И раскрыл его.

Сверху лежал приличный двубортный костюм. В расчете на интервью, симпозиумы, лекции, торжественные приемы. Полагаю, он сгодился бы и для Нобелевской церемонии. Дальше — поплиновая рубашка и туфли, завернутые в бумагу. Под ними — вельветовая куртка на искусственном меху. Слева — зимняя шапка из фальшивого котика. Три пары финских креповых носков. Шоферские перчатки. И наконец — кожаный офицерский ремень.

На дне чемодана лежала страница «Правды» за май восьмидесятого года. Крупный заголовок гласил: «Великому учению — жить!» В центре — портрет Карла Маркса.

Школьником я любил рисовать вождей мирового пролетариата. И особенно — Маркса. Обыкновенную кляксу размазал — уже похоже...

Я оглядел пустой чемодан. На дне — Карл Маркс. На крышке — Бродский. А между ними — пропащая, бесценная, единственная жизнь.

Я закрыл чемодан. Внутри гулко перекатывались шарики нафталина. Вещи пестрой грудой лежали на кухонном столе. Это было все, что я нажил за тридцать шесть лет. За всю мою жизнь на родине. Я подумал — неужели это все? И ответил — да, это все.

И тут, как говорится, нахлынули воспоминания. Наверное, они таились в складках этого убогого тряпья. И теперь вырвались наружу. Воспоминания, которые следовало бы назвать — «От Маркса к Бродскому». Или, допустим — «Что я нажил». Или, скажем, просто — «Чемодан»...

Но, как всегда, предисловие затянулось.

КРЕПОВЫЕ ФИНСКИЕ НОСКИ

Эта история произошла восемнадцать лет тому назад. Я был в ту пору студентом Ленинградского университета.

Корпуса университета находились в старинной части города. Сочетание воды и камня порождает здесь особую, величественную атмосферу. В подобной обстановке трудно быть лентяем, но мне это удавалось.

Существуют в мире точные науки. А значит, существуют и неточные. Среди неточных, я думаю, первое место занимает филология. Так я превратился в студента филфака.

А через неделю меня полюбила стройная девушка в импортных туфлях. Звали ее Ася.

Ася познакомила меня с друзьями. Все они были старше нас — инженеры, журналисты, кинооператоры. Был среди них даже один заведующий магазином.

Эти люди хорошо одевались. Любили рестораны, путешествия. У некоторых были собственные автомашины.

Все они казались мне тогда загадочными, сильными и привлекательными. Я хотел быть в этом кругу своим человеком.

Позднее многие из них эмигрировали. Сейчас это нормальные пожилые евреи.

Жизнь, которую мы вели, требовала значительных расходов. Чаще всего они ложились на плечи Асиных друзей. Меня это чрезвычайно смущало.

Вспоминаю, как доктор Логовинский незаметно сунул мне четыре рубля, пока Ася заказывала такси...

Всех людей можно разделить на две категории. На тех, кто спрашивает. И на тех, кто отвечает. На тех, кто задает вопросы. И на тех, кто с раздражением хмурится в ответ.

Асины друзья не задавали ей вопросов. А я только и делал, что спрашивал:

— Где ты была? С кем поздоровалась в метро? Откуда у тебя французские духи?...

Большинство людей считает неразрешимыми те проблемы, решение которых мало их устраивает. И они без конца задают вопросы, хотя правдивые ответы им совершенно не требуются...

Короче, я вел себя назойливо и глупо.

У меня появились долги. Они росли в геометрической прогрессии. К ноябрю они достигли восьмидесяти рублей — цифры, по тем временам чудовищной.

Я узнал, что такое ломбард, с его квитанциями, очередями, атмосферой печали и бедности.

Пока Ася была рядом, я мог не думать об этом. Стоило нам проститься, и мысль о долгах наплывала, как туча.

Я просыпался с ощущением беды. Часами не мог заставить себя одеться. Всерьез планировал ограбление ювелирного магазина.

Я убедился, что любая мысль влюбленного бедняка — преступна.

К тому времени моя академическая успеваемость заметно снизилась. Ася же и раньше была неуспевающей. В деканате заговорили про наш моральный облик.

Я заметил — когда человек влюблен и у него долги, то предметом разговоров становится его моральный облик.

Короче, все было ужасно.

Однажды я бродил по городу в поисках шести рублей. Мне необходимо было выкупить зимнее пальто из ломбарда. И я повстречал Фреда Колесникова.

Фред курил, облокотясь на латунный поручень Елисеевского магазина. Я знал, что он фарцовщик. Когда-то нас познакомила Ася.

Это был высокий парень лет двадцати трех с нездоровым оттенком кожи. Разговаривая, он нервно приглаживал волосы.

Я, не раздумывая подошел:

— Нельзя ли попросить у вас до завтра шесть рублей?

Занимая деньги, я всегда сохранял немного развязный тон, чтобы людям проще было мне отказать.

— Элементарно, — сказал Фред, доставая небольшой квадратный бумажник.

Мне стало жаль, что я не попросил больше.

— Возьмите больше, — сказал Фред.

Но я, как дурак, запротестовал.

Фред посмотрел на меня с любопытством.

— Давайте пообедаем, — сказал он. — Хочу вас угостить.

Он держался просто и естественно. Я всегда завидовал тем, кому это удается.

Мы прошли три квартала до ресторана «Чайка». В зале было пустынно. Официанты курили за одним из боковых столиков.

Окна были распахнуты. Занавески покачивались от ветра.

Мы решили пройти в дальний угол. Но тут Фреда остановил юноша в серебристой дакроновой куртке. Состоялся несколько загадочный разговор:

— Приветствую вас.

— Мое почтение, — ответил Фред.

— Ну как?

— Да ничего.

Юноша разочарованно приподнял брови:

— Совсем ничего?

— Абсолютно.

— Я же вас просил.

— Мне очень жаль.

— Но я могу рассчитывать?

— Бесспорно.

— Хорошо бы в течение недели.

— Постараюсь.

— Как насчет гарантий?

— Гарантий быть не может. Но я постараюсь.

— Это будет — фирма?

— Естественно.

— Так что — звоните.

— Непременно.

— Вы помните мой номер телефона?

— К сожалению, нет.

— Запишите, пожалуйста.

— С удовольствием.

— Хотя это и не телефонный разговор.

— Согласен.

— Может быть заедете прямо с товаром?

— Охотно.

— Помните адрес?

— Боюсь, что нет...

И так далее.

Мы прошли в дальний угол. На скатерти выделялись четкие линии от утюга. Скатерть была шершавая.

Фред сказал:

— Обратите внимание на этого фраера. Год назад он заказал мне партию дельбанов с крестом...

Я перебил его:

— Что такое — дельбаны с крестом?

— Часы, — ответил Фред, — неважно... Я раз десять приносил ему товар — не берет. Каждый раз придумывает новые отговорки. Короче, так и не подписался. Я все думал — что за номера?

И вдруг уяснил, что он не хочет ПОКУПАТЬ мои дельбаны с крестом. Он хочет чувствовать себя бизнесменом, которому нужна партия фирменного товара. Хочет без конца задавать мне вопрос: «Как то, о чем я просил?»...

Официантка приняла заказ. Мы закурили, и я поинтересовался:

— А вас не могут посадить?

Фред подумал и спокойно ответил:

— Не исключено. Свои же и продадут, — добавил он без злости.

— Так, может, завязать?

Фред нахмурился:

— Когда-то я работал экспедитором. Жил на девяносто рублей в месяц...

Тут он неожиданно приподнялся и воскликнул:

— Это — уродливый цирковой номер!

— Тюрьма не лучше.

— А что делать? Способностей у меня нет. Уродоваться за девяносто рублей я не согласен... Ну, хорошо, съем я в жизни две тысячи котлет. Изношу двадцать пять темно-серых костюмов. Перелистаю семьсот номеров журнала «Огонек». И все? И сдохну, не поцарапав земной коры?... Уж лучше жить минуту, но по-человечески!..

Тут нам принесли еду и выпивку.

Мой новый друг продолжал философствовать:

— До нашего рождения — бездна. И после нашей смерти — бездна. Наша жизнь — лишь песчинка в равнодушном океане бесконечности. Так попытаемся хотя бы данный миг не омрачать унынием и скукой! Попытаемся оставить царапину на земной коре. А ляжку пусть тянет человеческий середняк. Все равно он не совершает подвигов. И даже не совершает преступлений...

Я чуть не крикнул Фреду: «Так совершали бы подвиги!». Но сдержался. Все-таки я пил за его счет.

Мы просидели в ресторане около часа. Потом я сказал:

— Надо идти. Ломбард закрывается.

И тогда Фред Колесников сделал мне предложение:

— Хотите в долю? Я работаю осторожно, валюту и золото не беру. Поправите финансовые дела, а там можно и соскочить. Короче, подписывайтесь... Сейчас мы выпьем, а завтра поговорим...

Назавтра я думал, что мой приятель обманет. Но Фред всего лишь опоздал. Мы встретились около бездействующего фонтана перед гостиницей «Астория». Потом отошли в кусты. Фред сказал:

— Через минуту придут две финки с товаром. Берите тачку и езжайте с ними по этому адресу... Мы, кажется, на вы?

— На ты, естественно, что за церемонии?

— Бери мотор и езжай. по этому адресу.

Фред сунул мне обрывок газеты и продолжал:

— Тебя встретит Рымарь. Узнать его просто. У Рымаря идиотская харя плюс оранжевый свитер. Через десять минут появлюсь я. Все будет о'кей!

— Я же не говорю по-фински.

— Это неважно. Главное — улыбайся. Я бы сам поехал, но меня тут знают...

Фред схватил меня за руку:

— Вот они! Действуй!

И пропал за кустами.

Страшно волнуясь, я пошел навстречу двум женщинам. Они были похожи на крестьянок, с широкими загорелыми лицами. На женщинах были светлые плащи, элегантные туфли и яркие косынки. Каждая несла хозяйственную сумку, раздувшуюся вроде футбольного мяча.

Бурно жестикулируя, я наконец подвел женщин к стоянке такси. Очереди не было. Я без конца повторял: «Мистер Фред, мистер Фред...» и трогал одну из женщин за рукав.

— Где этот тип, — вдруг рассердилась женщина, — куда он делся? Чего он нам голову морочит?!

— Вы говорите по-русски?

— Мамочка русская была.

Я сказал:

— Мистер Фред будет чуть позже. Мистер Фред просил отвезти вас к нему домой.

Подъехала машина. Я продиктовал адрес. Потом начал смотреть в окно. Не думал я, что среди прохожих такое количество милиционеров.

Женщины говорили между собой по-фински. Было ясно, что они недовольны. Затем они рассмеялись, и мне стало полегче.

На тротуаре меня поджидал человек в огненном свитере. Он сказал, подмигнув:

— Ну и хари!

— Ты на себя взгляни, — рассердилась Илона, которая была помоложе.

— Они говорят по-русски, — сказал я.

— Отлично, — не смутился Рымарь, — замечательно. Это сближает. Как вам нравится Ленинград?

— Ничего себе, — ответила Марья.

— В Эрмитаже были?

— Нет еще. А где это?

— Это где картины, сувениры и прочее. А раньше там жили цари.

— Надо бы взглянуть, — сказала Илона.

— Не были в Эрмитаже! — сокрушался Рымарь.

Он даже слегка замедлил шаги. Как будто ему претила дружба с такими некультурными женщинами.

Мы поднялись на второй этаж. Рымарь толкнул дверь, которая

была не заперта. Всюду громоздилась посуда. Стены были увешаны фотографиями. На диване лежали яркие конверты от заграничных пластинок. Постель была не убрана.

Рымарь зажег свет и быстро навел порядок. Затем он спросил: — Что за товар?

— Лучше ответь, где твой приятель с деньгами?

В ту же минуту раздалась шага и появился Фред Колесников. В руке он нес газету, которую достал из почтового ящика. Вид у него был спокойный и даже равнодушный.

— Терве, — сказал он финкам, — здравствуйте.

Затем повернулся к Рымарю:

— Ну и мрачные физиономии! Ты к ним приставал?

— Я?! — возмутился Рымарь. — Мы говорили о прекрасном! Кстати, они волокут по-русски.

— Отлично, — сказал Фред, — добрый вечер, госпожа Ленарт, как поживаете, Илона-барышня?

— Ничего, спасибо.

— Зачем вы скрыли, что говорите по-русски?

— А кто нас спрашивал?

— Сначала надо выпить, — заявил Рымарь.

Он достал из шкафа бутылку кубинского рома. Финки с удовольствием выпили. Рымарь снова налил.

Когда гости пошли в уборную, Рымарь сказал:

— Все чухонки — на одно лицо.

— Тем более, что они родные сестры, — пояснил Фред.

— Так я и думал... Кстати, физиономия этой госпожи Ленарт не внушает мне доверия.

Фред прикрикнул на Рымаря:

— А чья физиономия внушает тебе доверие, кроме физиономии следователя?

Финки быстро вернулись. Фред дал им чистое полотенце. Они подняли фужеры и улыбнулись — второй раз за целый день.

Хозяйственные сумки они держали на коленях.

— Ура, — сказал Рымарь, — за победу над Германией!

Мы выпили и финки тоже. На полу стояла радиола, и Фред включил ее ногой. Черный диск слегка покачивался.

— Ваш любимый писатель? — надоедал финкам Рымарь.

Женщины посовещались между собой. Затем Илона сказала:

— Возможно, Каръялайнен.

Рымарь снисходительно улыбнулся, давая понять, что одобряет названную кандидатуру. Однако сам претендует на большее.

— Ясно, — сказал он, — а что за товар?

— Носки, — ответила Марья.

— И больше ничего?

— А чего бы ты хотел?

— Сколько? — поинтересовался Фред.

— Четыреста тридцать два рубля, — отчеканила младшая, Илона.

— Майн гот! — воскликнул Рымарь. — Это же звериный оскал капитализма!

— Меня интересует — сколько пар? — отстранил его Фред.

— Семьсот двадцать.

— Креп-найлон? — требовательно вставил Рымарь.

— Синтетика, — ответила Илона, — шестьдесят копеек пара. Всего — четыреста тридцать два рубля...

Тут я должен сделать небольшую математическую выкладку. Креповые носки тогда были в моде. Советская промышленность таких не выпускала. Купить их можно было только на черном рынке. Стоила пара финских носков — шесть рублей. А у финнов их можно было приобрести за шестьдесят копеек. Девятьсот процентов чистого заработка...

Фред вынул бумажник и отсчитал деньги.

— Вот, — сказал он, — еще двадцать рублей. Товар оставьте прямо в сумках.

— Надо выпить, — вставил Рымарь, — за мирное урегулирование Суэцкого кризиса! За присоединение Эльзаса и Лотарингии!

Илона переложила деньги в левую руку. Взяла наполненный до краев стакан.

— Давайте трахнем этих финок, — прошептал Рымарь, — в целях международного единства.

Фред повернулся ко мне:

— Видишь, с кем приходится дело иметь!

Я испытывал чувство беспокойства и страха. Мне хотелось поскорее уйти.

— Ваш любимый художник? — спрашивал Рымарь Илону.

При этом он клал ей руку на спину.

— Возможно, Маантере, — говорила Илона, отодвигаясь.

Рымарь укоризненно приподнял брови. Словно его эстетическое чувство было немного задето.

Фред сказал:

— Надо проводить женщин и дать водителю семь рублей. Я бы послал Рымаря, но он зажилит часть денег.

— Я?! — возмущился Рымарь. — С моей кристальной честностью?!

Когда я вернулся, повсюду лежали разноцветные целлофановые свертки. Рымарь казался немного сумасшедшим.

— Пиастры, кроны, доллары, — твердил он, — франки, иены...

Потом вдруг успокоился, достал записную книжку и фломастер. Что-то подсчитал и говорит:

— Ровно семьсот двадцать пар. Финны — честный народ. Вот что значит — слаборазвитое государство...

— Помножь на три, — сказал ему Фред.

— Как это — на три?

— Носки уйдут по трешке, если сдать их оптом. Полтора куса с довеском чистого навару.

Рымарь быстро уточнил:

— Тысяча семьсот двадцать восемь рублей.

Безумие уживалось в нем с практицизмом.

— Пятьсот с чем-то на брата, — добавил Фред.

— Пятьсот семьдесят шесть, — вновь уточнил Рымарь...

Позже мы оказались с Фредом в шашлычной. Клеенка на столе была липкая. Вокруг стоял какой-то жирный туман. Люди проплывали мимо, как рыба в аквариуме.

Фред выглядел рассеянным и мрачным. Я сказал:

— В пять минут такие деньги!

Надо же было что-то сказать.

— Все равно, — ответил Фред, — будешь сорок минут дожидаться, когда тебе принесут чебуреки на маргарине.

Тогда я спросил:

— Зачем я тебе нужен?

— Я Рымарю не доверяю. Не потому, что Рымарь может обокрасть клиента. Хотя такое не исключено. И не потому, что Рымарь может зарядить клиенту старые облигации вместо денег. И даже не потому, что склонен трогать клиента руками. А потому, что Рымарь — дурак. Что губит дурака? Тяга к прекрасному. Рымарь тянется к прекрасному. Вопреки своей исторической обреченности, Рымарь хочет японский транзистор. Рымарь идет в магазин «Березка», протягивает кассиру сорок долларов. Это с его-то рожей! Да он в банальном гастрономе рубль протягивает, и то кассир не сомневается, что рубль украден. А тут — сорок долларов! Нарушение правил валютных операций. Готовая статья... Рано или поздно он сядет.

— А я? — спрашиваю.

— Ты — нет. У тебя будут другие неприятности.

Я не стал уточнять — какие.

Прощаясь, Фред сказал:

— В четверг получишь свою долю.

Я уехал домой в каком-то непонятном состоянии. Я испытывал смешанное чувство беспокойства и азарта. Наверное, есть в шальных деньгах какая-то гнусная сила.

Асе я не рассказал о моем приключении. Мне хотелось ее поразить. Неожиданно превратиться в богатого и размашистого человека.

Между тем, дела с ней шли все хуже. Я без конца задавал ей вопросы. Даже когда я поносил ее знакомых, то употреблял вопросительную форму:

— Не кажется ли тебе, что Арик Шульман просто глуп?..

Я хотел скомпрометировать Шульмана в Асиных глазах, достигая, естественно, противоположной цели.

Скажу, забегая вперед, что осенью мы расстались. Ведь чело-

век, который беспрерывно спрашивает, должен рано или поздно научиться отвечать...

В четверг позвонил Фред:

— Катастрофа!

— Что такое?

Я подумал, что арестовали Рымаря.

— Хуже, — сказал Фред, — зайди в ближайший галантерейный магазин.

— Зачем?

— Все магазины завалены креповыми носками. Причем, советскими креповыми носками. Восемьдесят копеек — пара. Качество не хуже, чем у финских. Такое же синтетическое дерьмо...

— Что же делать?

— Да ничего. А что тут можно сделать? Кто мог ждать такой подянки от социалистической экономики?! Кому я теперь отдам финские носки? Да их по рублю не возьмут! Знаю я нашу блядскую промышленность! Сначала она двадцать лет кочумает, а потом вдруг — раз! И все магазины забиты какой-нибудь одной хреновиной. Если уж зарядили поточную линию, то все. Будут теперь штамповать эти креповые носки — миллион пар в секунду...

Носки мы в результате поделили. Каждый из нас взял двести сорок пар. Двести сорок пар одинаковых креповых носков безобразной гороховой расцветки. Единственное утешение — клеймо «Мейд ин Финланд».

После этого было многое. Операция с плащами «болонья». Перепродажа шести немецких стереоустановок. Драка в гостинице «Космос» из-за ящика американских сигарет. Бегство от милицейского наряда с грузом японского фотооборудования. И многое другое.

Я расплатился с долгами. Купил себе приличную одежду. Перешел на другой факультет. Познакомился с девушкой, на которой впоследствии женился. Уехал на месяц в Прибалтику, когда арестовали Рымаря и Фреда. Начал делать робкие литературные попытки. Стал отцом. Добился конфронтации с властями. Потерял работу. Месяц просидел в Каляевской тюрьме.

И лишь одно было неизменным. Двадцать лет я щеголял в гороховых носках. Я дарил их всем своим знакомым. Хранил в них елочные игрушки. Вытирал ими пыль. Затыкал носками щели в оконных рамах. И все же количество этой дряни почти не уменьшалось.

Так я и уехал, бросив в пустой квартире груду финских креповых носков. Лишь три пары сунул в чемодан.

Они напомнили мне криминальную юность, первую любовь и старых друзей. Фред, отсидев два года, разбился на мотоцикле «Чизетта». Рымарь отсидел год и служит диспетчером на мясокомбинате. Ася благополучно эмигрировала и преподает лексикологию в Стэнфорде. Что весьма странно характеризует американскую науку.

НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ПОЛУБОТИНКИ

Я должен начать с откровенного признания. Ботинки эти я практически украл...

Двести лет назад историк Карамзин побывал во Франции. Русские эмигранты спросили его:

— Что, в двух словах, происходит на родине?

Карамзину и двух слов не понадобилось.

— Воруют, — ответил Карамзин...

Действительно, воруют. И с каждым годом все размахистей.

С мясокомбината уносят говяжьи туши. С текстильной фабрики — пряжу. С завода киноаппаратуры — линзы.

Тщат все — кафель, гипс, полиэтилен, электромоторы, болты, шурупы, радиолампы, нитки, стекла.

Зачастую все это принимает метафизический характер. Я говорю о совершенно загадочном воровстве без какой-либо разумной цели. Такое, я уверен, бывает лишь в российском государстве.

Я знал тонкого, благородного, образованного человека, который унес с предприятия ведро цементного раствора. В дороге раствор, естественно, затвердел. Похититель выбросил каменную глыбу неподалеку от своего дома.

Другой мой приятель взломал агитпункт. Вынес избирательную урну. Притащил ее домой и успокоился. Третий мой знакомый украл огнетушитель. Четвертый унес из кабинета своего начальника бюст Поля Робсона. Пятый — афишную тумбу с улицы Шкапина. Шестой — пюпитр из клуба самодеятельности.

Я, как вы сможете убедиться, действовал гораздо практичнее. Я украл добротные советские ботинки, предназначенные на экспорт. Причем, украл я их не в магазине, разумеется. В советском магазине нет таких ботинок. Стащил я их у председателя ленинградского горисполкома. Короче говоря, у мэра Ленинграда.

Однако мы забежали вперед.

Демобилизовавшись, я поступил в заводскую многотиражку. Прослужил в ней три года. Понял, что идеологическая работа не для меня.

Мне захотелось чего-то более непосредственного. Далекого от нравственных сомнений.

Я припомнил, что когда-то занимался в художественной школе. Между прочим, в той же самой, которую окончил известный художник Шемякин. Какие-то навыки у меня сохранились.

Знакомые устроили меня по блату в ДПИ (Комбинат декоративно-прикладного искусства). Я стал учеником камнереза. Решил утвердиться на поприще монументальной скульптуры.

Увы, монументальная скульптура — жанр весьма консервативный. Причина этого — в самой ее монументальности.

Можно тайком писать романы и симфонии. Можно тайно экспериментировать на холсте. А вот попытайтесь-ка утаить четырехметровую скульптуру. Не выйдет!

Для такой работы необходима просторная мастерская. Значительные подсобные средства. Целый штат ассистентов, формовщиков, грузчиков. Короче, требуется официальное признание. А значит — полная благонадежность. И никаких экспериментов...

Побывал я однажды в мастерской знаменитого скульптора. По углам громоздились его незавершенные работы. Я легко узнал Юрия Гагарина, Маяковского, Фиделя Кастро. Пригляделся и замер — все они были голые. То есть абсолютно голые. С добросовестно вылепленными задами, половыми органами и рельефной мускулатурой.

Я похолодел от страха.

— Ничего удивительного, — пояснил скульптор, — мы же реалисты. Сначала лепим анатомию. Потом одежду...

Зато наши скульпторы — люди богатые. Больше всего они получают за изображение Ленина. Даже трудоемкая борода Карла Маркса оплачивается не так щедро.

Памятник Ленину есть в каждом городе. В любом районном центре. Заказы такого рода — неистощимы. Опытный скульптор может вылепить Ленина вслепую. То есть с завязанными глазами. Хотя бывают и курьезы. В Челябинске, например, произошел такой случай.

В центральном сквере, напротив здания горсовета, должны были установить памятник Ленину. Организовали торжественный митинг. Собралось тысячи полторы народу.

Звучала патетическая музыка. Ораторы произносили речи.

Памятник был накрыт серой тканью.

И вот наступила решающая минута. Под грохот барабанов чиновники местного исполкома сдернули ткань.

Ленин был изображен в знакомой позе — туриста, голосующего на шоссе. Правая его рука указывала дорогу в будущее. Левую он держал в кармане распахнутого пальто.

Музыка стихла. В наступившей тишине кто-то засмеялся. Через минуту хохотала вся площадь.

Лишь один человек не смеялся. Это был ленинградский скульптор Виктор Дрыжаков. Выражение ужаса на его лице постепенно сменилось гримасой равнодушия и безысходности.

Что же произошло? Несчастный скульптор изваял две кепки. Одна покрывала голову вождя. Другую Ленин сжимал в кулаке.

Чиновники поспешно укутали бракованный монумент серой тканью.

Наутро памятник был вновь обнародован. За ночь лишнюю кепку убрали...

Мы снова отвлеклись.

Монументы рождаются так. Скульптор лепит глиняную модель. Формовщик отливает ее в гипсе. Потом за дело берутся камнерезы.

Есть гипсовая фигура. И есть бесформенная мраморная глыба. Необходимо, как говорится, убрать все лишнее. Абсолютно точно скопировать гипсовый прообраз.

Для этого имеются специальные устройства, так называемые пунктир-машины. С помощью этих машин на камне делаются тысячи зарубок. То есть, определяются контуры будущего монумента.

Затем камнерез вооружается небольшим перфоратором. Стесывает грубые напластования мрамора. Берется за киянку и скарапель (нечто вроде молотка и зубила). Предстоит завершающий этап, филигранная, ответственная работа.

Камнерез обрабатывает мраморную поверхность. Одно неверное движение — и конец. Ведь строение мрамора подобно древесной фактуре. В мраморе есть хрупкие слои, затвердения, трещины. Есть прочные фактурные сгустки. (Что-то вроде древесных сучков). Есть многочисленные вкрапления иной породы. И так далее. В общем, дело это кропотливое и непростое.

Меня зачислили в бригаду камнерезов. Нас было трое. Бригадир звали Осип Лихачев. Его помощника и друга — Виктор Цыпин. Оба были мастерами своего дела и, разумеется, горькими пьяницами.

При этом, Лихачев выпивал ежедневно, а Цыпин страдал хроническими запоями. Что не мешало Лихачеву изредка запивать, а Цыпину опохмеляться при каждом удобном случае.

Лихачев был хмурый, сдержанный, немногословный. Он часами молчал, а затем вдруг произносил короткие и совершенно неожиданные речи. Его монологи были продолжением тяжких внутренних раздумий. Он восклицал, резко поворачиваясь к любому случайному человеку:

— Вот ты говоришь — капитализм, Америка, Европа! Частная собственность!.. У самого последнего чучмека — легковой автомобиль!.. А доллар, извиняюсь, все же падает!..

— Значит, есть куда падать, — весело откликнулся Цыпин, — уже неплохо. А твоему засраному рублю и падать некуда...

Однако Лихачев не реагировал, снова погрузившись в безмолвие.

Цыпин, наоборот, был разговорчивым и добродушным человеком. Ему захотелось спорить.

— Дело не в машине, — говорил он, — я сам автолюбитель... Главное при капитализме — свобода. Хочешь — пьешь с утра до ночи. Хочешь — вкальываешь круглые сутки. Никакого идейного воспитания. Никакой социалистической морали. Кругом журналы с голыми девками... Опять же — политика. Допустим, не понравился тебе какой-нибудь министр — отлично. Пишешь в редакцию: министр — говно! Любому президенту можно в рожу наплевать. О вице-президентах я уж и не говорю... А машина и здесь не такая большая редкость. У меня с шестидесятого года «Запорожец», а что толку?..

Действительно, Цыпин купил «Запорожец». Однако, будучи хроническим пьяницей, месяцами не садился за руль. В ноябре машину засыпало снегом. «Запорожец» превратился в небольшую

снежную гору. Около нее всегда толпились дворовые ребята.

Весной снег растаял. «Запорожец» стал плоским, как гоночная машина. Крыша его была продавлена детскими санками.

Цыпин этому почти обрадовался:

— За рулем я обязан быть трезвым. А в такси я и пьяный доеду...

Такие вот попались мне учителя.

Вскоре мы получили заказ. Причем, довольно выгодный и срочный. Бригаде предстояло вырубить рельефное изображение Ломоносова для новой станции метро. Скульптор Чудновский быстро изготовил модель. Формовщики отлили ее в гипсе. Мы пришли взглянуть на это дело.

Ломоносов был изображен в каком-то подозрительном халате. В правой руке он держал бумажный свиток. В левой — глобус. Бумага, как я понимаю, символизировала творчество, а глобус — науку.

Сам Ломоносов выглядел упитанным, женственным и неопрятным. Он был похож на свинью. В сталинские годы так изображали капиталистов. Видимо, Чудновскому хотелось утвердить примат материи над духом.

А вот глобус мне понравился. Хотя почему-то он был развернут к зрителям американской стороной.

Скульптор добросовестно вылепил миниатюрные Кордильеры, Аппалаччи, Гвианское нагорье. Не забыл про озера и реки — Гурон, Атабаска, Манитоба...

Выглядело это довольно странно. В эпоху Ломоносова такой подробной карты Америки, я думаю, не существовало. Я сказал об этом Чудновскому. Скульптор рассердился:

— Вы рассуждаете, как десятиклассник! А моя скульптура — не школьное пособие! Перед вами — шестая инвенция Баха, запечатленная в мраморе. Точнее, в гипсе... Последний крик метафизического синтетизма!...

— Коротко и ясно, — вставил Цыпин.

— Не спорь, — шепнул мне Лихачев, — какое твое дело?

Неожиданно Чудновский смягчился:

— А может, вы правы. И все же — оставим как есть. В каждой работе необходима минимальная доля абсурда...

Мы принялись за дело. Сначала работали на комбинате. Потом оказалось, что нужно спешить. Станцию решено было запустить к ноябрьским праздникам.

Пришлось заканчивать работу на месте. То есть, под землей.

На станции «Ломоносовская» шли отделочные работы. Здесь трудились каменщики, электрики, штукатуры. Бесчисленные компрессоры производили адский шум. Пахло жженой резиной и мокрой известкой. В металлических бочках горели костры.

Нашу модель бережно опустили под землю. Установили ее на громадных дубовых козлах. Рядом висела на цепях четырехтонная мраморная глыба. В ней угадывались приблизительные очерта-

ния фигуры Ломоносова. Нам предстояла самая ответственная часть работы.

Тут возникло непредвиденное осложнение. Дело в том, что эскалаторы бездействовали. Идя наверх за водкой, требовалось преодолеть шестьсот ступеней.

В первый день Лихачев заявил:

— Иди. Ты самый молодой.

Я и не знал, что метро расположено на такой глубине. Да еще в Ленинграде, где почва сырая и зыбкая. Мне пришлось раза два отдыхать. «Столичная», которую я принес, была выпита за минуту.

Пришлось идти снова. Я все еще был самым молодым. Короче, за день я шесть раз ходил наверх. У меня заболели колени.

На следующий день мы поступили иначе. А именно, сразу же купили шесть бутылок. Это не помогло. Наши запасы привлекали внимание окружающих. К нам потянулись электрики, сварщики, маляры, штукатуры. Через десять минут водка кончилась. И снова я отправился наверх.

На третий день мои учителя решили бросить пить. На время, разумеется. Но окружающие по-прежнему выпивали. И щедро угощали нас.

На четвертый день Лихачев объявил:

— Я не фраер! Я не могу больше пить за чужой счет! Кто у нас, ребята, самый молодой?..

И я отправился наверх. Подъем давался мне все легче. Видимо, ноги окрепли.

Так что, работали, в основном, Лихачев и Цыпин. Облик Ломоносова становился все более четким. И, надо заметить, все более отталкивающим.

Иногда появлялся скульптор Чудновский. Давал руководящие указания. Кое-что на ходу переделывал.

Работяги тоже интересовались Ломоносовым. Спрашивали, например:

— Кто это в принципе — мужик или баба?

— Нечто среднее, — отвечал им Цыпин...

Надвигались праздники. Отделочные работы близились к завершению. Станция метро «Ломоносовская» принимала нарядный, торжественный вид.

Пол застелили мозаикой. Своды были украшены чугунными лампами. Одна из стен предназначалась для нашего рельефа. Там установили гигантскую сварную раму. Чуть выше мерцали тяжелые блоки с цепями.

Я убирал мусор. Мои учителя наводили последний глянец. Цыпин прорабатывал кружевное жабо и шнуры на ботинках. Лихачев шлифовал завитки парика.

В канун открытия станции мы ночевали под землей. Нам предстояло вывесить свой злополучный рельеф. А именно — поднять его на талых. Ввести так называемые «пироны». И, наконец, залить крепления для прочности эпоксидной смолой.

Поднять такую глыбу на четыре метра от земли довольно сложно. Мы провозились несколько часов. Блоки то и дело заклинивало. Штыри не попадали в отверстия. Цепи скрипели, камень раскачивался. Лихачев орал:

— Не подходи!..

Наконец, мраморная глыба повисла над землей. Мы сняли цепи и отошли на почтительное расстояние. Издалека Ломоносов выглядел более прилично.

Цыпин и Лихачев с облегчением выпили. Потом начали готовить эпоксидную смолу.

Разошлись мы под утро. В час должно было состояться торжественное открытие.

Лихачев пришел в темно-синем костюме. Цыпин — в замшевой куртке и джинсах. Я и не подозревал, что он шеголь.

Между прочим, оба были трезвые. От этого и у них даже цвет лица изменился.

Мы спустились под землю. Среди мраморных колонн прогуливались нарядные трезвые работяги. Хотя карманы у многих заметно оттопыривались.

Четверо плотников сколачивали маленькую трибуну. Установить ее должны были под нашим рельефом.

Осип Лихачев понизил голос и сказал мне:

— Есть подозрение, что эпоксидная смола не затвердела. Цыпа бухнул слишком много растворителя. Короче, эта мраморная фигура держится на честном слове. Поэтому, когда начнется митинг, отойди в сторонку. И жену предупреди на будущее.

— Но там же, — говорю, — будет стоять весь цвет Ленинграда! А что, если все сооружение рухнет?

— Может, оно бы и к лучшему, — вяло сказал бригадир...

В час должны были появиться именитые гости. Ожидали мэра города, товарища Сизова. Его должны были сопровождать представители ленинградской общественности. Ученые, генералы, спортсмены, писатели.

Программа открытия была такая. Сначала — небольшой банкет для избранных. Затем — короткий митинг. Вручение почетных грамот и наград. А дальше, как выразился начальник станции — «по интересам». Одни — в ресторан, другие — на концерт художественной самодеятельности.

Гости прибыли в час двадцать. Я узнал композитора Андрея Петрова, шангиста Дудко и режиссера Владимирова. Ну и, конечно, самого мэра.

Это был высокий, еще не старый человек. Выглядел он почти интеллигентно. Его охраняли двое хмурых упитанных молодцов. Их выделяла легкая меланхолия, свидетельствующая о явной готовности к драке.

Мэр обошел станцию, помедлил возле нашего рельефа. Негромко спросил:

— Кого он мне напоминает?

— Хрущева, — подмигнул нам Цыпин.

Мэр не дождался ответа и последовал дальше. За ним, угодливо посмеиваясь, бежал начальник станции.

К этому времени трибуну обтянули розовым сатином. Через несколько минут осмотр закончился. Нас пригласили к столу.

Отворилась какая-то загадочная боковая дверь. Мы увидели просторную комнату. Я и не знал о ее существовании. Наверное, здесь собирались оборудовать бомбоубежище для администрации.

В банкете участвовали гости и несколько заслуженных работников. Мы были приглашены все трое. Видимо, нас считали местной интеллигенцией. Тем более, что скульптор отсутствовал.

Всего за столом разместилось человек тридцать. По одну сторону — гости, напротив — мы.

Первым выступил начальник станции. Он представил мэра города, назвав его «стойким ленинцем». Все долго аплодировали.

После этого взял слово мэр. Он говорил по бумажке. Выразил чувство глубокого удовлетворения. Поздравил всех трудящихся с досрочным завершением работ. Запинаясь, назвал три или четыре фамилии. И, наконец, предложил выпить за мудрое ленинское руководство.

Все зашумели и потянулись к бокалам.

Потом было еще несколько тостов. Начальник станции предложил выпить за мэра. Композитор Петров — за светлое будущее. Режиссер Владимир — за мирное сосуществование. А штангист Дудко за сказку, которая на глазах превращается в быль.

Цыпин порозвел. Он выпил фужер коньяка и потянулся за шампанским.

— Не смешивай, — посоветовал бригадир, — а то уже хорош.

— Что значит — не смешивай, — удивился Цыпин, — почему? Я же грамотно смешиваю. Делаю все по науке. Водку с пивом мешать — это одно. Коньяк с шампанским — другое. Я в этом деле профессор.

— Оно и видно, — нахмурился Лихачев, — по той же эпоксидной смоле...

Через минуту все говорили хором. Цыпин обнимал режиссера Владимирова. Начальник станции ухаживал за мэром. Штукатуры и каменщики, перебивая один другого, жаловались на заниженные расценки.

Только Лихачев молчал. Видно, думал о чем-то. Затем вдруг резко и совершенно неожиданно произнес, обращаясь к штангисту Дудко:

— Знал одну еврейку. Сошлись. Готовила неплохо...

А я наблюдал за мэром. Что-то беспокоило его. Томило. Заставляло хмуриться и напрягаться. Временами по его лицу бродила страдальческая улыбка.

Затем произошло следующее.

Мэр резко придвинулся к столу. Не опуская головы, пригнулся. Левая рука его, оставив бутерброд, скользнула вниз.

Около минуты лицо почетного гостя выражало крайнюю сосредоточенность. Потом, издав едва уловимый звук лопнувшей шины, мэр весело откинулся на спинку стула. И с облегчением взял бутерброд.

Тогда я незаметно приподнял скатерть. Заглянул под стол и тотчас выпрямился. То, что я увидел, поразило меня и вынудило затаить дыхание. Я сжался от причастности к тайне.

А увидел я крупные ступни мэра города, туго обтянутые зелеными шелковыми носками. Пальцы ног мэра города шевелились. Как будто мэр импровизировал на рояле.

Ботинки стояли рядом.

И тут — не знаю, что со мной произошло. То ли сказалось мое подавленное диссидентство. То ли заговорила во мне криминальная сущность. То ли воздействовали на меня загадочные разрушительные силы.

Раз в жизни такое бывает с каждым.

Дальнейшие события припоминаю, как в тумане. Я передвинулся на край сиденья. Вытянул ногу. Нашупал ботинки мэра города и осторожно притянул их к себе.

И лишь после этого замер от страха.

В ту же минуту поднялся начальник станции:

— Внимание, друзья! Приглашаю вас на короткий торжественный митинг. Почетные гости, займите места на трибуне!

Все зашевелились. Режиссер Владимиров поправил галстук. Штангист Дудко торопливо застегнул верхнюю пуговицу на брюках. Цыпин и Лихачев неохотно оставили бокалы.

Я посмотрел на мэра. Тревожно оглядываясь, мэр шарил ногой под столом. Я, разумеется, не видел этого. Но я догадывался об этом по выражению его растерянного лица. Было заметно, что радиус поисков увеличивается.

Что мне оставалось делать?

Возле моего кресла стоял портфель Лихачева. Портфель всегда был с нами. В нем умещалось до шестнадцати бутылок «Столичной». Таскать его было раз и навсегда поручено мне.

Я уронил носовой платок. Затем нагнулся и сунул ботинки мэра в портфель. Я ощутил их благородную, тяжеловатую прочность. Не думаю, чтобы кто-то все это заметил.

Застегнув портфель, я встал. Остальные тоже стояли. Все, кроме товарища Сизова. Охранники вопросительно поглядывали на босса.

И тут мэр города показал себя умным и находчивым человеком. Прижав ладонь к груди, он тихо выговорил:

— Что-то мне нехорошо. Я на минуточку прилягу...

Мэр быстро снял пиджак, ослабил галстук и взгромоздился на диванчик у телефона. Его ступни в зеленых шелковых носках

утомленно раздвинулись. Руки были сложены на животе. Глаза прикрыты.

Охранники начали действовать. Один звонил врачу. Другой командовал:

— Освободите помещение! Я говорю — освободите помещение! Да побыстрее! Начинайте митинг!.. Еще раз повторяю — начинайте митинг!..

— Могу я чем-то помочь? — вмешался начальник станции.

— Убирайся, старый пидор! — раздалось в ответ.

Первый охранник добавил:

— На столах все оставить, как есть! Не исключена провокация! Надеюсь, фамилии присутствовавших известны?

Начальник станции угодливо кивнул:

— Я списочек представлю...

Мы вышли из помещения. Я нес портфель в дрожащей руке. Среди колонн толпились работяги. Ломоносов, слава Богу, висел на прежнем месте.

Митинг не отменили. Именитые гости, лишившиеся своего предводителя, замедлили шаги возле трибуны. Им scomандовали — подняться. Гости расположились под мраморной глыбой.

— Пошли отсюда, — сказал Лихачев, — чего мы здесь не видели? Я знаю пивную на улице Чкалова.

— Хорошо бы, — говорю, — удостовериться, что монумент не рухнул.

— Если рухнет, — сказал Лихачев, — то мы и в пивной услышим.

Цыпин добавил:

— Хохоту будет...

Мы выбрались на поверхность. День был морозный, но солнечный. Город был украшен праздничными флагами.

А нашего Ломоносова через два месяца сняли. Ленинградские ученые написали письмо в газету. Жаловались, что наша скульптура принижает великий образ. Претензии, естественно, относились к Чудновскому. Так что деньги нам полностью заплатили. Лихачев сказал:

— Это главное...

ОФИЦЕРСКИЙ РЕМЕНЬ

Самое ужасное для пьяницы — очнуться на больничной койке. Еще не окончательно проснувшись, ты бормочешь:

— Все! Завязываю! Навсегда завязываю! Больше — ни единой капли!

И вдруг обнаруживаешь на голове толстую марлевую повязку. Хочешь потрогать бинты, но оказывается, что левая рука твоя в гипсе. И так далее.

Все это произошло со мной летом шестьдесят третьего года на юге республики Коми.

За год до этого меня призвали в армию. Я был зачислен в лагерную охрану. Окончил двадцатидневную школу надзирателей под Синдором...

Еще раньше я два года занимался боксом. Участвовал в республиканских соревнованиях. Однако я не помню, чтобы тренер хоть раз мне сказал:

— Ну, все. Я за тебя спокоен.

Зато я услышал это от инструктора Торопцева в школе надзора состава. После трех недель занятий. И при том, что угрожали мне в дальнейшем не боксеры, а рецидивисты...

Я попытался оглядеться. На линолеуме желтели солнечные пятна. Тумбочка была заставлена лекарствами. У двери висела стенная газета «Ленин и здравоохранение».

Пахло дымом и, как ни странно, водорослями. Я находился в санчасти.

Болела стянутая повязкой голова. Ощущалась глубокая рана над бровью. Левая рука не действовала.

На спинке кровати висела моя гимнастерка. Там должны были оставаться сигареты. Вместо пепельницы я использовал банку с каким-то чернильным раствором. Спичечный коробок пришлось держать в зубах.

Теперь можно было припомнить события вчерашнего дня.

Утром меня вычеркнули из конвойного списка. Я пошел к старшине:

— Что случилось? Неужели мне полагается выходной?

— Вроде того, — говорит старшина, — можешь радоваться... Зэк помешался в четырнадцатом бараке. Лает, кукарекает... Повариху тетю Шуру укусил... Короче, доставишь его в психбольницу на Иоссере. А потом целый день свободен. Типа выходного.

— Когда я должен идти?

— Хоть сейчас.

— Один?

— Ну почему — один? Вдвоем, как полагается. Чурилина возьми или Гаенко...

Чурилина я разыскал в инструментальном цехе. Он возился с паяльником. На верстаке что-то потрескивало, распространяя запах канифоли.

— Напайку делаю, — сказал Чурилин, — ювелирная работа. Погляди.

Я увидел латунную бляху с рельефной звездой. Внутренняя сторона ее была залита оловом. Ремень с такой напайкой превращался в грозное оружие.

Была у нас в ту пору мода — чекисты заводили себе кожаные офицерские ремни. Потом заливали бляху слоем олова и шли на танцы. Если возникало побоище, латунные бляхи мелькали над головами...

Я говорю:

— Собирайся.

— Что такое?

— Психа везем на Иоссер. Какой-то ээк рехнулся в четырнадцатом бараке. Между прочим, тетю Шуру укусил.

Чурилин говорит:

— И правильно сделал. Видно, жрать хотел. Эта Шура казенное масло уносит домой. Я видел.

— Пошли, — говорю.

Чурилин остудил бляху под краном и затянул ремень:

— Поехали...

Мы получили оружие, заходим на вахту. Минуты через две контролер приводит небритого, толстого ээка. Тот упирается и кричит:

— Хочу красивую девушку, спортсменку! Дайте мне спортсменку! Сколько я должен ждать?

Контролер без раздражения ответил:

— Минимум, лет шесть. И то, если освободят досрочно. У тебя же групповое дело.

Ээк не обратил внимания и продолжал кричать:

— Дайте мне, гады, спортсменку-разрядницу!..

Чурилин присмотрелся к нему и толкнул меня локтем:

— Слушай, да какой он псих?! Нормальный человек. Сначала жрать хотел, а теперь ему бабу подавай. Да еще разрядницу... Мужик со вкусом... Я бы тоже не отказался...

Контролер передал мне документы. Мы вышли на крыльцо. Чурилин спрашивает:

— Как тебя зовут?

— Доремифасоль, — ответил ээк.

Тогда я сказал ему:

— Если вы, действительно, ненормальный — пожалуйста. Если притворяетесь — тоже ничего. Я не врач. Мое дело отвезти вас на Иоссер. Остальное меня не волнует. Единственное условие — не переигрывать. Начнете кусаться — пристрелю. А лаять и кукарекать можете сколько угодно...

Идти нам предстояло километра четыре. Попутных лесовозов не было. Машину начальника лагеря взял капитан Соколовский. Уехал, говорят, сдавать какие-то экзамены в Инту.

Короче, мы должны были идти пешком. Дорога вела через поселок, к торфяным болотам. Оттуда — мимо рощи, до самого переезда. А за переездом начинались лагерные вышки Иоссера.

В поселке около магазина Чурилин замедлил шаги. Я протянул ему два рубля. Патрульных в эти часы можно было не опасаться.

Ээк явно одобрил нашу идею. Даже поделился на радостях:

— Толик меня зовут...

Чурилин принес бутылку «Московской». Я сунул ее в карман галифе. Осталось потерпеть до роши.

Зэк то и дело вспоминал о своем помешательстве. Тогда он становился на четвереньки и рычал.

Я посоветовал ему не тратить сил. Приберечь их для медицинского обследования. А мы уж его не выдадим.

Чурилин расстелил на траве газету. Достал из кармана немного печения.

Выпили мы по очереди, из горлышка. Зэк сначала колебался:

— Врач может почувствовать запах. Это будет как-то неестественно...

Чурилин перебил его:

— А лаять и кукарекать — естественно?.. Закусишь щавелем, и все дела.

Зэк сказал:

— Убедили...

День был теплый и солнечный. По небу тянулись изменчивые легкие облака. У переезда нетерпеливо гудели лесовозы. Над головой Чурилина вибрировал шмель.

Водка начала действовать, и я подумал: «Хорошо на свободе! Вот демобилизуюсь и буду часами гулять по улицам. Зайду в кафе на Марата. Покурю на скамейке возле здания Думы...»

Я знаю, что свобода философское понятие. Меня это не интересует. Ведь рабы не интересуются философией. Идти куда хочешь — вот что такое свобода!..

Мои собутыльники дружески беседовали. Зэк объяснял:

— Голова у меня не в порядке. Опять-таки, газы... Ежели по совести, таких бы надо всех освободить. Списать вчистую по болезни. Списывают же устаревшую технику.

Чурилин перебивал его:

— Голова не в порядке?! А красть ума хватало? У тебя по документам групповое хищение. Что же ты, интересно, похитил?

Зэк смущенно отмахивался:

— Да ничего особенного... Трактор...

— Цельный трактор?!

— Ну.

— И как же ты его похитил?

— Очень просто. С комбината железобетонных изделий. Я действовал на психологию.

— Как это?

— Зашел на комбинат. Сел в трактор. Сзади привязал железную бочку из-под тавота. Еду на вахту. Бочка грохочет. Появляется охранник. «Куда везешь бочку?». Отвечаю: «По личной надобности». — «Документы есть?» — «Нет». — «Отвязывай к едрене фене»... Я бочку отвязал и дальше поехал. В общем, психология сработала... А потом мы этот трактор на запчастях разобрали...

Чурилин восхищенно хлопнул зэка по спине:

— Артист ты, батя!

Зэк скромно подтвердил:

— В народе меня уважали.

Чурилин неожиданно поднялся:

— Да здравствуют трудовые резервы!

И достал из кармана вторую бутылку.

К этому времени нашу поляну осветило солнце. Мы перебрались в тень. Сели на поваленную ольху.

Чурилин скомандовал:

— Поехали!

Было жарко. Зэк до пояса расстегнулся. На груди его видна была пороховая татуировка:

«Фаина! Помнишь дни золотые?!».

А рядом — череп, финка и баночка с надписью «яд»...

Чурилин опьянел внезапно. Я даже не заметил, как это произошло. Он вдруг стал мрачным и затих.

Я знал, что в казарме полно неврастеников. К этому неминуемо приводит служба в охране. Но именно Чурилин казался мне сравнительно здоровым.

Я помнил за ним лишь одну сумасшедшую выходку. Мы тогда возили зэков на лесоповал. Сидели у печи в дощатой будке, грелись, разговаривали. Естественно, выпивали.

Чурилин без единого слова вышел наружу. Где-то раздобыл ведро. Наполнил его соляжкой. Потом забрался на крышу и опрокинул горючее в трубу.

Помещение наполнилось огнем. Мы еле выбрались из будки. Трое обгорели.

Но это было давно. А сейчас я ему говорю:

— Успокойся...

Чурилин молча достал пистолет. Потом мы услышали:

— Встать! Бригада из двух человек поступает в распоряжение конвоя! В случае необходимости конвой применяет оружие. Заключение Холоденко, вперед! Ефрейтор Довлатов — за ним!..

Я продолжал успокаивать его:

— Очнись. Приди в себя. А главное — спрячь пистолет.

Зэк удивился по-лагерному:

— Что за шухер на бану?

Чурилин тем временем опустил предохранитель. Я шел к нему, повторяя:

— Ты просто выпил лишнего.

Чурилин стал пятиться. Я все шел к нему, избегая резких движений. Повторял от страха что-то бессвязное. Даже, помню, улыбался.

А вот зэк не утратил присутствия духа. Он весело крикнул:

— Дела — хоть лезь под нары!..

Я видел поваленную ольху за спиной Чурилина. Пятиться ему оставалось недолго. Я пригнулся. Знал, что, падая, он может выстрелить. Так оно и случилось.

Грохот, треск валежника...

Пистолет упал на землю. Я пинком отшвырнул его в сторону.

Чурилин встал. Теперь я его не боялся. Я мог уложить его с любой позиции. Да и зэк был рядом.

Я видел, как Чурилин снимает ремень. Я не сообразил, что это значит. Думал, что он поправляет гимнастерку.

Теоретически я мог пристрелить его или хотя бы ранить. Мы ведь были на задании. Так сказать, в боевой обстановке. Меня бы оправдали.

Вместо этого я снова двинулся к нему. Интеллигентность мне вредила, еще когда я занимался боксом.

В результате Чурилин обрушил бляху мне на голову.

Главное, я все помню. Сознания не потерял. Самого удара не почувствовал. Увидел, что кровь потекла мне на брюки. Так много крови, что я даже ладони подставил. Стою, а кровь течет.

Спасибо, что хоть зэк не растерялся. Вырвал у Чурилина ремень. Затем перевязал мне лоб оборванным рукавом сорочки.

Тут Чурилин, видимо, начал соображать. Он схватился за голову и, рыдая, пошел к дороге.

Пистолет его лежал на траве. Рядом с пустыми бутылками. Я сказал зэку:

— Подними...

А теперь представьте себе выразительную картинку. Впереди, рыдая, идет чекист. Дальше — ненормальный зэк с пистолетом. И замыкает шествие ефрейтор с окровавленной повязкой на голове. А навстречу — военный патруль. «ГАЗ-61» с тремя автоматчиками и здоровенным волкодавом.

Удивляюсь, как они не пристрелили моего зэка. Вполне могли дать по нему очередь. Или натравить пса.

Увидев машину, я потерял сознание. Отказали волевые центры. Да и жара наконец подействовала. Я только успел предупредить, что зэк не виноват. А кто виноват — пусть разбираются сами.

К тому же, падая, я сломал руку. Точнее, не сломал, а повредил. У меня обнаружилась трещина в предплечье. Я еще подумал — вот уж это совершенно лишнее.

Последнее, что я запомнил, была собака. Сидя возле меня, она нервно зевала, раскрывая лиловую пасть...

Над моей головой заработал репродуктор. Оттуда донеслось гудение, последовали легкие шелчки. Я вытащил штепсель, не дожидаясь торжественных звуков гимна.

Мне вдруг припомнилось забытое детское ощущение. Я школьник, у меня температура. Мне разрешают пропустить занятия.

Я жду врача. Он будет садиться на мою постель. Заглядывать мне в горло. Говорить: «Ну-с, молодой человек». Мама будет искать для него чистое полотенце.

Я болен, счастлив, все меня жалеют. Я не должен мыться холодной водой...

Я стал ждать появления врача. Вместо него появился Чурилин.

Заглянул в окошко, сел на подоконник. Затем направился ко мне. Вид у него был просительный и скорбный.

Я попытался лягнуть его ногой в мошонку. Чурилин слегка отступил и начал, фальшиво заламывая руки:

— Серега, извини! Я был неправ... Раскаиваюсь... Искренне раскаиваюсь... Действовал в состоянии эффекта...

— Аффекта, — поправил я.

— Тем более...

Чурилин осторожно шагнул в мою сторону:

— Я пошутить хотел... Для смеха... У меня к тебе претензий нет...

— Еще бы, — говорю.

Что я мог ему сказать? Что можно сказать охраннику, который лосьон «Гигиена» употребляет только внутрь?..

Я спросил:

— Что с нашим ээком?

— Порядок. Он снова рехнулся. Все утро поет: «Широка страна моя родная». Завтра у него обследование. Пока что сидит в изоляторе.

— А ты?

— А я, естественно, на гауптвахте. То есть, фактически я здесь, а в принципе — на гауптвахте. Там мой земляк дежурит... У меня к тебе дело.

Чурилин подошел еще на шаг и быстро заговорил:

— Серега, погибаю, испекся! В четверг товарищеский суд!

— Над кем?

— Да надо мной. Ты, говорят, Серегу искалечил.

— Ладно, я скажу, что у меня претензий нет. Что я тебя прощаю.

— Я уже сказал, что ты меня прощаешь. Это, говорят, не важно, чаша терпения переполнилась.

— Что же я могу сделать?

— Ты образованный, придумай что-нибудь. Как говорится, заверни поганку. Иначе эти суки передадут бумаги в трибунал. Это значит — три года дисбата. А дисбат — это хуже, чем лагерь. Так что выручай...

Он скорчил гримасу, пытаюсь заплакать:

— Я же единственный сын... Брат в тюрьме, сестры замужем...

Я говорю:

— Не знаю, что тут можно сделать. Есть один вариант...

Чурилин оживился:

— Какой?

— Я на суде задам вопрос. Спрошу: «Чурилин, у вас есть гражданская профессия?». Ты ответишь: «Нет». Я скажу: «Что же ему после демобилизации — воровать? Где обещанные курсы шоферов и бульдозеристов? Чем мы хуже регулярной армии?» И так далее. Тут, конечно, поднимется шум. Может, и возьмут тебя на поруки.

Чурилин еще больше оживился. Сел на мою кровать, повторяя:
— Ну, голова! Вот это голова! С такой головой, в принципе, можно и не работать.

— Особенно, — говорю, — если колотить по ней латунной бляхой.

— Дело прошлое, — сказал Чурилин, — все забыто... Напиши мне, что я должен говорить.

— Я же тебе все рассказал.

— А теперь — напиши. Иначе я сразу запутаюсь.

Чурилин протянул мне огрызок химического карандаша. Потом оторвал кусок стеной газеты:

— Пиши.

Я аккуратно вывел: «Нет».

— Что значит — «Нет»? — спросил он.

— Ты сказал: «Напиши, что мне говорить». Вот я и пишу: «Нет». Я задам тебе вопрос на суде: «Есть у тебя гражданская профессия?» Ты ответишь: «Нет». Дальше я скажу насчет шоферских курсов. А потом начнется шум.

— Значит, я говорю только одно слово — «нет»?

— Вроде бы, да.

— Маловато, — сказал Чурилин.

— Не исключено, что тебе зададут и другие вопросы.

— Какие?

— Я уж не знаю.

— Что же я буду отвечать?

— В зависимости от того, что спросят.

— А что меня спросят? Примерно?

— Ну, допустим: «Признаешь ли ты свою вину, Чурилин?»

— И что же я отвечу?

— Ты ответишь: «Да».

— И все?

— Можешь ответить: «Да, конечно, признаю и глубоко раскаиваюсь».

— Это уже лучше. Записывай. Сперва пиши вопрос, а дальше мой ответ. Вопросы пиши нормально, ответы — квадратными буквами. Чтобы я не перепутал...

Мы просидели с Чурилиным до одиннадцати. Фельдшер хотел его выгнать, но Чурилин сказал:

— Могу я навестить товарища по оружию?!

В результате мы написали целую драму. Там были предусмотрены десятки вопросов и ответов. Мало того, по настоянию Чурилина я обозначил в скобках: «холодно», «задумчиво», «растерянно».

Затем мне принесли обед: тарелку супа, жареную рыбу и кисель.

Чурилин удивился:

— А кормят здесь лучше, чем на гауптвахте.

Я говорю:

— А ты бы хотел — наоборот?

Пришлось отдать ему кисель и рыбу.

После этого мы расстались. Чурилин сказал:

— В двенадцать мой земляк уходит с гауптвахты. После него дежурит какой-то хохол. Я должен быть на месте.

Чурилин подошел к окну. Затем вернулся:

— Я забыл. Давай ремнями поменяемся. Иначе мне за эту бляку срок добавят.

Он взял мой солдатский ремень. А свой повесил на кровать.

— Тебе повезло, — говорит, — мой из натуральной кожи. И бляха с напайкой. Удар — и человек с копыт.

— Да уж, знаю...

Чурилин снова подошел к окну. Еще раз обернулся.

— Спасибо тебе, — говорит, — век не забуду.

И выбрался через окно. Хотя вполне мог пройти через дверь.

Хорошо еще, что не унес мои сигареты...

Прошло три дня. Врач мне сказал, что я легко отделался. Что у меня всего лишь ссадина на голове.

Я бродил по территории военного городка. Часами сидел в библиотеке. Загорал на крыше дровяного склада.

Дважды пытался зайти на гауптвахту. Один раз дежурил латыш первого года службы. Сразу же поднял автомат. Я хотел передать сигареты, но он замотал головой.

Вечером я снова зашел. На этот раз дежурил знакомый инструктор.

— Заходи, — говорит, — можешь даже там переночевать.

И он загремел ключами. Отворилась дверь.

Чурилин играл в буру с тремя другими узниками. Пятый наблюдал за игрой с бутербродом в руке. На полу валялись апельсиновые корки.

— Привет, — сказал Чурилин, — не мешай. Сейчас я их поставлю на четыре точки.

Я отдал ему «Беломор».

— А выпить? — спросил Чурилин.

Можно было позавидовать его нахальству.

Я постоял минуту и ушел.

Наутро повсюду были расклеены молнии: «Открытое комсомольское собрание дивизиона. Товарищеский суд. Персональное дело Чурилина Вадима Тихоновича. Явка обязательна».

Мимо проходил какой-то сверхсрочник.

— Давно, — говорит, — пора. Одичали... Что в казарме творится — это страшное дело... Вино из-под дверей течет...

В помещении клуба собралось человек шестьдесят. На сцене расположилось комсомольское бюро. Ждали, когда появится майор Афанасьев.

Чурилин выглядел абсолютно счастливым. Может, впервые оказался на сцене. Он жестикулировал, махал рукой приятелям. Мне, кстати, тоже помахал.

На сцену поднялся майор Афанасьев:

— Товарищи!

Постепенно в зале наступила тишина.

— Товарищи войны! Сегодня мы обсуждаем персональное дело рядового Чурилина. Рядовой Чурилин вместе с ефрейтором Довлатовым был послан на ответственное задание. В пути рядовой Чурилин упился, как зюзя, и начал совершать безответственные действия. В результате было нанесено увечье ефрейтору Довлатову, кстати, такому же, извиняюсь, мудозвону... Хоть бы зэка постыдились...

Пока майор говорил все это, Чурилин сиял от удовольствия. Раз два он причесывался, вертелся на стуле, трогал знамя. Явно, чувствовал себя героем.

Майор продолжал:

— Только в этом квартале Чурилин отсидел на гауптвахте двадцать шесть суток. Я не говорю о пьянках — это для Чурилина, как снег зимой. Я говорю о более серьезных преступлениях, типа драки. Такое ощущение, что коммунизм для него уже построен. Не понравится чья-то физиономия — бей в рожу! Так все начнут кулаками размахивать! Думаете, мне не хочется кому-нибудь в рожу заехать?! В общем, чаша терпения переполнилась. Мы должны решить — остается Чурилин с нами или пойдут его бумаги в трибунал. Дело серьезное, товарищи! Начнем!... Рассказывайте, Чурилин, как это все произошло.

Все посмотрели на Чурилина. В руках у него появилась измятая бумажка. Он вертел ее, разглядывал и что-то беззвучно шептал.

— Рассказывайте, — повторил майор Афанасьев.

Чурилин растерянно взглянул на меня. Чего-то, видно, мы не предусмотрели. Что-то упустили в сценарии.

Майор повысил голос:

— На заставляйте себя ждать!

— Мне торопиться некуда, — сказал Чурилин.

Он помрачнел. Его лицо становилось все более злым и угрюмым. Но и в голосе майора крепло раздражение. Пришлось мне вытянуть руку:

— Давайте, я расскажу.

— Отставить, — прикрикнул майор, — сами хороши!

— Ага, — сказал Чурилин, — вот... Желаю... это... поступить на курсы бульдозеристов.

Майор повернулся к нему:

— При чем тут курсы, мать вашу за ногу! Напился, понимаешь, друга искалечил, теперь о курсах мечтает!.. А в институт случайно не хотите поступить? Или в консерваторию?..

Чурилин еще раз взглянул в бумажку и мрачно произнес:

— Чем мы хуже регулярной армии?

— Майор задохнулся от бешенства:

— Сколько это будет продолжаться?! Ему идут навстречу — он свое! Ему говорят «рассказывай» — не хочет!..

— Да нечего тут рассказывать, — вскочил Чурилин, — подумаешь, какая сага о Форсайтах!.. Рассказывай! Рассказывай! Чего же тут рассказывать?! Хули же ты мне, сука, плешь разъедаешь?! Могу ведь и тебя пощекотить!..

Майор схватился за кобуру. На скулах его выступили красные пятна. Он тяжело дышал. Затем овладел собой:

— Суду все ясно. Собрание объявляю закрытым!

Чурилина взяли за руки двое сверхсрочников. Я, доставая сигареты, направился к выходу...

Чурилин получил год дисциплинарного батальона. За месяц перед его освобождением я демобилизовался. Сумасшедшего ээка тоже больше не видел. Весь этот мир куда-то пропал.

И только ремень все еще цел.

ПОПЛИНОВАЯ РУБАШКА

Моя жена говорит:

— Это безумие — жить с мужчиной, который не уходит только потому, что ленится...

Моя жена всегда преувеличивает. Хотя я, действительно, стараюсь избегать ненужных забот. Ем что угодно. Стригусь, когда теряю человеческий облик. Зато — уж сразу под машинку. Чтобы потом еще три месяца не стричься.

Пропросту говоря, я неохотно выхожу из дома. Хочу, чтобы меня оставили в покое...

В детстве у меня была няня, Луиза Генриховна. Она все делала невнимательно, потому что боялась ареста. Однажды Луиза Генриховна надевала мне короткие штаны. И засунула мои ноги в одну штанину. В результате, я проходил таким образом целый день.

Мне было четыре года, и я хорошо помню этот случай. Я знал, что меня одели неправильно. Но я молчал. Я не хотел переодеваться. Да и сейчас не хочу.

Я помню множество таких историй. С детства я готов терпеть все, что угодно, лишь бы избежать ненужных хлопот...

Когда-то я довольно много пил. И, соответственно, болтался где попало. Из-за этого многие думали, что я общительный. Хотя, стоило мне протрезветь — и общительности как не бывало.

При этом, я не могу жить один. Я не помню, где лежат счета за электричество. Не умею гладить и стирать. А главное — мало зарабатываю.

Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то...

Моя жена всегда преувеличивает:

— Я знаю, почему ты все еще живешь со мной. Сказать?

— Ну, почему?

— Да просто тебе лень купить раскладушку!..

В ответ я мог бы сказать:

— А ты? Почему же ты не купила раскладушку? Почему не бросила меня в самые трудные годы? Ты — умеющая штопать, стирать, выносить малознакомых людей, а главное — зарабатывать деньги!..

Познакомились мы двадцать лет назад. Я даже помню, что это было воскресенье. Восемнадцатое февраля. День выборов.

По домам ходили агитаторы. Уговаривали жильцов проголосовать как можно раньше. Я не спешил. Я раза три вообще не голосовал. Причем, не из диссидентских соображений. Скорее — из ненависти к бессмысленным действиям.

И вот раздается звонок. На пороге — молодая женщина в осенней куртке. По виду — школьная учительница, то есть немного — старая дева. Правда, без очков, зато с коленкоровой тетрадью в руке.

Она заглянула в тетрадь и назвала мою фамилию. Я сказал:

— Заходите. Погрейтесь. Выпейте чаю...

Меня угнетали торчащие из-под халата ноги. У нас в роду это самая маловыразительная часть тела. Да и халат был в пятнах.

— Елена Борисовна, — представилась девушка, — ваш агитатор... Вы еще не голосовали...

Это был не вопрос, а сдержанный упрек. Я повторил:

— Хотите чаю?

Добавив из соображений приличия:

— Там мама...

Мать лежала с головной болью. Что не помешало ей довольно громко крикнуть:

— Попробуйте только съесть мою халву!

Я сказал:

— Проголосовать мы еще успеем.

И тут Елена Борисовна произнесла совершенно неожиданную речь:

— Я знаю, что эти выборы — сплошная профанация. Но что я могу сделать? Я должна привести вас на избирательный участок. Иначе меня не отпустят домой.

— Ясно, — говорю, — только будьте поосторожнее. Вас за такие разговоры не похвалят.

— Вам можно доверять. Я это сразу поняла. Как только увидела портрет Солженицына.

— Это Достоевский. Но и Солженицына я уважаю...

Затем мы скромно позавтракали. Мать все-таки отрезала нам кусок халвы.

Разговор, естественно, зашел о литературе. Если Лена называла имя Гладилина, я переспрашивал:

— Толя Гладилин?

Если речь заходила о Шукшине, я уточнял:

— Вася Шукшин?

Когда же заговорили про Ахмадулину, я негромко воскликнул: — Беллочка!..

Затем мы вышли на улицу. Дома были украшены флагами. На снегу валялись конфетные обертки. Дворник Гриша щеголял в ратиновом пальто.

Голосовать я не хотел. И не потому, что ленился. А потому, что мне нравилась Елена Борисовна. Стоит нам всем проголосовать, как ее отпустят домой...

Мы пошли в кино на «Иваново детство». Фильм был достаточно хорошим, чтобы я мог отнестись к нему снисходительно.

В ту пору я горячо хвалил одни лишь детективы. За то, что они дают мне возможность расслабиться.

А вот картины Тарковского я похваливал снисходительно. При этом намекая, что Тарковский лет шесть ждет от меня сценария.

Из кино мы направились в Дом литераторов. Я был уверен, что встречу какую-нибудь знаменитость. Можно было рассчитывать на дружеские приветствия Горышина. На пьяные объятия Вольфа. На беглый разговор с Ефимовым или Конечким. Ведь я был так называемым молодым писателем. И даже Гранин знал меня в лицо.

Когда-то в Ленинграде было много знаменитостей. Например, Чуковский, Олейников, Зоценко, Хармс и так далее. После войны их стало гораздо меньше. Одних за что-то расстреляли, другие переехали в Москву...

Мы поднялись в ресторан. Заказали вино, бутерброды, пирожные. Я собирался заказать омлет, но передумал. Старший брат всегда говорил мне: «Ты не умеешь есть цветную пищу».

Деньги я пересчитал, не вынимая руку из кармана.

В зале было пусто. Только у дверей сидел орденоседец Решетов, читая книгу. По тому, как он увлекся, было видно, что это его собственный роман. Я мог бы поспорить, что роман называется — «Иду к вам, люди!»

Мы выпили. Я рассказал три случая из жизни Евтушенко, которые произошли буквально на моих глазах.

А знаменитости все не появлялись. Хотя посетителей становилось все больше. К окну направился, скрипя протезом, беллетрист Горянский. У стойки бара расположились поэты Чикин и Штейнберг. Чикин говорил:

— Лучше всего, Боря, тебе удаются философские отступления.

— А тебе, Дима, внутренние монологи, — реагировал Штейнберг...

К знаменитостям Чикин и Штейнберг не принадлежали. Горянский был известен тем, что задушил охранника в немецком концентрационном лагере.

Мимо прошел довольно известный критик Халупович. Он долго разглядывал меня, потом сказал:

— Извините, я принял вас за Леву Мелиндера...

Мы заказали двести граммов коньяка. Денег оставалось мало, а знаменитостей все не было.

Видно, Елена Борисовна так и не узнает, что я многообещающий литератор.

И тут в ресторан заглянул писатель Данчковский. С известными оговорками его можно было назвать знаменитостью.

Когда-то в Ленинград приехали двое братьев из Шклова. Звали братьев — Савелий и Леонид Данчиковские. Они начали пробовать себя в литературе. Сочиняли песенки, куплеты, интермедии. Сначала писали вдвоем. Потом — каждый в отдельности.

Через год их пути разошлись еще более кардинально.

Младший брат решил укоротить свою фамилию. Теперь он подписывался — Данч. Но при этом оставался евреем.

Старший поступил иначе. Он тоже укоротил свою фамилию, выбросив единственную букву — «И». Теперь он подписывался — Данчковский. Зато из еврея стал обрусевшим поляком.

Постепенно между братьями возникла национальная рознь. Они то и дело ссорились на расовой почве.

— Оборотень, — кричал Леонид, — золоторотец, пьяный гой!
— Заткнись, жидовская морда! — отвечал Савелий.

Вскоре началась борьба с космополитами. Леонида арестовали. Савелий к этому времени закончил институт марксизма-ленинизма.

Он начал печататься в толстых журналах. У него вышла первая книга. О нем заговорили критики.

Постепенно он стал «ленинианцем». То есть, создателем бесконечной и неудержимой Ленинианы.

Сначала он написал книгу «Володино детство». Затем — небольшую повесть «Мальчик из Симбирска». После этого выпустил двухтомник «Юность огневая». И, наконец, трилогию — «Вставай, проклятым клейменный!»

Исчерпав биографию Ленина, Данчковский взялся за смежные темы. Он написал книгу «Ленин и дети». Затем — «Ленин и музыка», «Ленин и живопись», а также «Ленин и сельское хозяйство». Все эти книги были переведены на многие языки.

Данчковский разбогател. Был награжден орденом «Знак почета». К этому времени его брата посмертно реабилитировали.

Данчковский хорошо меня знал, поскольку больше года руководил нашим литературным объединением.

И вот он появился в ресторане.

Я, понизив голос, шепнул Елене Борисовне:

— Обратите внимание — Данчковский, собственной персоной... Бешеный успех... Идет на Ленинскую премию...

Данчковский направился в угол, подальше от музыкального автомата. Проходя мимо нас, он замедлил шаги.

Я фамильярно приподнял бокал. Данчковский, не здороваясь, отчетливо выговорил:

— Читал я твою юмореску в «Авроре». По-моему, говно...

Мы просидели в ресторане часов до одиннадцати. Избирательный участок давно закрылся. Потом закрылся ресторан. Мать лежала с головной болью. А мы еще гуляли по набережной Фонтанки.

Елена Борисовна удивила меня своей покорностью. Вернее, даже не покорностью, а равнодушием к фактической стороне жизни. Как будто все происходящее мелькало на экране.

Она забыла про избирательный участок. Пренебрегла своими обязанностями. Как выяснилось, она даже не проголосовала.

И все это ради чего? Ради неясных отношений с человеком, который пишет малоудачные юморески.

Я, конечно, тоже не проголосовал. Я тоже пренебрег своими гражданскими обязанностями. Но я вообще особый человек. Так неужели мы похожи?

За плечами у нас двадцать лет брака. Двадцать лет взаимной обособленности и равнодушия к жизни.

При этом, у меня есть стимул, цель, иллюзия, надежда. А у нее? У нее есть только дочь и равнодушие.

Я не помню, чтобы Лена возражала или спорила. Вряд ли она хоть раз произнесла уверенное, звонкое — «да», или тяжеловесное, суровое — «нет».

Ее жизнь проходила как будто на экране телевизора. Менялись кадры, лица, голоса, добро и зло спешили в одной упряжке. А моя любимая, поглядывая в сторону экрана, занималась более важными делами...

Решив, что мать уснула, я пошел домой. Я даже не сказал Елене Борисовне: «Пойдемте ко мне». Я даже не взял ее за руку.

Просто, мы оказались дома. Это было двадцать лет назад.

За эти годы влюблялись, женились и разводились наши друзья. Они писали на эту тему стихи и романы. Переезжали из одной республики в другую. Меняли род занятий, убеждения, привычки. Становились диссидентами и алкоголиками. Покушались на чужую или собственную жизнь.

Кругом возникали и с грохотом рушились прекрасные, таинственные миры. Как туго натянутые струны, лопались человеческие отношения. Наши друзья заново рождались и умирали в поисках счастья.

А мы? Всем соблазнам и ужасам жизни мы противопоставили наш единственный дар — равнодушие. Спрашивается, что может быть долговечнее замка, выстроенного на песке?.. Что в семейной жизни прочнее и надежнее обоюдной бесхарактерности?.. Что можно представить себе благополучнее двух враждующих государств, неспособных к обороне?..

Я работал в многотиражной газете. Получал около ста рублей. Плюс какие-то малосущественные добавки. Так, мне напоминаются ежемесячные четыре рубля «за освоение более совершенных методов хозяйствования».

Подобно большинству журналистов, я мечтал написать роман.

И, не в пример большинству журналистов, действительно занимался литературой. Но мои рукописи были отклонены самыми прогрессивными журналами.

Сейчас я могу этому только радоваться. Благодаря цензуре, мое ученичество затянулось на семнадцать лет. Рассказы, которые я хотел напечатать в те годы, представляются мне сейчас абсолютно беспомощными. Достаточно того, что один рассказ назывался «Судьба Фаины».

Лена не читала моих рассказов. Да я и не предлагал. А она не хотела проявлять инициативу.

Три вещи может сделать женщина для русского писателя. Она может кормить его. Она может искренне поверить в его гениальность. И, наконец, женщина может оставить его в покое. Кстати, третье не исключает второго и первого.

Лена не интересовалась моими рассказами. Не уверен даже, что она хорошо представляла, где я работаю. Знала только, что пишу.

Я знал о ней примерно столько же.

Сначала моя жена работала в парикмахерской. После истории с выборами ее уволили. Она стала корректором. Затем, совершенно неожиданно для меня, окончила полиграфический институт. Поступила, если не ошибаюсь, в какое-то спортивное издательство. Зарабатывала вдвое больше меня.

Трудно понять, что нас связывало. Разговаривали мы чаще всего по делу. Друзья были у каждого свои. И даже книги мы читали разные.

Моя жена всегда раскрывала ту книгу, что лежала ближе. И начинала читать с любого места.

Сначала меня это злило. Затем я убедился, что книги ей всегда попадают хорошие. Не то, что мне. Уж если я раскрою случайную книгу, то это непременно будет «Поднятая целина»...

Что же нас связывало? И как вообще рождается человеческая близость? Все это не так просто.

У меня, например, есть двоюродные братья. Все трое — пьяницы и хулиганы. Одного я люблю, к другому равнодушен, а с третьим просто незнаком...

Так мы и жили — рядом, но каждый в отдельности. Подарками обменивались в редчайших случаях. Иногда я говорил: «Надо бы для смеха подарить тебе цветы».

Лена отвечала:

— У меня все есть...

Да и я не ждал подарков. Меня это устраивало.

А то я знал одну семью. Муж работал с утра до ночи. Жена смотрела телевизор и ходила по магазинам. Говоря при этом: «Купила Марику на день рожденья тюлевые занавески — обалдеть!»

Так мы прожили года четыре. Потом родилась дочка — Катя. В этом была неожиданная серьезность и ощущение чуда. Нас было

двое, и вдруг появился еще один человек — капризный, шумный, требующий заботы.

Дочку мы почти не воспитывали, только любили. Тем более, что она довольно много хворала, начиная с пятимесячного возраста.

В общем, после рождения дочери стало ясно, что мы женаты. Катя заменила нам брачное свидетельство.

Помню, зашел я с коляской в редакцию журнала «Аврора». Мне причитался там небольшой гонорар. Чиновница раскрыла ведомость:

— Распишитесь.

И добавила:

— Шестнадцать рублей мы вычли за бездетность.

— Но у меня, — говорю, — есть дочка.

— Надо предъявить соответствующий документ.

— Пожалуйста.

Я вынул из коляски розовый пакет. Осторожно положил его на стол главного бухгалтера. Сохранил, таким образом, шестнадцать рублей...

Отношения мои с женой не изменились. Вернее, почти не изменились. Теперь нашему личному равнодушию противостояла общая забота. Например, мы вместе купали дочку...

Однажды Лена поехала на службу. Я задержался дома. Стал как всегда разыскивать необходимые бумаги. Если не ошибаюсь, копию издательского договора.

Я рылся в шкафах. Выдвигал один за другим ящики письменного стола. Даже в ночную тумбочку заглянул.

Там, под грудой книг, журналов, старых писем, я нашел альбом. Это был маленький, почти карманный альбом для фотографий. Листов пятнадцать толстого картона с рельефным изображением голубя на обложке.

Я раскрыл его. Первые фотографии были желтоватые, с трещинами. Некоторые без уголков. На одной — круглолицая малышка гладила собаку. Точнее говоря, осторожно к ней прикасалась. Лохматая собака прижимала уши. На другой — шестилетняя девочка обнимала самодельную куклу. Вид у обеих был печальный и растерянный.

Потом я увидел семейную фотографию — мать, отец и дочка. Отец был в длинном плаще и соломенной шляпе. Из рукавов едва виднелись кончики пальцев. У жены его была теплая кофта с высокими плечами, локоны, газовый шарфик. Девочка резко повернулась в сторону. Так, что разлетелось ее короткое осеннее пальто. Что-то привлекло ее внимание за кадром. Может, какая-нибудь бродячая собака. Позади, за деревьями, виднелся фасад Царско-сельского лица.

Далее промелькнули родственники с напряженными искусственными улыбками. Пожилой усатый железнодорожник в форме, дама около бюста Ленина, юноша на мотоцикле. Затем появился

моряк или, вернее, курсант. Даже на фотографии было видно, как тщательно он побрит. Курсанту заглядывала в лицо девица с букетом ландышей.

Целый лист занимала глянцевая школьная карточка. Четыре ряда испуганных, напряженных, замерших физиономий. Ни одного веселого детского лица.

В центре — группа учителей. Двое из них с орденами, возможно — бывшие фронтовики. Среди других — классная руководительница. Ее легко узнать. Старуха обнимает за плечи двух натянуто улыбающихся школьников.

Слева, в третьем ряду — моя жена. Единственная не смотрит в аппарат.

Я узнавал ее на всех фотографиях. На маленьком снимке, запечатлевшем группу лыжников. На микроскопическом фото, сделанном возле колхозной библиотеки. И даже на передержанной карточке, в толпе, среди едва различимых участников молодежного хора.

Я узнавал хмурую девочку в стоптанных туфлях. Смушенную барышню в дешевом купальнике под размашистой надписью «Евпатория». Студентку в платке возле колхозной библиотеки. И везде моя жена казалась самой печальной.

Я перевернул еще несколько страниц. Увидел молодого человека в шестигранной кепке, старушку, заслонившуюся рукой, неизвестную балерину.

Мне попалась фотография артиста Яковлева. Точнее, открытка с его изображением. Снизу каллиграфическим почерком было выведено: «Лена! Служение искусству требует всего человека, без остатка. Рафик Абдуллаев»...

Я раскрыл последнюю страницу. И вдруг у меня перехватило дыхание. Даже не знаю, чему я так удивился. Но почувствовал, как у меня багровеют щеки.

Я увидел квадратную фотографию, размером чуть больше почтовой марки. Узкий лоб, запущенная борода, наружность матадора, потерявшего квалификацию.

Это была моя фотография. Если не ошибаюсь — с прошлогоднего удостоверения. На белом уголке виднелись следы заводской печати.

Минуты три я просидел, не двигаясь. В прихожей тикали часы. За окном шумел компрессор. Слышалось позвякивание лифта. А я все сидел.

Хотя, если разобраться, что произошло? Да ничего особенного. Жена поместила в альбом фотографию мужа. Это нормально.

Но я почему-то испытывал болезненное волнение. Мне было трудно сосредоточиться, чтобы уяснить его причины. Значит, все, что происходит — серьезно. Если я впервые это чувствую, то сколько же любви потеряно за долгие годы?..

У меня не хватало сил обдумать происходящее. Я не знал, что любовь может достигать такой силы и остроты.

Я подумал: «Если у меня сейчас трясутся руки, что же будет потом?»

В общем, я собрался и поехал на работу...

Прошло лет шесть, началась эмиграция. Евреи заговорили об исторической родине.

Раньше полноценному человеку нужны были дубленка и кандидатская степень. Теперь к этому добавился израильский вызов.

О нем мечтал любой интеллигент. Даже если не собирался эмигрировать. Так, на всякий случай.

Сначала уезжали полноценные евреи. За ними устремились граждане сомнительного происхождения. Еще через год начали выпускать русских. Среди них по израильским документам выехал наш знакомый, отец Маврикий Рыкунов.

И вот моя жена решила эмигрировать. А я решил остаться.

Трудно сказать, почему я решил остаться. Видимо, еще не достиг какой-то роковой черты. Все еще хотел исчерпать какие-то неопределенные шансы. А может, бессознательно стремился к репрессиям. Такое случается. Грош цена российскому интеллигенту, не побывавшему в тюрьме...

Меня поразила ее решимость. Ведь Лена казалась зависимой и покорной. И вдруг — такое серьезное, окончательное решение.

У нее появились заграничные бумаги с красными печатями. К ней приходили суровые, бородатые отказники. Оставляли инструкции на папиросной бумаге. Недоверчиво поглядывали в мою сторону.

А я до последней минуты не верил. Слишком уж все это было невероятно. Как путешествие на Марс.

Клянусь, до последней минуты не верил. Знал и не верил. Так чаще всего и бывает.

И эта проклятая минута наступила. Документы были оформлены, виза получена. Катя раздала подругам фантики и марки. Оставалось только купить билеты на самолет.

Мать плакала. Лена была поглощена заботами. Я отодвинулся на задний план.

Я и раньше не заслонял ее горизонтов. А теперь ей было и вовсе не до меня.

И вот Лена поехала за билетами. Вернулась с коробкой. Подошла ко мне и говорит:

— У меня оставались лишние деньги. Это тебе.

В коробке лежала импортная поплиновая рубаха. Если не ошибаюсь, румынского производства.

— Ну что ж, — говорю, — спасибо. Приличная рубаха, скромная и доброкачественная. Да здравствует товарищ Чаушеску!..

Только куда я в ней пойду? В самом деле — куда?!

С ноябрьских праздников в Ленинграде установились морозы. Собираясь в редакцию, я натянул уродливую лыжную шапочку, забытую кем-то из гостей. Сойдет, думаю, тем более, что в зеркало я не глядел уже лет пятнадцать.

Приезжаю в редакцию. Как всегда, опаздываю минут на сорок. Соответственно, принимаю дерзкий и решительный вид.

Обстановка в комнате литсотрудников — мрачная. Воробьев драматически курит. Сидоровский глядит в одну точку. Делюкин говорит по телефону шепотом. У Милы Дорошенко вообще заплаканы глаза.

— Салют, — говорю, — что приуныли, трубадуры режима?! Молчат. И только Сидоровский хмуро откликается:

— Твой цинизм, Довлатов, переходит все границы.

Явно, думаю, что-то случилось. Может, нас всех лишили прогрессивки?..

— Что за траур, — спрашиваю, — где покойник?

— В Куйбышевском морге, — отвечает Сидоровский, — похороны завтра.

Еще не легче. Наконец, Делюкин кончил разговор и тем же шепотом объяснил:

— Раиса отравилась. Съела три коробки намбутила.

— Так, — говорю, — ясно. Довели человека!..

Раиса была нашей машинисткой — причем, весьма квалифицированной. Работала она быстро, по слепому методу. Что не мешало ей замечать бесчисленное количество ошибок.

Правда, замечала их Раиса только на бумаге. В жизни Рая делала ошибки постоянно.

В результате она так и не получила диплома. К тому же, в двадцать пять лет стала матерью-одиночкой. И, наконец, занесло Раису в промышленную газету с давними антисемитскими традициями.

Будучи еврейкой, она так и не смогла к этому привыкнуть. Она дерзила редактору, выпивала, злоупотребляла косметикой. Короче, не ограничивалась своим еврейским происхождением. Шла в своих пороках дальше.

Раису бы, наверное, терпели, как и всех других семитов. Но для этого ей пришлось бы вести себя разумнее. То есть, глубокомысленно, скромно и чуточку виновато. Она же без конца демонстрировала типично христианские слабости.

С октября Раису начали травить. Ведь чтобы ее уволить, нужны были формальные основания. Необходимо было объявить ей три или четыре выговора.

Редактор Богомоллов начал действовать. Он провоцировал Раю на грубости. По утрам караулил ее с хронометром в руках. Мечтал уличить ее в неблагонадежности. Или хотя бы увидеть в редакции пьяной.

Все это совершалось при единодушном молчании окружающих. Хотя почти все наши мужчины то и дело ухаживали за Раисой. Она была единственной свободной женщиной в редакции.

И вот Раиса отравилась. Целый день все ходили мрачные и торжественные. Разговаривали тихими, внушительными голосами. Воробьев из отдела науки сказал мне:

— Я в ужасе, старик! Пойми, я в ужасе! У нас были такие сложные, запутанные отношения. Как говорится, тысяча и одна ночь... Ты знаешь, я женат, а Рая человек с характером... Отсюда всяческие комплексы... Надеюсь, ты меня понимаешь?..

В буфете ко мне подсел Делюкин. Подбородок его был запачкан яичным желтком. Он сказал:

— Раиса-то а?! Ты подумай! Молодая, здоровая девка!

— Да, — говорю, — ужасно.

— Ужасно... Ведь мы с Раисой были не просто друзьями. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю? У нас были странные, мучительные отношения. Я — позитивист, романтик, где-то жизнелюб. А Рая была человеком со всяческими комплексами. В чем-то мы объяснялись на разных языках...

Даже Сидоровский, наш фельетонист, остановил меня:

— Пойми, я не религиозен, и все-таки самоубийство — это грех! Кто мы такие, чтобы распоряжаться собственной жизнью?! Раиса не должна была так поступать! Задумывалась ли она, какую тень бросает на редакцию?!

— Не уверен. И вообще, причем тут редакция?

— У меня, как это ни смешно, есть профессиональная гордость!

— У меня тоже. Но у меня другая профессия.

— Хамить не обязательно. Я собирался поговорить о Рае.

— У вас были сложные, запутанные отношения?

— Как ты узнал?

— Догадался.

— Для меня ее поступок оскорбителен. Ты, конечно, скажешь, что я излишне эмоционален. Да, я эмоционален. Может быть, даже излишне эмоционален. Но у меня есть железные принципы. Надеюсь, ты понимаешь, что я хочу сказать?!

— Не совсем.

— Я хочу сказать, что у меня есть принципы...

И вдруг мне стало тошно. Причем, до такой степени, что у меня заболела голова. Я решил уволиться — точнее — даже не возвращаться после обеда за своими бумагами. Просто, взять и уйти без единого слова. Именно так — миновать проходную, сесть в автобус... А дальше? Что будет дальше, уже не имело значения. Лишь бы уйти из редакции с ее железными принципами, фальшивым энтузиазмом, неосуществимыми мечтами о творчестве...

Я позвонил моему старшему брату. Мы встретились около гастронома на Таврической. Купили все, что полагается.

Боря говорит:

— Поехали в гостиницу «Советская», там живут мои друзья из Львова.

Друзья оказались тремя сравнительно молодыми женщинами. Звали женщин — Софа, Рита и Галина Павловна. Документальный фильм, который они снимали, назывался «Мощный аккорд». Речь в нем шла о комбинированном питании для свиней.

Гостиницу «Советскую» построили лет шесть назад. Сначала здесь жили одни иностранцы. Потом иностранцев неожиданно выселили. Дело в том, что из окон последних этажей можно было фотографировать цеха судостроительного завода «Адмиралтеец».

Злые языки переименовали гостиницу «Советскую» — в «Анти-советскую»...

Женщины из киногруппы мне понравились. Действовали они быстро и решительно. Принесли стулья, достали тарелки и рюмки, нарезали колбасу. То есть, выказали полную готовность отдыхать и развлекаться днем. А Софа даже открыла консервы маникюрными ножницами.

Брат сказал:

— Поехали!

Он выпил, покраснелся, снял пиджак. Я тоже хотел снять пиджак, но Рита меня остановила:

— Спуститесь за лимонадом.

Я пошел в буфет. Через три минуты вернулся. За это время женщины успели полюбить моего брата. Причем, все три одновременно. К тому же, их любовь носила оскорбительный для меня характер. Если я тянулся к шпротам, Софа восклицала:

— Почему вы не едите кильки? Шпроты предпочитает Боря!

Если я наливал себе водку, Рита проявляла беспокойство:

— Пейте «Московскую». Боря говорит, что «Столичная» лучше!

Даже сдержанная Галина Павловна вмешалась:

— Курите «Аврору». Боре нравятся импортные сигареты.

— Мне тоже, — говорю, — нравятся импортные сигареты.

— Типичный снобизм, — возмутилась Галина Павловна.

Стоило моему брату произнести любую глупость, как женщины начинали визгливо хохотать. Например, он сказал, закусывая кабачковой икрой:

— По-моему, эта икра уже была съедена.

И все захохотали.

А когда я стал рассказывать, что отравилась наша машинистка, все закричали:

— Перестаньте!..

Так прошло часа два. Я все думал, что женщины наконец поссорятся из-за моего брата. Этого не случилось. Наоборот, они стали все более дружными, как жены престарелого мусульманина.

Боря рассказывал сплетни про киноактеров. Напевал блатные песенки. Опынев, расстегнул Галине Павловне кофту. Я же опустил настолько, что раскрыл вчерашнюю газету.

Потом Рита сказала:

— Я еду в аэропорт. Мне нужно встретить директора картины. Сергей, проводите меня.

Ничего себе, думаю. Боря ест шпроты. Боря курит «Джебел». Боря пьет «Столичную». А провожать эту старую галошу должен я?!

Брат сказал:

— Поезжай. Все равно ты читаешь газету.

— Ладно, — говорю, — поехали. Унижаться, так до конца. Я натянул свою лыжную шапочку. Рита облачилась в дубленку. Мы спустились в лифте и подошли к остановке такси.

Начинало темнеть. Снег казался голубоватым. В сумерках растреялись неоновые огни.

Мы были на стоянке первыми. Рита всю дорогу молчала. Произнесла одну-единственную фразу:

— Вы одеваетесь, как босяк.

Я ответил:

— Ничего страшного. Представьте себе, что я монтер или водопроводчик. Аристократка торопится домой в сопровождении электромонтера. Все нормально.

Подошла машина. Я взялся за ручку. Откуда-то выскочили двое рослых парней. Один говорит:

— Мы спешим, борода!

И пытается отодвинуть меня в сторону. Второй протискивается на заднее сиденье.

Это было уже слишком. Весь день я испытывал сплошные негативные эмоции. А тут еще — прямое уличное хамство. Вся моя сдерживаемая ярость устремилась наружу. Я мстил этим парням за все свои обиды. Тут все соединилось — Рая, газетная поденщина, нелепая лыжная шапочка, и даже любовные успехи моего брата.

Я размахнулся, вспомнив уроки тяжеловеса Шарафутдинова. Размахнулся — и опрокинулся на спину.

Я не понимаю, что тогда случилось. То ли было скользко. Или центр тяжести у меня был слишком высоко... Короче, я упал. Увидел небо, такое огромное, бледное, загадочное. Такое далекое от всех моих невзгод и разочарований. Такое чистое.

Я любовался им, пока меня не ударили ботинком в глаз. И все померкло...

Очнулся я под звуки милицейских свистков. Я сидел, опершись на мусорный бак. Справа от меня толпились люди. Левая сторона действительно была покрыта мраком.

Рита что-то объясняла старшине милиции. Ее можно было принять за жену ответственного работника. А меня — за его личного шофера. Поэтому милиционер так внимательно слушал.

Я уперся кулаками в снег. Буксуя, попытался выпрямиться. Меня качнуло. К счастью, подбежала Рита.

Мы снова ехали в лифте. Одежда моя была в грязи. Лыжная шапка отсутствовала. Ссадина на щеке кровоточила.

Рита обнимала меня за талию. Я попытался отодвинуться. Ведь теперь я ее компрометировал по-настоящему. Но Рита прижалась ко мне и шепотом выговорила:

— До чего ты красив, злодей!

Лифт, тихо звякнув, остановился на последнем этаже. Мы оказались в том же гостиничном номере. Брат целовался с Галиной Павловной. Софа тянула его за рубашку, повторяя:

— Дурачок, она тебе в матери годится...

Увидев меня, брат поднял страшный крик. Даже хотел бежать куда-то, но передумал и остался. Меня окружили женщины.

Происходило что-то странное. Когда я был нормальным человеком, мною пренебрегали. Теперь, когда я стал почти инвалидом, женщины окружили меня вниманием. Они буквально сражались за право лечить мой глаз.

Рита обтирала влажной тряпочкой мое лицо. Галина Павловна развязывала шнурки на ботинках. Софа зашла дальше всех — она расстегивала мне брюки.

Брат пытался что-то говорить, давать советы, но его одергивали. Если он вносил какое-то предложение, женщины реагировали бурно:

— Замолчи! Пей свою дурацкую водку! Ешь свои паршивые консервы! Обойдемся без тебя!

Дождавшись паузы, я все-таки рассказал о самоубийстве нашей машинистки. На этот раз меня выслушали с огромным интересом. А Галина Павловна чуть не расплакалась:

— Обратите внимание! У Сережи — единственный глаз! Но этим единственным глазом он видит значительно больше, чем иные люди — двумя...

После этого Рита сказала:

— Я не поеду в аэропорт. Мы едем в травматологический пункт. А директора картины встретит Боря.

— Я его не знаю, — сказал мой брат.

— Ничего. Дашь объявление по радио.

— Но я же пьяный.

— А он, думаешь, придет трезвый?..

Мы с Ритой отправились в травматологический пункт на улицу Гоголя, девять. В приемной ожидали люди с разбитыми физиономиями. Некоторые стонали.

Рита, не дожидаясь очереди, прошла к врачу. Ее роскошная дубленка и здесь произвела необходимое впечатление. Я слышал, как она громко поинтересовалась:

— Если моему хахалю рожу набили, куда обратиться?

И тотчас же помахала мне рукой:

— Заходи!

Я просидел у врача минут двадцать. Врач-сказал, что я легко отделался. Сотрясения мозга не было, зрачок остался цел. А синяк через неделю пройдет.

Затем врач спросил:

— Чем это вас саданули — кирпичиной?

— Ботинком, — говорю.

Врач уточнил:

— Наверное, скороходовским ботинком?

И добавил:

— Когда же мы научимся выпускать изящную советскую обувь?!..

Короче, все было не так уж страшно. Единственной потерей, таким образом, можно было считать лыжную шапочку.

Домой я приехал около часа ночи. Лена сухо выговорила:

— Поздравляю.

Я рассказал ей, что произошло. В ответ прозвучало:

— Вечно с тобой происходят фантастические истории...

Рано утром позвонил мой брат. Настроение у меня было гнусное. В редакцию ехать не хотелось. Денег не было. Будущее тонуло во мраке.

К тому же, в моем лице появилось нечто геральдическое. Левая его сторона потемнела. Синяк переливался всеми цветами радуги. О том, чтобы выйти на улицу, страшно было подумать.

Но брат сказал:

— У меня к тебе важное дело. Надо повернуть одну финансовую махинацию. Я покупаю в кредит цветной телевизор. Продаю его за наличные деньги одному типу. Теряю на этом рублей пятьдесят. А получаю более трехсот с рассрочкой на год. Уяснил?

— Не совсем.

— Все очень просто. Эти триста рублей я получаю как бы в долг. Расплачиваюсь с мелкими кредиторами. Выбираюсь из финансового тупика. Обретаю второе дыхание. А долг за телевизор буду регулярно и спокойно погашать в течение года. Ясно? Рассуждая философски, один большой долг лучше, чем сотня мелких. Брать на год солиднее, чем выпрашивать до послезавтра. И, наконец, красивее быть в долгу перед государством, чем одалживать у знакомых.

— Убедил, — говорю, — только причем здесь я?

— Ты поедешь со мной.

— Еще чего не хватало!

— Ты мне нужен. У тебя более практический ум. Ты проследишь, чтобы я не растратил деньги.

— Но у меня разбита физиономия.

— Подумаешь! Кого это волнует?! Я привезу тебе солнечные очки.

— Сейчас февраль.

— Не важно. Ты мог прилететь из Абиссинии... Кстати, люди не знают, почему у тебя разбита физиономия. А вдруг ты отстаивал женскую честь?

— Примерно так оно и было.

— Тем более...

Я собрался уходить. Жене сказал, что еду в поликлинику. Лена говорит:

— Вот тебе рубль, купи бутылку подсолнечного масла.

Мы встретились с братом на Конюшенной площади. Он был в потертой котиковой шапке. Достал из кармана солнечные очки. Я говорю:

— Очки не спасут. Дай лучше шапку.

— А шапка спасет?

— В шапке хоть уши не мерзнут.

— Это верно. Мы будем носить ее по очереди.

Мы подошли к троллейбусной остановке. Брат сказал:

— Берем такси. Если мы поедем троллейбусом, это будет искусственно. У нас, можно сказать, полные карманы денег. У тебя есть рубль?

— Есть. Но я должен купить бутылку подсолнечного масла.

— Я же тебе говорю, деньги будут. Хочешь, я куплю тебе ведро подсолнечного масла?

— Ведро — это слишком. Но рубль, если можно, верни.

— Считай, что этот паршивый рубль у тебя в кармане...

Брат остановил машину. Мы поехали в Гостинный Двор. Зашли в отдел радиотоваров. Боря исчез за прилавком с каким-то Мишаней. Уходя, протянул мне шапку:

— Твоя очередь. Надень.

Я ждал его минут двадцать, разглядывая приемники и телевизоры. Шапку я держал в руке. Казалось, всех интересует мой глаз. Если возникала миловидная женщина, я разворачивался правой стороной.

На секунду появился брат, возбужденный и радостный. Сказал мне:

— Все идет нормально. Я уже подписал кредитные документы. Только что явился покупатель. Сейчас ему выдадут телевизор. Жди...

Я стал ждать. Из отдела радиотоваров перебрался в детскую секцию. Узнал в продавце своего бывшего одноклассника Леву Гиришвича. Лева стал разглядывать мой глаз.

— Чем это тебя? — спрашивает.

Всех, подумал я, интересует — чем? Хоть бы один поинтересовался — за что?

— Ботинком, — говорю.

— Ты что, валялся на панели?

— Почему бы и нет?..

Лева рассказал мне дикую историю. На фабрике детских игрушек обнаружили крупное государственное хищение. Стали пропадать заводные медведи, танки, шагающие экскаваторы. Причем, в огромных количествах. Милиция год занималась этим делом, но безуспешно.

Совсем недавно преступление было раскрыто. Двое чернорабочих этой фабрики прорыли небольшой тоннель. Он вел с террито-

рии предприятия на улицу Котовского. Работяги брали игрушки, заводи, ставили на землю. А дальше — медведи, танки, экскаваторы — шли сами. Нескончаемым потоком уходили с фабрики...

Тут я увидел через стекло моего брата. Пошел к нему.

Боря явно изменился. В его манерах появилось что-то аристократическое. Какая-то пресыщенность и ленивое барство.

Вялым, капризным голосом он произнес:

— Куда же ты девался?

Я подумал — вот как меняют нас деньги. Даже если они, в принципе, чужие.

Мы вышли на улицу. Брат хлопнул себя по карману:

— Идем обедать!

— Ты же сказал, что надо раздать долги.

— Да, я сказал, что надо раздать долги. Но я же не сказал, что мы должны голодать. У нас есть триста двадцать рублей шестьдесят четыре копейки. Если мы не пообедаем, это будет искусственно. А пить не обязательно. Пить мы не будем.

Затем он прибавил:

— Ты согрелся? Дай сюда мою шапку.

По дороге брат начал мечтать:

— Мы закажем что-нибудь хрустящее. Ты заметил, как я люблю все хрустящее?

— Да, — говорю, — например, столичную водку.

Боря одернул меня:

— Не будь циником. Водка — это святое.

С печальной укоризной он добавил:

— К таким вещам надо относиться более или менее серьезно...

Мы перешли через дорогу и оказались в шашлычной. Я хотел пойти в молочное кафе, но брат сказал:

— Шашлычная — это единственное место, где разбитая физиономия является нормой...

Посетителей в шашлычной было немного. На вешалке темнели зимние пальто. По залу сновали миловидные девушки в кружевных фартуках. Музыкальный автомат наигрывал «Голубку».

У входа над стойкой мерцали ряды бутылок. Дальше, на маленьком возвышении, были расставлены столы.

Брат мой тотчас же заинтересовался спиртными напитками.

Я хотел остановить его:

— Вспомни, что ты говорил.

— А что я говорил? Я говорил — не пить. В смысле — не запивать. Не обязательно пить стаканами. Мы же интеллигентные люди. Выпьем по рюмке для настроения. Если мы совсем не выпьем, это будет искусственно.

И брат заказал поллитра армянского коньяка. .

Я говорю:

— Дай мне рубль. Я куплю бутылку подсолнечного масла.

Он рассердился:

— Какой ты мелочный! У меня нет рубля, одни десятки. Вот

разменяю деньги и куплю тебе цистерну подсолнечного масла...

Раздеваясь, брат протянул мне шапку:

— Твоя очередь, держи.

Мы сели в угол. Я развернулся к залу правой стороной.

Дальше все происходило стремительно. Из шашлычной мы поехали в «Асторию». Оттуда — к знакомым из балета на льду. От знакомых — в бар Союза журналистов.

И всюду брат мой повторял:

— Если мы сейчас остановимся, это будет искусственно. Мы пили, когда не было денег. Глупо не пить теперь, когда они есть...

Заходя в очередной ресторан, Боря протягивал мне свою шапку. Когда мы оказывались на улице, я ему эту шапку с благодарностью возвращал.

Потом он зашел в театральный магазин на Рылеева. Купил довольно уродливую маску Буратино. В этой маске я просидел целый час за стойкой бара «Юность». К этому времени глаз мой стал фиолетовым.

К вечеру у брата появилась навязчивая идея. Он захотел подражаться. Точнее, разыскать моих вчерашних обидчиков. Боре казалось, что он может узнать их в толпе.

— Ты же, — говорю, — их не видел.

— А для чего, по-твоему, существует интуиция?..

Он стал приставать к незнакомым людям. К счастью, все его боялись. Пока он не задел какого-то богатыря возле магазина «Галантерея».

Тот не испугался. Говорит:

— Первый раз вижу еврея-алкоголика!

Братец мой невероятно оживился. Как будто всю жизнь мечтал, чтобы оскорбили его национальное достоинство. При том, что он как раз евреем не был. Это я был до некоторой степени евреем. Так уж получилось, запутанная семейная история. Лень рассказывать...

Кстати, Борина жена, в девичестве — Файнциммер, любила повторять: «Боря выпил столько моей крови, что теперь и он наполовину еврей!»

Раньше я не замечал в Боре кавказского патриотизма. Теперь он даже заговорил с грузинским акцентом:

— Я — еврей? Значит, я, по-твоему, еврей?! Обижает, дорогой!

Короче, они направились в подворотню. Я сказал:

— Перестань. Оставь человека в покое. Пошли отсюда.

Но брат уже сворачивал за угол, крикнув:

— Не уходи. Если появится милиция, свистни...

Я не знаю, что творилось в подворотне. Я только видел, как шарахались проходящие мимо люди.

Брат появился через несколько секунд. Нижняя губа его была разбита. В руке он держал совершенно новую котиковую шапку. Мы быстро зашагали к Владимирской площади.

Боря отдышался и говорит:

— Я ему дал по физиономии. И он мне дал по физиономии. У него свалилась шапка. И у меня свалилась шапка. Я смотрю — его шапка новее. Нагибаюсь, беру его шапку. А он, естественно, мою. Я его изmaterил. И он меня. На том и разошлись. А эту шапку я дарю тебе. Бери.

Я сказал:

— Купи уж лучше бутылку подсолнечного масла.

— Разумеется, — ответил брат, — только сначала выпьем. Мне это необходимо в порядке дезинфекции.

И он для убедительности выпятил разбитую губу...

Дома я оказался глубокой ночью. Лена даже не спросила, где я был. Она спросила:

— Где подсолнечное масло?

Я произнес что-то невнятное.

В ответ прозвучало:

— Вечно друзья пьют за твой счет!

— Зато, — говорю, — у меня есть новая котиковая шапка.

Что я мог еще сказать?

Из ванной я слышал, как она повторяет:

— Боже мой, чем это все кончится? Чем это кончится?..

Татьяна Бутовская

БАРМАЛЕЕВ ПЕРЕУЛОК

Возвращаясь вечером домой, она осторожно заглядывала к нему за перегородку в надежде увидеть его за рабочим столом — пахнет канифолью, скрежешет какая-нибудь железка в тисках, паяльник дымится — и он махнет рукой из своего угла, заметив на пороге жену и дочку: «Киски, я вас приветствую!»

Но на его столе — слой пыли в палец. Но он по-прежнему лежит на узкой тахте лицом к стене, взгляд устремлен в одну точку, колени подтянуты к животу, начинающий редеть затылок прикрыт ладонью. На полу пепельница, полная окурков.

Со злым отчаянием она трясла его за плечи, стучала по непроницаемой спине, кричала: «Тебя уволят, выкинут на улицу с волчьим билетом!» Он поворачивал к ней осунувшееся, обросшее щетиной лицо с помутневшими от бессонной тоски глазами и тихо, почти умоляюще просил: «Оставьте меня, пожалуйста, в покое...»

Из института его, по счастью, не уволили, оформили отпуск задним числом «по семейным обстоятельствам». Все же специалисты такого уровня на дороге не валяются: энергии — прорва, голова на плечах, куча изобретений, медали с ВДНХ; 36 лет — расцвет сил... На работе его никто в общем-то не зажимал. Да и не больното его зажмешь. Таких вот и имеют в виду, когда говорят «где сядешь, там и слезешь». Взять хотя бы эти многострадальные личные обязательства! С месяц ведь на его столе рядом с неизменной пачкой «Беломора» валялся чистый бланк на третий квартал, все давным-давно сдали и забыли, а он все пытал сослуживцев с мелкой иронией: «Граждане, а что, по идейно-политической части тоже нужен пункт?» Ему говорили: «Ну, естественно», а он выжимал: «Граждане, а как на данном историческом этапе повышают свой идейно-политический уровень? Нет, правда, направьте меня, а то я в растерянности». И ему объясняли, что люди обычно пишут в таких случаях: «изучить материалы последнего... чего там?» А он хохотнув, говорил: «Маразм крепчал», и, откинувшись на спинку стула, начинал развивать эту тему с запредельными обобщениями, и все слушали с трепетным живейшим интересом, потому что оратор он был блестящий, и речи его были злы и умны, и плевать он хотел на всякую осторожность.

В последний день произошел инцидент, который в сознании сослуживцев связался невольно с последующим его исчезновением. Дело было так. После обеда всем раздали флажки на деревянной ручке: одним — с гербом развивающейся страны, другим — с серпом и молотом. Все быстро оделись и с флажками в руках вывалились толпой на улицу — встречать высокую делегацию из аэропорта. Проспект, будучи правительственной трассой, был поделен на специальные зоны, и каждое учреждение несло ответственность, чтобы в его зоне была обеспечена достаточная плотность встречающих. Так что с этим было строго. Народ выстроился в линейку вдоль тротуара и стал ждать.

Рядом с Юрой оказался милиционер, молоденький сержант из оцепления, следивший за порядком. Соседство напрягало Юру: милиционеров он не любил откровенно, особой, горячей нелюбовью, своего безотчетного страха перед милицейской формой не скрывал, и, если, допустим, возвращался домой вечером, то, увидев милиционера, переходил на другую сторону улицы. Это у него застарелый комплекс со времен юности, когда он служил в армии, во внутренних войсках, в далекой и печально известной Магаданской области.

Так вот, с этим юным сержантом у него стычка произошла. Юра во время томительного ожидания кортежа запустил правую руку в карман, глядя прямо перед собой, — за папиросами — а сержант вдруг перехватил его запястье, и быстро, профессионально ошупал другой рукой его грудь и бедра — обыскал, то есть, называя вещи своими именами.

Юра побледнел и, вместо того, чтобы смолчать, вдруг завелся, защищая свое достоинство, что выглядело беспомощно и нелепо, и кончилось тем, чем и должно было кончиться: сержант, играя желваками, потребовал документы, которых у него не оказалось, и повел его в отделение.

На следующий день он не вышел на работу, жена сбивчиво говорила по телефону про туманные болезни, сказала, что с апельсинами не приходиться пока, и тогда было высказано мнение, не случилось ли чего в милиции — может, с ним там неласково обошлись, может, даже «отметелили» строптивого, чтоб помнил свое место, они могут так, что и следов не останется, а он — человек к насилию всякого рода чувствительный чрезвычайно...

Листик с ненаписанными сообразительностями еще долго валялся на его столе, пока его кто-то не убрал. А «Беломор» постепенно растащили. О Юре вскоре забыли, жизнь продолжалась, все шло своим чередом, за осенью, как и должно быть в природе, последовала зима, а вслед за 1974-м годом наступил 1975-й.

И было раннее, еще не расцветшее утро нового года, и был пустой и заснеженный Бармалеев переулок, тихий снег, и Юра сгребал этот нежный ворох с тротуара, ритмично и легко работая

лопатай, вдыхая крепкий морозный воздух. Он сгребал снег лопатой по долгу своей новой службы посредине спящего праведным сном города и сочинял мысленно послание своему старому, близкому другу.

«Здравствуй, дружище! Ты напрасно за меня тревожишься. Моя болезнь? Какая болезнь? Это что лежал-то зубами к стенке? Так доктор тут ни при чем. И микстура Кватера тоже. То, Паша, другая болезнь. И диагноз известен тебе. «Выпадение из системы» называется. Не то, чтобы прозрел — прозрели мы, конечно, раньше. Но все эти частные прозрения вдруг образовали некое новое качество. Скачок произошел. И я принял решение, и «выпал» сознательно, с полной ответственностью — чтобы сохранить остатки самоуважения и не служить тому, что я считаю злом, ложью, мистификацией, прости за высокопарность. В общем, «выпал» и стал отдельным со всеми вытекающими. Институт оставил. Нет, не пожалею. Нам, потомственным интеллигентам, физический труд на свежем воздухе весьма даже полезен. В нем что хорошо — руки заняты, а голова-то свободна!

Ты, верно, хочешь объяснений более внятных, но это потом, при встрече. Сам понимаешь, у нас тайна переписки. Равно, как и свобода печати. А также совести. А у тебя — «ящик», степень, репутация, семья. Тобой будут недовольны. Участковый придет, ругаться начнет. Могут и наказать. Потом будем перестукиваться остаток жизни — три длинных, два коротких. Ну, это я так, для красного словца».

Он аккуратно подбил сугроб, воткнул в него лопату, оглядел расчищенный участок. Вытер ладонью вспотевший лоб, закурил. Дернулась занавеска в окне дома на другой стороне улицы. Молодая женщина в ночной сорочке сладко потянулась гибким телом, откинула назад густые темные волосы, повела зябко плечами. Он замер на мгновение, зажав в зубах папиросу, нагнулся, подхватил пригоршню свежего снега... Снежок глухо стукнулся о стекло, женщина вздрогнула, прижала руки к груди... Засмеялась, погрозила нестрогим пальцем. На Катьку она была похожа, на Катьку, пылкую незабываемую подругу его юности. Ему захотелось любить эту незнакомую женщину, гладить ее плечи и волосы, прижимать к себе ее дышащее сонным теплом тело, и чтоб она обнимала его шею нежными мягкими руками и была бы родной ему. Он зачем-то снял шапку и стоял с непокрытой головой, глядя на нее, пока она не растаяла медленно в темноте оконного провала.

Тогда он вытер горючие влажные ладони о ватник, надел ушанку, выдернул лопату из сугроба и стал грести дальше, еще томимый пережитой с другим существом внезапной близостью.

«Натальину истерику, Пашенька, понять можно. Для нее это удар. Она мать, ей надо вырастить здоровое жизнеспособное потомство. К тому же воспитание у нее, сам знаешь, какое: отец —

старый большевик, сталинская закалка, одна, но пламенная страсть. А тут — зять, подрыватель основ. Катастрофа!

Что до меня, то я чувствую себя, наконец, свободным. Давно я так себя не чувствовал. Все хорошо. А как тих и мил родимый Бармалеев переулочком ранним зимним утром, в «короткий час меж сумраком и светом», м-м-м! И девушки заспанные в окне...»

Он запел энергично и хриловато, в такт движениям лопаты:

«Пока-а земля еще вертится-а,
Пока еще я-арок свет
Дай же ты, господи, каждому
Чего-о у него нет...»

Обернулся украдкой ранний прохожий на звуки его набирающего силу голоса, усмехнулся, покачал головой, взмахнул приветственно рукой и тихонько поддержал его неверным голосом:

«...Дай передышку сильному,
Трусливому дай коня,
Дай же ты всем понемногу,
И не забудь про меня.»

Наталья крутила ручку мясорубки, а десятилетний сын с нежным лицом ангела, глядя, как тянутся в миску розовые нити фарша, монотонно декламировал:

— Мясо в мясорубку — марш, мясо в мясорубку — марш, мясо в мясорубку — марш! Стой, кто идет? — Фарш!

Наталья рассеянно улыбнулась.

— Что там отец делает?

Мальчик пожал плечами.

— Лежит, читает.

«Лежит, читает!» — это теперь у него основное занятие. Ликвидирует невежество. Днем сидит в библиотеках, проникает в какие-то архивы, таскает в дом толстые папки. Изыскания его нуждаются в фактическом и теоретическом обосновании. Как-то предложил ей: «Хочешь — почитай. Это нужно знать». Она сказала: «Не буду». Потом прочитала, когда его дома не было. Озноб по спине, мама родная. Одни фамилии чего стоят — вычеркнутые из списка, преданные анафеме. О, господи! Такую литературу в доме найдут — мало не будет. Сам увязает и семью за собой тащит в преисподнюю. Хочет знать. Да кому оно нужно, такое знание, если с ним жить нормально, по-людски, нельзя? Кому теплее от него? Кого оно вдохновляет? И что дальше, главное?

Она уложила котлеты на сковородку, подняла голову, посмотрела в окно. Шли люди по улице, возвращались с работы в свои теплые дома, несли еду в сумках... Все как-то устроенные и пригретые, у каждого какое-никакое свое место в общем мирном потоке жизни. Служба, зарплата, положение, семья, дети, хобби, планы на будущее... Прошла молодая пара, катя перед собой сдвоенную

коляску с потопством. Разговаривают, смеются... В доме напротив, на втором этаже — застелье, музыка. Свадьба. Белокрылая невеста курит тайком на лестнице вместе с подругой. Потушила сигарету, подобрала подол длинного платья, взлетела вверх через две ступеньки. Вот уже юный супруг обнял ее, вот уже им кричат «горько», поднимают бокалы.

Наталья стояла у окна, расставив в стороны руки в розовых червячках фарша, и жадно, самозабвенно поглощала сердцем чужую, простую и достоверную жизнь, испытывая острую, горькую зависть к самой ее простоте, здоровью и ясности.

— «Пионер — активный борец за мир, друг пионерам и детям трудящихся всех стран...», — бубнил сын «Устав пионера».

Она оторвала взгляд от окна, огляделась. Ворох белья на гладильной доске, трещина вдоль стены, тощий кактус на подоконнике, наклонившийся вбок, как пизанская башня. Гора немойтой посуды в раковине, мужские носки в ряд на батарее парового отопления... Он рушит, а она добросовестно, бездумно обслуживает его, жарит ему котлеты, стирает носки, гладит рубашки — для того, чтобы высвободить его силы для дальнейшего, более качественного разрушения, и получается, что она тоже участвует в разрушительстве. И что дальше?

Она прошла в комнату, встала в проеме перегородки, по-прежнему держа руки растопыренными, спросила, наконец, вслух: — И что дальше?

Он взглянул на нее поверх листов, скрепленных суровой ниткой, она прочла машинально название: «О рабстве и свободе человека». Автор — русский, а издание парижское.

— Наташа, — сказал он, — ты бы причесалась, что ли... И халат сменила...

Наталья молча смотрела на него остекленевшими глазами. Он кашлянул, поскреб грудь...

— Там у тебя что-то горит...

И когда он сказал, тяготясь ее присутствием, «там у тебя что-то горит», она неожиданно для себя выхватила у него из рук брошюру, смяла ее, оставляя на бумаге жирные следы фарша, швырнула на пол и начала иступленно топтать ногами. Он вскочил, мазнул ее по лицу огрубевшей ладонью, оттолкнул. Наталья охнула, задышала часто и бросилась вон из комнаты. Стояла посреди кухни, запрокинув голову, прижав ко рту кухонное полотенце.

— «Пионер равняется на коммунистов, готовится стать комсомольцем, ведет за собой октябрят...» — донесся до нее после паузы ровный, незнакомый голос мальчика из другой жизни.

Приехал тесть, подтянутый, суровый, в выходном костюме со значком на лацкане и с бутылкой коньяку — для мужского разговора, значит. Коньяк — уступка зятю. «Мы, русские люди, предпочитаем беленькую, отечественную, с холодца да под огурчик с грибком», — сказал, выставляя на стол бутылку. В разговорах

с Юрой Алексей Иванович всегда говорил о себе «мы, русские люди», как бы считая замысловатого своего зятя не вполне русским и пеняя ему за это различными косвенными способами. Юра терпел из уважения к тестевым сединам.

Наталья накрыла стол в кухне и была отослана отцом к детям. Сели друг напротив друга. Разлили коньяк. Алексей Иванович опрокинул в себя рюмку махом, коротко и энергично выдохнул, поискал глазами огурчик и, не найдя, огорчительно утерся ладонью. Закурили.

Тесть взял широко, начал издалека, но уже с осязательным дидактическим уклоном:

— У нас ведь как, по идее, задумано: от каждого — по способностям, каждому — по потребностям.

— Ну да? — Юра блеснул глазами, посмотрел на старика. Старик не отреагировал.

— А на деле что? Не хотят, понимаешь, работать, а есть-пить хотят, да еще жалуются — мало! За чей, спрашивается, счет? Кто их кормит? Государство их кормит, потому что добренькое...

Юра отхлебнул из рюмки, откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. Алексей Иванович все говорил, следуя, видимо, заранее намеченному плану, постепенно подбираясь к главному, Юра не вникал, а только ловил ухом то место в тексте, куда можно вбить первый клин, и когда услышал «Великая страна», то решил: «Пора!»

— Я, признаться, не понимаю, почему о России нужно всегда в превосходной степени? И почему менее велик, например, Берег Слоновой Кости? Или остров Маврикий?

— Как говоришь? — тормознулся тесть. Слабая старческая шея дернулась в тугом охвате воротничка. Седая прядь упала на лоб... «Не надо, ничего этого не надо. Никаких схваток. Глупо», — подумал Юра, глядя на эту жалкую шею и на бессильно повисшую сухую прядку, и уже хотел предложить по второй, но старик вдруг резко навалился грудью на стол, стиснул кулаки и выдохнул в лицо Юре:

— Да что ты знаешь-то о своей стране, чтобы хаять ее? Откуда право такое? Ты за нее кровь не проливал, ты ее по кирпичику из руин не поднимал, не вынычивал, как дитя... Вот этими вот руками...

И пошло-поехало.

Тесть про годы первых пятилеток, Турксиб и Магнитку, энтузиазм масс — зять про то, что турксибы и магнитки зэки строили. Тесть про победу во второй мировой — зять про то, какой варварской ценой. Тесть про объединение наций в единую семью — зять про насильственное переселение малых народов с земель их предков. Тесть про достижения по сравнению с 1913 годом — зять про то, что прогресс — явление общечеловеческое, а не свидетельство преимуществ социализма. Тесть про бесплатную медицину — зять про детскую смертность. Тесть про рост производи-

тельности труда — зять про то, что в стране жрать нечего. Тесть про идеалы гуманизма — зять про миллионы расстрелянных и замученных в лагерях. Тесть, наконец, про патриотизм — зять про то, что патриотизм — последнее прибежище негодяя.

— Это не я, это граф Толстой, Лев Николаевич, — пояснил он.

— Ты, я смотрю, много успел, пока метелкой-то в Бармалевом махал.

— Так ведь я теперь, Алексей Иванович, социалистическим соревнованием не утомлен. Время свободное появилось для познания окружающей действительности...

Тесть, бледный, страшный, трясущийся, тяжело смотрел на Юру:

— Вражина... Сволочь... Я б тебя, сукиного сына...

— Знаю, Алексей Иванович... Меня б первого. Такие, как вы, таких, как мы, в свое время к стенке тысячами ставили или в лагеря отправляли. Вы и сейчас, если вам прикажут, собственную дочь туда же отправите — святым именем Союза Советских Социалистических Республик. Отправите, отправите! Попереживаете и отправите. Вы почти шестьдесят лет тащите людей в свой рай, толпой гоните под пулеметом, суля изобилие... И чего вы достигли за эти шестьдесят лет? Спросите с себя, как с коммуниста! Откройте глаза, Алексей Иванович, оглядитесь вокруг: разваленная страна, забитый, немой народ... Не перебивайте! Вы развратили пролетариат, вашу революционную силу, внушив ему, что он, гегемон, всему голова; вы вымотали душу крестьянину так, что он-таки, натерпевшись, поворотил оглобли от своей деревни куда глаза глядят; вы обесмыслили труд, вы кастрировали искусство, искохали науку, вы отрезали страну от остальной планеты, отключили от тока общечеловеческой мысли, присвоив себе монопольное право на истину... У вас руки в крови. И, став банкротами, вы упорно, тупо продолжаете твердить о процветании, о глубоком нашем удовлетворении и тащить, гнать народ дальше, как стадо баранов, к сияющим вершинам. А у кого открылись глаза на дела ваши славные, тех вы предаете анафеме, как отступников...

Он обернулся, услышав движение за спиной, и увидел застывшего в дверях сына. Спросил резко: «Ну, что тебе, Саша?»

Мальчик смотрел перед собой широко открытыми глазами:

— Мама, мамочка, — позвал он сдавленно, — дедушке плохо.

Наталья, вбежав в кухню, пронзительно закричала. Надрывно заревела Маша...

Когда уехала скорая и старик немного пришел в себя, первыми его словами были: «Наталья, если ты останешься с ним, считай, у тебя нет отца».

«Долго не писал тебе, Павлуша, — прости, надо было отдохнуть... Такие дела, брат, Наталья с детьми ушла от меня. Вер-

нулся однажды домой — пустая квартира, вещи вывезены, тихо и голо. Записочка на столе короткая. Переехала к тестю. Собственно, неожиданности не было. Я знал, что рано или поздно это случится, и я начну вести автономное существование — если уж быть отдельным, так, видимо, до конца. И во всем. Вот так и расцепились мы с Натальей. Но тринадцать лет!..

Наталья моих новых законов не приняла, и я ее не обвиняю. Но реакция бурная была: бежать, спастись и спасти детей. И вот уже началась борьба за детей, и это — на годы. Тесть, естественно, не пускает меня на порог. Унизительные мои звонки, переговоры, подкарауливание Саши у школы. Саша пережил наши семейные перипетии тяжело, впал в состояние абсолютной тупости — это когда он долго соображает, прежде чем сказать, сколько ему лет и в каком классе он учится. Эти затмения случались с ним и раньше и чередовались с периодами глубокого просветления, когда он поражал взрослых недетскими откровениями, и для него, казалось, нет ничего непостижимого. Он странный мальчик, совсем лишенный ребячьей резвости, чувствительный и самоуглубленный.

Я провожаю его из школы домой, он останавливает меня за квартал: «Папа, ты дальше не ходи», — смотрит мне в глаза, не мигая, и мне иной раз кажется, что это не мой сын, а маленький старичок — мудрец с лицом печального ангела, который все уже постиг в жизни и всему знает истинную цену — и я, поверишь ли, робею перед ним.

О Маше и вовсе лучше не говорить. Топчусь около ее детсада, жду, когда выведут детей на прогулку, чтобы пообщаться с ней через заборчик. Она ручку сквозь решетку протянет, держит меня за палец, не отпускает. Воспитательница: «Вы травмируете ребенка». Она, увы, права. И теперь я не подхожу к Марусе, а только смотрю на нее издалека. Ох, Паша, ты знаешь, человек я несентиментальный, но вот этот пальчик зажатый... Дети приобрели для меня значение только теперь, когда меня их лишили. А раньше ведь мешали, главным образом. Да и родитель я, верно, никудышный был, прямо скажем...

Что еще? Еще вернулся в институт. Нет, не потому, что запросился обратно, в «лоно», а чтобы не одичать окончательно. Если честно, надоело махать метелкой в Бармалеевом да собачиться с управдомом. В институте — хоть есть с кем словом перемолвиться, все же свой круг и общая языковая система. Только эти соображения. Как ни странно, взяли, даже более того: удалось пробить работу на полставки, теперь полнедели — «их», полнедели — «мои». А нищету переживем, не хлебом единым, в конце концов. По-прежнему много читаю из того, что ходит у нас тут по рукам. Вообще, обнаружил в себе неодолимую тягу к просветительской деятельности. В разговорном жанре. Как у древних: «Передаю, но не творю». Не могу, знаешь ли, похоронить в себе добытое в муках

новое знание. Терять мне, собственно, уже нечего. Семья была последней связующей нитью.

Сам-то как? Пашешь по-прежнему? Не задолбали тебя? Порох в пороховницах имеется? Отстреливаешься?

Я тут «Табекс» тебе добыл, помня о твоей мечте бросить курить. Вышлю на днях. У нас ходят упорные слухи, что табак подорожает, а также кофе — аж до двадцати рублей за килограмм — страшное дело. Последних радостей лишают, а что наши интеллигентские радости? Чашка черного кофе, да табачок, да беседа с умным человеком на тесной кухоньке.

Кланяйся от меня Алине. Помни, что я всегда тебе рад. И пусть тебе будет хорошо».

В тихом Бармалеевом переулке теперь были пристроены дворниками Юрины приятели — Игорь с женой своей Ольгой, молодые художники левого толка, неприкаянная парочка, кочевавшая по квартирам и мастерским друзей вместе со своими этюдниками и нехитрыми пожитками.

Игорь принял от Юры по описи лопаты, скребки, веники, холщовый фартук и безразмерную стеганую телогрейку, расписался, где надо, и, что самое главное, получил ключи от казенной жилплощади — тесной квартирки в том же Бармалеевом переулке. В жилконторе скользнули взглядом по Игоревым латаным джинсам, по длинным, до плеч, волосам, незаметно переходящим в окладистую бороду, сочли нужным предупредить: «Не выйдете раз на работу — выселим без предупреждения!» — и постучали ключиком по столу, прежде чем опустить его в готовно раскрывшуюся Игореву ладонь. В жилконторе обоснованно не доверяли дворникам с дипломами, но другие будто повывелись.

— Дети мои, я за вас спокоен, вы обрели крышу над головой и уверенность в завтрашнем дне, — сказал Юра в день, когда чета праздновала новоселье, и обвел глазами дворницкую. Узкий коридор, картины на облупившихся стенах, низкое окно, схваченное железной решеткой... О нищета с благородной осанкой! О изысканность в ветхих одеждах! Белые хризантемы, цветы декаданса в потрескавшейся китайской вазе, доставшейся в наследство от бабушки, старинный ломберный столик, прижатый к продавленной плюшевой кушетке, купленной по случаю в комиссионке за червонец вместе с доставкой, самодельный веревочный абажур, низко опущенный над столом со скромными, опрятными угощениями...

Вокруг дворницкой закрутился народ, довольно много молодого народа. Потом круг уплотнился и, определившись, замкнулся.

Собирались часто, в основном стихийно, дом был открыт и днем, и ночью, самовар не успевал остывать.

Ольга, хрупкая женщина-ребенок, обыкновенно садилась с ногами на колени мужа. Она обнимала Игоря за могучую шею,

а цыганская ее юбка оказывалась красиво раскинутой. Все знали, что у них совершенно сумасшедшая любовь, и Игорь трясется над ней, будто она не живая женщина, а раскрашенная фарфоровая статуэтка. Чуть откинув назад прекрасное тонкое лицо с тяжелыми веками, прикрывающими темный пламень зрачков, она говорила детским ломающимся голосом, завораживающе растягивая слова: «Мне сегодня снился сон...» Сон ей снился один и тот же, так что трудно было сказать, сон это на самом деле или картина, которую навязчиво рисует воображение. Игорь уверял, что это у нее после проклятой Бульдозерной выставки, на которой затоптали ее лучшую работу. И стоит ей немного выпить, у нее это начинается со сном... «Будто мне стягивают запястья веревками и подвешивают к потолку...» Юра же обычно усмехался и говорил, что этот сон снится миллионам людей. А однажды добавил:

— Миллионам снится, а я видел собственными глазами, как человека вот так за наручники подвешивали... Умер он.

— Почему умер?

— Курить хотел.

— А где ты это видел? — полюбопытствовала Ольга.

— В армии. Во внутренних войсках служил, когда ты еще под стол пешком ходила. Там и видел, — сказал он тогда сдержанно и перевел разговор на другое.

Вспоминать о том неприятно было. Потрясенный увиденным восемнадцатилетний солдатик отписал письмо отцу своего друга, довольно крупному военачальнику, где правдиво рассказал все как есть, будучи наивно уверенным, что творящиеся над заключенными надругательства и беззакония тотчас прекратятся, как только о них станет известно. Он очень уважал отца своего друга. Отец же, веселый и остроумный человек, азартно гонявший футбольный мячик на даче вместе с обоими мальчиками, отправил обличительное послание обратно в Магаданскую область, сопроводив его короткой жесткой запиской начальнику лагеря. И Юра из незавидного положения конвоирующего перешел в еще более незавидное положение конвоируемого: двенадцать лет ему дали за разглашение государственной тайны.

Около года обозревал он обширное свое отечество уже не с лагерьной вышки, а с грешной земли, окруженной колючей проволокой.

В поворотном 1956 году Юру освободили, он дослужил и вернулся домой, заряженный нерастраченной энергией, и тут такой душевный резонанс случился со всеобщим воодушевлением новой волны, что лагерные воспоминания, казалось, истаяли в этой горячей волне без следа.

Изголодавшийся Юра жадно и радостно насыщался жизнью, свободной, поступил в институт, орал вместе с физиками на лириков, толкался на сходках поэтов, читавших, срывая голос, стихи с немыслимыми рифмами; пил дешевое вино в садах и парках ночного, благоухающего июнем города, передавая бутылку по

кругу; пошил узкие брюки; влюбился в красавицу Катьку, шальную и дерзкую женщину, у которой от его случайных прикосновений в автобусе расширялись зрачки, заполнения радужную оболочку. Они устраивали романтические свидания на крыше высотного дома в центре города, где, обнимая друг друга, в обоюдном восторге доходили до полной потери нравственности среди бела дня, и после месяца этих изматывающих встреч объявили себя мужем и женой — просто для того, чтобы спать вместе без ограничений в чистой широкой постели, а не на громыхающей железом раскаленной крыше. А наспавшись досыта, расстались легко и благодарно, как люди без предрассудков, и он выдал Катьку замуж за своего приятеля, вполне приличного человека, заканчивающего Институт международных отношений, не слишком обаятельного, но тоже без предрассудков.

Катька, как большинство ярко эмоциональных женщин, была достаточно расчетлива, чтобы оценить преимущества такого брака, и они еще некоторое время дружили втроем, крутятся в общих компаниях, пока приятель не намекнул, что эта дружба ему сделалась неприятна. Юра выразил свое несколько преувеличенное недоумение Катьке, заметив с позволительной фамильярностью старого товарища, что она заметно поскучнела после медового месяца (и это было истинной правдой). И получил от Катьки затрещину с парой крепких эпитетов впридачу, они вцепились друг в друга и после борьбы обнаружили себя уже на полу, снова любовниками. Катька всплакнула у него на груди, после чего велела убираться к чертовой матери и забыть ее адрес навсегда; он и убрался, слегка, правда, уязвленный и озадаченный, и Катька канула в лету сладким воспоминанием буйной его юности.

Юра уже был увлечен работой, и уже возникла на горизонте Наталья, тихое существо с ямочками на щеках и внимательными глазками — сначала как товарищ по работе, а потом как спутница жизни, единомышленник, друг, с которым можно поделиться идеями грядущих изобретений и знать, что тебя поймут — о, это было так много для него, молодого, талантливого, набирающего силу, устремленного в будущее, по счастливой исторической случайности вырвавшегося из колючего оцепления, и тринадцать лет понадобилось, чтобы дойти до мысли, что ниоткуда он не вырвался, а так, в сущности, и продолжает жить за колючей проволокой, как узник, как раб, полагающий себя свободным. И тогда он залег на свою тахту лицом к стене и встал с тахты уже другим человеком.

Время спустя, когда их вечера в дворницкой приобрели устойчивую форму, проникнутую спокойным сознанием общности, не нуждавшейся в постоянном подтверждении, в компанию внедрился румяный студентик, крикун, сопляк, отличник, трибунный боец за правду — наивное невежество, изумившее всех безапелляционностью суждений и энтузиазмом. Он ввинтился в их неспешную

беседу (говорили о Чаадаеве и Герцене, гениальных хулителях, а в связи с ними — о западной демократической традиции), а он влез, горластый и нетерпеливый, влез инородной плотной массой и, брызгая слюной, выкрикивал свой ширпотреб, сходу заклеил обоих, всем все объяснил и про узость, и про историческую обреченность...

У архивариуса Николы, посвятившего себя изучению русской освободительной мысли, тонкие брови вылезли из-под очков. «Это откуда взялось?» — спросил Юра, наклоняясь к Ольге, и кивнул в сторону студента. «Он же совсем мальчик», — сказала Ольга, как бы прося у Юры снисхождения.

— Друг мой, позвольте вам заметить... — начал Юра, обращаясь к студенту, и в течение пятнадцати минут ощипал его до мяса. Ощипанный отполз на кухню и там, забившись в щель между шкафом и газовой плитой, растирал злые бессильные слезы кулаками по розовым щекам.

— Оля, пойдй вытри Розовому сопли и пригляди за ним, чтоб не наложил на себя руки сгоряча, — посоветовал Юра, усмехаясь и отчасти вспоминая себя образца 1960 года.

Прозвище «Розовый» закрепилось с той минуты за студентом надолго, до седых волос его будут так звать.

Вскоре он появился вновь, оправившись и распушив остатки оперения, ринулся с ходу в бой и был ощипан вторично, распотрошен и брошен на уголья, но опять восстал из пепла, опять возник в дворницкой во всеоружии аргументов, которые проговаривал вслух ночами, закрывшись с головой одеялом.

— Каков нахал! — восхитился Юра.

Он был храбр и трогателен, этот книжный юноша, из тех искренних и романтических натур, что в пятнадцать лет переписывают, волнуясь душой, в тетрадку: «Во всем мне хочется дойти до самой сути...» Он был настроен решительно, он был готов защищать свои идеалы до отчаяния и, неумело выхлебав для храбрости полстакана крепленого, начал срывающимся голосом:

— Вы все отрицаете. Все! И ничего не предлагаете взамен. Вам нечего предложить. Вы способны только сидеть тут и глумиться исподтишка, поскольку ничего другого не можете, не умеете, — он сжимал в пальцах стакан, вино выплескивалось на брюки, он не замечал и продолжал, заметно хмелея и возбуждаясь: — Ваши интеллигентские переживания лишены мускулов, ваши прозрения бессильны... Да, бессильны! Вы готовы страдать всю жизнь, но никто из вас не способен пострадать за свои убеждения, и на Сенатскую вы не пойдете требовать демократических свобод, о которых тут рассуждаете... И все-то у вас только треп, и ни одного поступка...

Щеки студента пылали. Юра посмотрел на него остро, скрестил руки на груди, откинулся на валик кушетки. Ольга тронула его легкой рукой за локоть, он не заметил ее жеста.

— Да, сынок, не пойдем и тебе не советуем. На Сенатскую шли

незрелые юнцы вроде тебя. Заварили кашу, да и бросили, растрепавшись... Я позволю себе напомнить, чем все кончилось: а тем, что благородные юноши предали своих соратников. Рылеев на первом же допросе сказал: «Считаю своим долгом гражданина...» — и назвал Пушина, Трубецкого, не так ли? — обратился он к архивариусу Николе.

— Совершенно верно. И еще «Южное общество», — кивнул Никола.

— Они раскалывались, как орехи, вытаскивали из памяти фамилии людей, давно от движения отошедших и преспокойно живших в своих тамбовских и орловских поместьях, Пестель сыпал именами, вдохновенный идеей застрашать царя размахом оппозиции, брат доносил на брата, друг на друга, желая растворить свое преступление в других, как столетие спустя доносили в тридцатых. Сотни людей, цвет общества, были схвачены, высланы на каторгу. Те, что выкарабкались, оказались сломленными страхом и собственной подлостью. Расправившись с ними, власть подняла голову, утвердилась в себе. Вот тебе итог хирургического вмешательства в общественный организм, вот тебе борьба за справедливость... Мы живем в эпоху исторического бессилия. Задача на сегодняшний день — затаиться в своей норе и не дать себя уничтожить... — Юра смеялся, а Розовый уже ушел, покачиваясь, на кухню и там склонился над холодной раковиной, обнимая ее руками и давясь рвотными спазмами, выдиравшими внутренности, и опустошенный, бледный, в мокрой расхристанной рубашке — мальчик, еще не знавший женщины, — стоя на четвереньках и громко икая, слыша Юрин смех из комнаты, подтирал за собой пол вафельным кухонным полотенцем.

Оля, обнаружив его в плачевной позе, опустила перед ним на корточки и гладила его по русым волосам, вытирала подолом цыганской юбки подбородок: «Умный мальчик, замечательный мальчик, красивый... Женечка, пойдем, миленький, я спою тебе песенку, все будет хорошо», — и, сказав это, она крепко поцеловала мальчика в пунцовый рот, прикрыв тяжелые веки. «Оля, — слабо выдохнул он, — Оля...» — и горестно покачал головой.

Пережив трудное свое причастие, Розовый начал ходить за Юрой тенью, отягощая своей настырностью и неутоленной духовной жаждой. Женечка уже не кричал, не размахивал руками, не нападал с юношеской свирепостью, а все спрашивал и слушал, спрашивал и слушал, покусывая нижнюю губу, и Юра, чувствуя его смятение и растерянность, мягче с ним стал, с пытливым юношей, выпрастывающимся из своих мокрых пеленок.

«Убери свои изжеванные идеалы, они осквернены их же носителями, расчисти пространство для собственных мыслей — мысль может существовать только в свободном пространстве», — объяснял ему Юра, когда они гуляли по ночному городу. «Боюсь, тяжело дышится в этом пространстве: в нем нет места ни идеалам, ни любви». — «Любовь, мой друг, не философская категория». —

«Да, да... возможно», — говорил Розовый и тер пальцем наметившуюся складочку между бровей.

К студенту постепенно привыкли: он вносил оживление в компанию и свежую струю — и, когда исчез внезапно, все почувствовали его отсутствие. Исчез он надолго: мотался по каким-то таежным дебрям и ударным стройкам, ища, верно, за Уральским хребтом таких же Розовых, а вернулся — заросший бородой, охрипший, со шрамом на физиономии и выбитым зубом, и ему распахнули объятия: «О, студент... „Алый парус“, как жить дальше?»

Он смеялся беззлобно, он метал золотистых омулей на стол, поил всю компанию, и уж былой охоты ввязываться в дискуссию не наблюдалось в нем, и, когда его попросили поделиться впечатлениями о стройках века, только махнул рукой и попросил Ольгу: «Оленька, спой мне песенку, если тебе не трудно». Ольга уже была беременной, и беспокойный огонь под ее тяжелыми веками, огонь, которого, кажется, побаивался и сам Игорь, стал будто бы мягче, будто бы потерял свою интригующую силу. И она взяла гитару и, сидя, по обыкновению, у Игоря на коленях, запела: «Ваши пальцы пахнут ладаном...» Пела она изумительно, голос у нее томным становился и волнующим, так что обитатели дворницкой, случайно, не выдерживали, плакали.

Юра с Розовым ушли тогда поздно, ушли вместе, и снова шатались по ночным улицам, разговаривая, сидели в сквериках, курили, и с уст Розового тогда сорвалось застенчивое, порывистое признание: «Учитель...», немало насмешившее, но и тронувшее Юру, уже начинающего терять зеленые листья молодости. И с Розового легкой руки пошло это «Учитель, Учитель», как бы полушутя. И он хохотал: да вы кончайте, други, чему я могу научить? А они упорствовали: нет, именно Учитель, а почему тебе и знать не обязательно.

Стрелка часов над входом нервно вздрагивает, отзываясь в толпе слабыми толчками, и подтягивается к девяти. Лупит в утренней темноте холодный дождь, зонтики, сомкнувшись над головами, образуют сплошной шатер. Толпа медленно продвигается к застекленным четырехстворчатым дверям парадного подъезда. Три створки их обычно заперты, и вжиматься приходится в ту единственную, что остается открытой. На отяжелевшем от влаги, нависшем над подъездом лозунге «Определяющему году пятилетки — ударный труд» сидят в ряд нахохлившись голуби. На мгновение приподнимается в учтивом приветствии чья-то шляпа, обнажив беззащитную лысину. Шляпе сухо кивает берет, красный, вязаный, с люрексом. С каждой минутой народ прибывает.

— Кто там сегодня на вахте, бабуля или этот, со стеклянным глазом, злыдень?

Если бабуля, то можно проскочить и после девяти. Если злыдень — ровно в девять вход перекроют, пропуска изымут, составят акт... Не исключено, что и сфотографируют для «Молнии» — в учреждении месячник борьбы за дисциплину.

Дежурил злыдень.

Через площадь от автобусной остановки бежали служащие. Бежала красавица с развевающимися волосами, откидывая в стороны длинные голени и придерживая норковую шапку на затылке. Легконогий молодой практикант бежал, зависая над лужами в полушпагате. Прижав ридикуль к груди, сотрясаясь крупным телом, мучительно бежала женщина из бухгалтерии. Зря они бежали. Осталась минута, и шансов у тех, кто сейчас в хвосте — никаких.

Хлопнула у подъезда дверца служебной машины, мелькнули распахнутые полы плаща, темный галстук и папка с тиснением, негромкое, но требовательное «Пропустите!» вклинилось в толпу с фланга. И она подалась назад, уступая. Кто-то хрипло выкрикнул непроснувшимся голосом: — «Доброе утро!» — и зашелся кашлем. «Пропустите, товарищи, пропустите!» Запах лаванды пронесся легким дуновением, потревоженная толпа вновь срасталась.

— Юра! — беленькое круглое личико, мокрое от дождя, вынырнуло из-за чьего-то драпового рукава. — Здравствуй...

— А, Любаша...

Личико оживилось, ткнулось в Юрино плечо. Плечу сделалось горячо. Их прижало друг к другу: красный с люрексом берет энергичными рывками прокладывает дорогу ко входу. Точно за беретом следовала шляпа. Любаша ойкнула, плотнее прижалась к Юре, ища у него защиты. Он сгреб ее в охапку, сцепил руки в кольцо, так что она оказалась внутри этого надежного кольца, и они продвигались вместе, вслед за беретом и шляпой, как одно тело. Любаша тихо смеялась. Юрин подбородок упирался в ее пахучий затылок.

— Что не заходишь-то? — шепнула она, дотягиваясь губами до его уха.

Сзади нервничали, напирали уже беззастенчиво — ввинчиваясь костяшками пальцев в спину.

Вертушка на входе молотила, как ветряная мельница.

А после вертушки... о, после вертушки «отпускало» сразу!

Стрелка часов дергается в последней судороге, взрывается звонок, похожий на сирену, невидимый ботинок жмет на невидимую педаль — вертушка замирает. Застрявший на финише перегибается через перила, протягивает раскрытый пропуск, обозначая, что он ТАМ уже больше, чем ЗДЕСЬ. Вахтер скользит по нему равнодушно живым глазом, трогает козырек фуражки, командует зычно: «А-опоздавшим сдать пропуска!» Тот, что застрял, все еще дергается в железных челюстях вертушки. Вспыхивает красным электронное табло: «Вы опоздали на работу».

Дама с беретом, обкусив пострадавший в толчее ноготь, отстраненно смотрит из глубины вестибюля на растущую в руках вахтера стопочку пропусков, судорожно зевает и отворачивается, перидернув плечами. Гардеробщик, невозмутимый, медлительный, принимает пальто. Его не торопят.

— Позволь, я за тобой поухаживаю, — говорит Юра и тянется, чтобы помочь Любаше раздеться. Щеки ее розовеют.

— Я сама, — говорит Любаша и быстро оглядывается по сторонам. Юра пожимает плечами.

— Так заходи, — интимно напоминает она на прощание.

В вестибюле натоптано, мокрая дорожка тянется вверх по лестнице и дальше, по широкому коридору, уже подсыхая. Снуют служащие, рассредоточиваются по комнатам, в женском туалете набирают воду в электрочайники, уже тянет из-под дверей свежесваренным кофе, и где-то бубнит радио. На черной лестнице в конце коридора сходятся курильщики. И толстенный хохотун из отдела снабжения, кладезь анекдотов, которые непременно начинаются словами «возвращается муж домой из командировки», беспечный волокита и сплетник, выпитив брюшко, уже развлекает курительное общество зарисовками с живой натуры: «Валюша, из патентного, знаете? — сла-адкая женщина, так бы всю и скушал... Я ее хлоп по попе, а она: ах, Семен Михалыч, вы меня чуть не убили...»

День за окном светлеет, проясняется. Вот и речка заиграла на солнце мазутным разноцветьем, блеснула лаковая спина горбатого моста, вспыхнула вдалеке луковка церквушки, зажатой прямыми корпусами домов...

Юрин рабочий стол — у окна. На углу стола початая пачка «Беломора» и коробка спичек. Под рукой чистый лист бумаги. Время: десять часов, пять минут.

«Здравствуй, Паша! А ты, старина, все неустанно тянешь одну и ту же мысль (не новую, замечу), что русской интеллигенции всегда было присуще чувство вины и ответственности за судьбу своего отечества, за его прошлое, настоящее, а также будущее. Дескать, мы должны переболеть его недугами вместе с ним, потому как это и наши недуги. Слышу, слышу твой упрек. Но скажи, за что ответственен ты сам, подвижник мой дорогой: инфаркт в сорок лет на почве российского радения «на благо и во имя», а ты все бьешься головой о стенку. Ну и, допустим, ты ее пробьешь — как в том анекдоте — и что, скажи на милость, ты будешь делать в соседней камере?»

Перед кем виноваты и за что ответственны обитатели дворницкой в Бормалеевом, ставшей клубом «невписавшихся»? Молодые, мыслящие, образованные, с тревожной, между прочим, совестью? Они сделали то, что могли сделать в сложившейся ситуации — перестали участвовать в процессе. А ты полагаешь, что недеяние, неучастие — это не форма борьбы?

Наблюдая за своими сослуживцами, которые не столько работают, сколько отбывают трудовую повинность, я пришел к выводу, что это не что иное, как тихий саботаж, бессознательная реакция «маленького человека» на зажим, вранье, очковтирательство. Тихий саботаж в масштабах всей страны. И результат, как

говорится, налицо. Всякий человек создателем задуман, но бывают этапы, когда чем хуже, тем лучше. Чем скорее изживет себя старое, тем скорее очистится место для нового. А ты, любезный друг, создание больно узко понимаешь, видишь ли, после себя непременно табуретку надо оставить, сделанную своими руками.

Не экстремист я, Паша, и не сторонник насилия. Мои симпатии — на стороне угнетенных. Декабристы, к которым интеллигенция проявляет сейчас жаркий, вполне объяснимый интерес, с тайным замиранием примеривая на себя их пятичасовое топтание на Сенатской, — это пустое. Дурное и кровавое дело, ничего, кроме страданий и горя, исходящих от любого революционного насилия, человеку не приносящее. Впрочем, и другая крайность — сопротивление злу насилем — чужда мне. А есть нечто третье: сопротивление злу ненасилием. Противостоять и поддерживать противостоящих, чтоб не померли в одиночку. Так что, если ты думаешь, что бдения наши по дворничьим и прокуренным кухням бесплодны, то ты ошибаешься. В этих прокуренных кухнях и живет мысль, выбивается из своего душного заточения, выпрастывается — неумело, конечно, беспомощно — ибо навыки-то отсутствуют; нет у нас привычки артикулировать и доводить наши смутные переживания до мысли, потому что все мы гомункулы, выращенные в колбах, а не сыны своих матерей: и ты гомункул, и я гомункул, и дети наши будут гомункулами, не тщишь, старик. В этих прокуренных кухнях мы робко постигаем историческую анатомию нашего отечества, и оно мне представляется неким непостижимым существом женского полу, вечно беременным глобальными обновляющими и реформистскими идеями и не могущим разрешиться от бремени здоровыми жизнеспособными плодами, а все больше уродцами да калеками, жадно всасывающими последние материнские силы. Впрочем, мысль о вечной беременности — не моя, ей больше ста лет».

— Юра! Юра!

— ...А?

— Ты что, заснул? Заказ будешь брать?

На стол лег исписанный листок:	
«Греча (ядрица) 1 кг —	56 коп.
Масло сливочное 200 г —	72 коп.
Скумбрия в масле 1 б. —	75 коп.
Чай индийский 1 п. —	95 коп.
Заказ —	18 коп.

Итого 3 руб. 16 коп.»

Клавдия Ивановна, сборщица взносов, потрясла стеклянной банкой из-под венгерского компота, заполненной наполовину деньгами.

— Нет, нет, спасибо.

— Гречка, чай, — агитировала она, — и нагрузка небольшая. Все по две штуки просят. А дают один набор в руки... Не будешь? Ну, ты странный какой. Тогда я за тебя возьму, а запишем на тебя, не возражаешь?

— Конечно, Клавдия Ивановна, конечно.

Наталья впервые позвонила сама. Голос у нее был подавленный. С Сашей нехорошо, он опять в тупом оцепенении, давно уже такого не было. В разговоре прозвучал намек на какую-то странную историю с его классной — она из-за него ушла из школы. Дело темное. Наталья допускает возможность детской влюбленности, учитывая Сашину впечатлительность, Саша, как обычно, молчит, от него ничего нельзя добиться. Наталья имела разговор с директрисой, неприятной, дурно воспитанной женщиной — та советовала показать мальчика врачу. Невропатологу. Может быть, Юра поговорит с ним, как мужчина с женщиной? Она боится за мальчика, она даже не выпускает его из дома.

Наталья была в растерянности. Всю жизнь она тряслась над сыном, над своим мальчиком с ангельским светлым лицом, особенно после той давней поездки в деревню, где пятилетний Сашенька попался на глаза древней деревенской старухе, и та, проводив его острым взглядом, покачала головой, перекрестилась и сказала: «Не жилец». Сказала тихо, но Наталья услышала, и ее обуял ужас, поскольку старуха слыла провидицей, и все то, что она предсказывала, всегда сбывалось. Юра тогда долго успокаивал жену и подсмеивался над ее склонностью к мистике и над деревенской старухой, выжившей из ума еще при царе Николае. Однако Наталья мнительность по отношению к сыну отчасти сообщила и Юре, особенно когда мальчик подрос.

Что касается учительницы, из-за которой, по предположениям Натальи, мальчик впал в свой умственный анабиоз, то всей школе было известно, что Санька из седьмого «б» ходит за ней, как преданная собачонка, и часами стоит после уроков в коридоре, ожидая пока в учительской закончится педсовет, чтобы проводить ее домой. Учительница была худенькой молодой женщиной с глубоким волнующимся голосом и с живым некрасивым лицом, запоминающимся выражением изумленного внимания. Учителя и ученики часто встречали их на улице и отводили взгляды, смущенные и задетые необъяснимой чужой привязанностью, переходящей в откровенное обожание. Он тащил ее сумку с тетрадями, они оживленно разговаривали, их отдельность бросалась в глаза.

Он называл ее по имени — «Инна», и в его отношении к учительнице угадывалась покровительственная нежность и ответственная забота. Наталья однажды встретила сына в центральной аптеке с рецептом в руках и с трудом вырвала у него признание: лекарство нужно для Инны, для Инны Алексеевны то есть, она

вторую неделю болеет, он объездил с десятков аптек, и везде сказали «нет». И Наталья, подавив острую ревность, — для родной матери мотался бы он вот так по аптекам? — достала лекарство через свою знакомую, к которой обращалась только в исключительных случаях.

Инна Алексеевна была одинока, и Саша выхаживал ее месяц, почти не бывая дома: бегал по магазинам, варил обеды, читал ей вслух и делал у нее уроки. После ее выздоровления они стали практически неразлучны и их взаимное обожание заметно усилилось.

Этот год совпал с периодом глубокого Сашиного просветления, он блестяще учился и приносил школе призы за победы в городских олимпиадах, что заставляло Наталью, поджав губы, стоически терпеть Сашину странную привязанность. Неизвестно, как долго просуществовал бы этот тандем, тревожа чужое любопытство, но только педагоги, не выдержав этой ежедневной пытки, доводящей их до расстройств рассудка, начали, в свою очередь, истязать Инну, указывая ей на неприличность такого рода отношений для учительницы и низводя, таким образом, непонятное до уровня понятного, стыдного и подлежащего искоренению.

Сашу перевели в другой класс. Он продолжал ходить на ее уроки, прогуливая собственные. Тогда сломленная Инна перестала пускать его на занятия, а если ему все-таки удавалось пробраться в класс, то останавливалась в дверях и говорила, обращаясь к нему: «Выйдите, пожалуйста. Я не могу начать урок, пока вы не выйдете». И он выходил, а она выскальзывала за ним в коридор, и класс прислушивался к ее приглушенному волнующемуся голосу. Инна убеждала, а он молчал и смотрел на нее, не мигая, — такая у него была манера с младенчества, смотреть в глаза, не мигая, и взрослые редко выдерживали его взгляд. Инна уходила, плотно прикрыв за собой дверь, чтобы он не мог ее слышать, оставляла его в пустом коридоре с расстегнутым портфелем в руках, а после урока находила на том же месте.

Школа с возрастающим интересом следила за перипетиями их отношений. Теперь, если их видели вместе, Инна покрывалась румянцем и опускала ресницы, а потом, верно, запретила ученику провожать ее домой. И Саша плелся за ней с сумрачным упорством и дышал ей в спину.

Пытались выкорчевать Инну Натальиной материнской волей, но Наталья, готовая удушить учительницу собственными руками, сказала, что ничего дурного в этой дружбе не видит, напротив, Инна Алексеевна оказывает на сына исключительно положительное влияние. Наталья была мудрой.

А потом был Иннин последний урок, запомнившийся в школе надолго, — когда Саша сидел перед ней на первой парте, а она что-то говорила своим особенным голосом, но никто не вникал, что она там говорила, а все только смотрели на ее заплаканные, припухшие глаза, которых она не стеснялась, ощущая себя свиде-

телями драматической ситуации, оставшейся за пределами воображения.

Инна перешла в другую школу, а у Саши начался затяжной период абсолютной тупости...

Юра встретился с сыном на бульваре в центре города и нашел его изменившимся и еще больше похожим на печального ангела. Расположившись на скамейке, Юра закурил, заговорил о Сашиных делах и в школе, и так... О жизни вообще. Голос был бодрый, насквозь фальшивый, он мучался своим фальшивым голосом, но никак не мог найти верного тона, и от этого мучался еще больше. Мальчик, казалось, понимал отцовскую рассогласованность, но оставался равнодушен к ней, не стремясь сократить существовавший между ними зазор. Темы разговоров, едва вспыхнув, угасали одна за другой, как отсыревшие спички. В Юре началась паника, он увял и затих окончательно.

Кричали воробьи, перебивая друг друга. Март обливался радужными слезами. Деревья на бульваре стояли, как непорочные отроковницы, раскинув тонкие руки и скрывая до времени тайное напряжение жизни внутри тугих тел.

Юра украдкой, исподлобья взглянул на чистое лицо сына в дымке золотистых волос и вдруг увидел перед собой не мальчика, а взрослого страдающего мужчину. Мнимое, назойливо мешавшее превосходство опыта, говорившее фальшивым голосом, наконец покинуло его, и он спросил: «Ну хочешь, пойдем к ней вместе?» И хотя Саша отрицательно замотал головой, Юра уловил в его глазах вспыхнувшие огоньки признательности и отражение встречного душевного движения. Этого непрочного, перекинувшегося между ними моста было довольно, чтобы почувствовать опору под ногами. Саша! Сын! Плоть от плоти, кровь от крови... Полно о делах в пионерской дружине, пора поднимать мальчика на иной уровень существования. Никакого вранья и розовых слюней, никаких сомнительных идеалов и умолчаний во спасение. Пусть все знает. В норе кролика должно родиться крольчонку, в гнезде галки — галчонку, в логове волка пусть родится волчонок... Таков закон жизни.

— Хочешь, я познакомлю тебя со своими друзьями? — предложил Юра. И повел сына в дворницкую, переживавшую тогда свой расцвет.

Чтобы подзаработать на жизнь, приходилось летом, в отпуск, ездить по селам с шабашниками. Коллектив небольшой, сложившийся, шесть-восемь человек. Из дворницкой кроме Юры — Игорь, Стас, случалось, и архивариус Никола присоединялся или Вивуль, безработный сценарист (но с него толку мало получалось, а больше хлопот и неприятностей, ибо так был устроен человек печально, что непременно, свой ржавый гвоздь нашел, на который и опускал тело всей тяжестью).

«Командор», Владимир Иванович, мужчина крепкий, ученый, м. н. с. из Юриной конторы, отдавал предпочтение людям технического склада, а гуманитариев ругал за неспособность к конструктивному мышлению и отсутствие практической сметки. Вивуль обижался, они ругались каждый вечер, но, впрочем, без злобы, а скорее ради собственного удовольствия.

Чистюля Вивуль имел дурную привычку мыть ноги перед сном и стирать носки, что, в общем, не вязалось с традициями шабашников, а также требовал у командора в конце каждой недели поменять постельное белье, и Владимир Иванович, доведенный до белого каления, выдернул однажды из-под себя серую простыню и закричал:

— Ну на, возьми мое белье, если тебе так хочется его поменять!

Юра, как человек с «конструктивным мышлением» и практической сметкой, обладал несомненным авторитетом в глазах прагматичного командора.

Деревни, в которые они приезжали, были разные, а казалось, будто одна и та же: покосившиеся избы с куцыми огородами, некрашенные, почерневшие от дождей заборы, деревенские старухи, с настроженным любопытством разглядывающие чужаков из-за ситцевых выцветших занавесок, раздолбанная дорога с глубокими гусеничными рытвинами, дощатый кубик сельмага, где на засиженных мухами полках баночная килька который год томится в томатном соусе, большегрудая продавщица в нестираном фартуке, меланхолично переругивающаяся с мужиками, уже веселенькими с утра, и теперь просящими в долг...

Ломали старый коровник, полуразвалившийся, безнадежно увязший в навозной жиже, в которой тонули время от времени слабые новорожденные телята да забредающая сюда мелкая живность. На его месте сезонники должны были выстроить новый. Убиение коровника, едва ли не ровесника, деревенским старухам, сошлось смотреть полдеревни. Бульдозерист, живой мужичок без возраста по прозвищу Колька-бульдозер, с тяжелым ревом въехал на косогор, зацепил стальным тросом балку, потянул — раз, другой, третий — и коровник ошестинился вывернутыми бревнами, захрипел, глотнул напоследок синевы да и рухнул бессильно. Стало тихо.

Юра обернулся: местные еще не расходились. В этот момент и открылась ему картина. На той картине, на вершине холма стоял он сам, рядом, сжав бороду в кулаке, близоруко шурился сквозь очки Никола, с другой стороны — Стас с трубкой в уголке рта и в заляпанных навозом штанах. Троица такая... Сзади, фоном — поверженная туша коровника, еще дальше неясно маячат избы с огородами. Впереди — дорога, спускающаяся вниз, к необъятной, непросыхающей даже в летнюю жару луже, где плещется худосочная домашняя птица. По ту сторону лужи молчаливо и тесно стоят люди, подняв к ним лица... Тихие, износившиеся до времени женщины в косынках, с огрубевшими, сложенными на жи-

воте руками; обросший щетиной старик с кадыкастой шеей, высунившийся из-за плеча молодой простоволосой бабы, — у бабы грудь повязана крест-накрест шерстяным платком, малой на руках; ухмыляющийся мужичок в расстегнутой рубашке и брезентовых штанах, из кармана торчит поллитровка; босоногие ребятишки, вцепившиеся в мамкины юбки, с беспокойным любопытством вглядывающиеся в тех троих, что стоят там, наверху: что за люди? Кто такие? Чего им?

Так созерцали они друг друга короткое мгновение, потом толпа пришла в движение, распалась. А картина под названием «Соотечественники» в памяти сохранилась.

Сельские жители были настроены к ним доброжелательно, старались подкормить заезжих работяг, тем паче что работяги трудились усердно, не пьянствовали, с девками не заигрывали, вели себя тихо. Даже прикрепленный к шабашникам Колька-бульдозер, работающий, аккуратный, немногословный, с выбеленными на солнце волосами, наблюдая за их работой, усмехался: «Вы, городские, горазд хорошо работаете, а нам хорошо не надо, у нас — колхоз, понимаешь».

Старушки через Игоря передавали пучки зеленого лука, связки свежей морковки, корзинки с яйцами. Игоря из общей компании выделяли.

— Чего это тебя так бабульки возлюбили? — ревниво интелесовался Юра.

— Говорят, я на батюшку ихнего покойного похож, лицом и голосом.

Отпахав двенадцать часов на коровнике, Игорь колол бабулькам дрова на зиму, латал крыши, чинил электропроводку. Денег, естественно, не брал. Бабульки называли его «сынок». Они и на стройку иной раз приходили, звали робко: «Игорь, Игорь...» И оставляли трехлитровую банку молока. «Подружки твои пришли», — гоготали шабашники.

В последний вечер бабульки вручили Игорю бутылку самогона, обернутую чистеньким льняным полотенцем, — для обмывки нового коровника — а также калиток с гречневой кашей. Пришел Колька-бульдозерист в белой рубашке, свежесбритый и пахнущий одеколоном. «Обмывали» до первых петухов. Состоялось сдержанное мужское братание.

Юра возвращался в хорошем настроении: осуществляется смычка с народом!

Темный вечер. Мокрые ржавые листья под ногами. Воспаленный глаз светофора. Гастроном на углу. Двести докторской и бутылка молока. Пачка «Беломора» и коробок хозяйственных.

Знакомый с детства запах подъезда. Выщербленные широкие ступени. Душная тишина квартиры. Суп-концентрат «Домашний» с рисом и мясом — из кастрюли, стоя и прислушиваясь, как капает

из крана. Комната: десять шагов — окно, десять шагов — стенка. Окно — стенка. Окно — стенка.

Паша... Какого черта ты мне выклеываешь печень. Паша? Что значит «сдохнешь без дела?» У меня есть больше, чем дело, у меня есть кредо. И никого я не обращаю в свою веру, я не миссионер, чтоб ты знал... Что значит «начнешь грызть собственный хвост?» Откуда вообще этот назидательный тон старого служаки? Тебя хорошо прикормили, доктор?

Окно — стенка, окно — стенка.

О, господи... Паша, голубчик, прости ты меня... Что-то я не в себе нынче. В подвесе каком-то. Все из рук валится. За что ни возьмусь, то и брошу тотчас, думаю: а смысл? Знаю, ты болеешь за меня. Может, ты единственный за меня болеешь. И за всех. Оттого-то сердце твое не выдерживает. Хоть бы посидеть с тобой рядом да на морду твою посмотреть... Далеко Паша, не услышит, не прибежит...

Тахта, обои в матрацную полоску. Нет! Встать! Не дать скрутить себя надвигающемуся маразму. Пережить осень. Дотянуть до снега. Со снегом отпустит...

Окно — стенка, окно — стенка.

Дети... Фотографии под стеклом. Сын — с удочкой и биноклем на шее. Наталья говорит, ожил, вышел из оцепенения, Наталья не знает, что он ходит в дворницкую... И слава богу. Фотография дочери — обнимает мать, смеется. Ласковое создание с ямочками на щеках. Палец жмет на клавишу магнитофона. Собственный голос на пленке: «Раз-раз. Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять. Ну, давай, Марусь, начинай». Голос дочери: «Я маленькая девочка, я в школу не хожу, купите мне сандалики, я замуж выхожу». Смеется вместе с отцом. Пауза. Крутятся кассеты. Записи с голоса своей дочери он знает наизусть. Сейчас он услышит с пленки свое тихое, робкое: «Ты придешь ко мне в следующее воскресенье?» — «Приду. Если мама отпустит». — «А ты попроси ее хорошо. И приезжай вместе с Сашей». — «Саши почти никогда нет». — «Мама его ругает?» — «Дедушка ругает. Дедушка всех ругает». — «А мама?» — «Мама?... Плачет».

Стоп. Тишина. Только капает вода из крана, долбит череп, сверлит сердце... До снега дожить. Дожить до снега. Выкарабкаться, выцарапываться. Не дать себе впасть в маразм. Культивировать радость. И маленькими радостями тоже не брезговать.

Можно, например, позвать Любашку. Любашку-сметану, беленькую хохотушку. Приедет со своей бутылочкой, припасенной на случай, с тарелкой студня в полиэтиленовом пакете и прочей домашней закуской — простая бабаха, добрая, без закидонов. Сядут, выпьют, закусят. У Любашки заблестят глаза, они пообнимаются на диванчике, выпьют еще. Она расскажет про своих девок из бухгалтерии, про то, как Райка Беспалова вывесила в женском туалете объявление: куплю, дескать, фирменное нижнее белье за любую цену — ну, обносились женщина, и как Любашкина началь-

ница, старая дева, потом пыталась Любашку: «Объясни мне, зачем Раисе фирменное белье, она же замужем?» Захмелев, она споеет: «Ой, мороз, мороз» — протяжно и пронзительно, как поют русские женщины в деревнях, потянется, скажет: «Эх, какие наши годы... Бери меня, Юрочка, замуж — не пожалеешь, вылижу тебя с головы до пяток», — и захохочет, махнув безнадежно рукой, и вспомнит своего бывшего мужа — алкоголика, которого пристукнули в лагере уголовники после года отсидки, сволочь он был порядочная и придурок, каких мало, а все равно жалко. И соберет со стола крошки, и кинет их с ладошки в рот, и, повязавшись полотенцем, встанет к раковине — мыть посуду, потому что женщина чистоплотная, вплоть до того, что со своей зубной щеткой приезжает. Потом они лягут спать. А кран все будет капать, капать, долбить душу до рассвета. Ах, Любашка, Любашка, хорошая ты женщина. Хорошая, да не родная...

Можно, конечно, вызвонить Ирку, с которой у него вялотекущий роман с креном в интеллектуальное товарищество. Она из их дворницкой компании. Умная, горластая, всегда революционно настроенная, Ирка-анархистка, закинув ногу на ногу, с ходу втянет его в спор — ее хлебом не корми, дай с кем-нибудь подискутировать. Обкурится, обопьется кофе до синевы под глазами, наматывает свои роскошные волосы на руку от возбуждения, и ему придется просить, чтобы она оставила прическу в покое и говорила потише, потому как поздно. И, исполняя свою перед ней интеллектуальную повинность, он вымотается на духовном поприще до такой степени, что ни на какие лирические движения, пожалуй что, ни сил не будет, ни желанья, а будет головная боль и разбитость...

Где она, родная ему женщина, где? Существует ли?

Окно — стенка, окно — стенка.

Интересно, где сейчас Катька? А ведь в доме должна быть Каткина фотография — та самая. Остальные как-то тихо исчезли с появлением Натальи, а ту, сокровенную, он припрятал — вот только куда?

Перерыты ящики столов, просмотрены архивы, перелистаны книги. И нашелся-таки выцветший снимок между страницами институтского конспекта по электротехнике. Фотографию он сделал в разгар их с Катькой затянувшегося медового месяца, он тогда только что купил фотоаппарат «ФЭД». Катька лежала в постели — роскошная, небрежно прикрытая простыней, едва проснувшаяся, с разметавшимися волосами... Ямочка на подбородке, размягченное лицо и манящая улыбка. Смесь невинности и порока. В то утро она, помнится, проснулась почти ручной и впервые показалась ему трогательно незащищенной, когда сидела на краешке постели, уронив на колени руки и опустив голову. Святость Магдалины проступила в ней, и в тот момент в Юре брешь образовалась, пробойна — еще секунда, и он бы встал перед Катькой на колени и заплакал, уткнувшись лицом в ее босые ноги, и

просил бы прощения бог весть за что — от внезапного испуга и потрясения сказал ей тогда резкость. А она тряхнула головой и метнула в него тапок — и попала — и он, оскорбленный, ушел, хлопнув дверью, ушел латать свою брешь.

А Катька, накинув халат на голое тело, моталась по городу на такси, разыскивая его, и разыскала в одном малознакомом доме, и схватила за руку, и повела домой. Раскованная, чувственная, безудержная, откровенная в своих желаниях, в своей наивной бабской расчетливости. «Все, что мне нравится — или аморально, или нелегально, или вредно для здоровья!» Вскочит махом на гранитный парапет набережной, раскинет широко руки, продекламирует: «О, я хочу безумно жить!» С ударением на «безумно». От нее шарахались люди, а она хохотала, запрокинув голову, пританцовывала, легко балансируя, и он, успев шелкнуть фотоаппаратом, стаскивал ее вниз и тащил на руках.

В те месяцы учеба была заброшена, он спал на лекциях, спал в транспорте, спал на ходу и решил наконец — хватит баловства, двадцать три года, пора жить всерьез, а ей устраивать свою судьбу. Предложил шутя: «А не выйти ли тебе за Костика Морозова, он по тебе чахнет, хорошая партия, в каретах будешь ездить, а, Катька?» Катька облизнула губы, сказала рассудительно: «А что? Можно подумать».

Верный Пашка, узнав, покачал головой: «Балда! Такие женщины — тиражом одна штука!» Он посмотрел на друга подозрительно: может, сам увяз, не устоял против пылкой Катьки? «Тиражом одна штука!» — смех. Институт с грехом пополам кончает, экзамен по истории партии четыре раза пересдавала, опозорила весь курс, безграмотна вопиюще, газет в руки не брала, обком и жилконтора были для нее организациями одного порядка...

О, перевоплощение было сногшибательным: Катька с прямой, смело открытой по тем временам спиной, осанистая, величественная, небрежно-любезная, под руку со своим международником тщедушным, Кости́ком Морозовым — ну, леди, черт возьми, голубая кровь, белая кость! Откуда что взялось. Примеривалась к роли дипломатической супруги. Живописала в мыслях будущие прогулки по Елисейским полям, в то время как супруг, рвотный порошок, тискал ее сырыми холодными пальцами и прижимал тонкие бескровные полоски рта к ее жарким губам, к ложбинке между грудей... Жуткое дело, тоска смертная! Все, дура, вытерпела.

А загнали благоверного в африканские пустыни, десятой спицей в колесе определили — та еще экзотика. Народец дикий, никуда не выйти, все просвечивается. Торчит там теперь, томится, чахнет, стареет, клянет жару, насекомых, гадов ползучих, судьбу, лупит детей от безысходной злости и оживляется лишь в присутствии мужчин, стряхивая с себя липучий неотвязный взгляд спутника жизни, не столько ревнивый, сколько стерегущий чистоту ее репутации. Вечером: «Катерина, ты вела себя сегодня непри-

лично». А она: «Да пошел ты, знаешь куда!» Или не та уже Катька. Голову опустит, смолчит...

Катька, дура, растрепана, психопатка, где ты?

Окно — стенка, окно — стенка... Тахта, обои в полоску. Вот уж и луна выкатила бледное брюшко... Господи, дай силы, если ты есть... У-у-у...

Игорь стал редко бывать дома. Искал денежную халтуру, откопал каких-то прошельг, бывших однокурсников, недоучек, завсегдаев рестораника при Союзе художников, таскающих туда «на рюмочку кофе» молоденьких девочек, деревенеющих от соседства с живыми гениями. Там, в присутствии девочек, с Игорем было заключено соглашение, и теперь он ваял из гипса маски языческих чудовищ и настенных амурчиков, точащих свои лукавые стрелы, — дешевка, дрянь, пошлятина, но народ брал в переходе метро по червонцу за штуку, семья с сиротских вегетарианских супов перешла на мясные бульоны.

Ольга скучала, бродила по квартире в халате и вязаных чулках, достала свои старые работы, вытерла пыль с холстов, полистала папку с эскизами, осталась недовольна, схватилась было за этюдник, но творческого импульса не обнаружила и, покусав кончик карандаша, свалила тюбики с засохшими красками обратно в коробку. Глядя сквозь решетку окна на замороженный, посиневший в зимних сумерках Бармалеев, думала рассеянно: хоть бы Розовый появился, что ли?

Эх, Розовый, Женечка, помаячит, помаячит в дворницкой да и опять исчезает надолго. Вот уже и румянец стек с его щек, а он все скитается по матушке-Руси, гоняясь за хрустальными идеалами. Да полноте, не химера ли это?

Куда занесло его теперь? На каких стройках, какую землю долбит? В каких балках ночует, дыша кислыми запахами и прислушиваясь в темноте к греховному поскрипыванию соседской койки? Или сидит на одиноком острове-маяке в Северном Ледовитом, колупает перочинным ножом консервы из жестяной банки и слушает завывание ветров, студящих душу космическим холодом? А то гонит стадо монгольской курдючной овцы через Алтай в компании с дикими уголовниками-гомосексуалистами, прихлебывает чефирь у костра, сплевывает сквозь зубы, зло матерится да спит по ночам вполглаза... Ждали Розового, Женечку, знали, что появится он рано или поздно, если жив будет.

А вот Стас — тот уже не появится. Стас, меломан, книгоеч, красавец-мужчина, который, случалось, жил в дворницкой неделями на правах друга семьи и пел с Ольгой дуэтом под гитару «Не уезжай ты, мой голубчик...», освещенный Ольгиным затаенным огнем. Ах, как дивно они пели! Но уехал «голубчик», семь лет на это потратил, со службы был изгнан, истопником дорабатывал. Теперь письмо «оттуда» прислал через старушку семидесяти пяти лет, которой терять уже нечего. Писал сдержанно: устроился

нормально, живет в двухкомнатной квартире, работает пока не по специальности, но есть перспектива — здесь наши программисты вполне котируются, с женой развелся, как и было задумано, но они поддерживают товарищеские отношения. Ходит на концерты в Карнеги-холл и в Метрополитен-опера, но не часто, поскольку дорого. Собирается подкопить денег и поехать летом в Италию — осуществить свою голубую мечту. По всем скучает, всех обнимает, надеется когда-нибудь свидеться...

И все, кого он мысленно обнимал через океан, сидели после читки притихшие, задумчивые, пытаясь совместить образ Стасика, задрипанного оператора газовой котельной, с тем человеком, который будущим летом собственными ногами пересечет площадь Св. Марка, собственными руками пощупает стены Колизея, собственными глазами обозреет галерею Уффици... Одно дело, когда все эти римы, флоренции, неаполи существуют где-то там, сами по себе и почти не тревожат воображения, совсем другое — когда туда едет близкий человек, и не по профсоюзной путевке, не как советский турист, которому портовые проститутки, хохоча, кричат вслед «О! Русо, импотенто!», зная, что у того в кармане сущие гроши, совершенно безопасные для его нравственности, и он сейчас помчится с парой товарищей, бодрой тройкой, по магазинчикам, покупать жене дешевые колготки, а детям ботинки на зиму.

Да-а, Стас... Он всегда считал себя гражданином вселенной, говорил: моя родина — планета земля. Но «чета берез»-то, а? Как без нее? Замучает ведь, по ночам будет сниться, так что ни Риму, ни Неаполю не возрадуешься. Что, Юра, скажешь?

— Да о чем говорить, — сказал Юра. — На российской почве вырос, на ней, родимой, стал тем, что я есть. А на другой не привьюсь, пожалуй, может, и вовсе вымру. Сентиментален я слишком для тех краев. Да и годы не те...

«Как летит время, Пашка! Мы стареем, дети взрослеют. Сашу не узнать. Курить начал, подлец. Даст бог, закончит школу в этом году. Говорю «даст бог», потому что отношения в школе осложнились до крайности. После того, как отказался вступать в комсомол, был скандал. Грозили исключением. Осудили публично. Учительница предложила классу объявить несознательному бойкот. Уберечь его от этих травм я бессилён. Он самостоятелен, умен, прилично образован по нынешним временам. К семнадцати годам осилил Канта, Гегеля, русских философов-идеалистов, Ключевского. Надо полагать, то, что он слышал в Бармалеевом, не прошло даром, хотя сейчас в дворницкой практически не бывает. Он по-прежнему замкнут, у него своя жизнь, о коей я имею весьма отдаленное представление. Это его право. Но разговоры наши «о высоком» доставляют, надеюсь, удовольствие не только мне, но и ему. Вижу его одиночество, чувствую, что страдает и живет на пределе своих возможностей. Наталья опять перешла в наступление, тре-

бует: оставь сына в покое, не заражай своим вирусом, он хрупок, ты сломаешь ему жизнь... Его судьба и меня тревожит.

Вот тебе, Паша, ножницы: с одной стороны, детей надо щадить, с другой — не допустить раздвоения сознания на официальное и неофициальное. Представляю твою реакцию: людям нужна вера, детям — тем более. Как ты любишь про веру! Стойкость и мужество надо из истины черпать, а не из веры. А когда вера — властный императив клана, так то уже не вера, а паралич сознания. Ох уж это русское пристрастие к идеальному, к красному углу в избе! Ты вот, Пашка, добр, да не мудр.

Что касается Саши — думаю, у него хватит силы духа. И зря ты говоришь, будто я леплю из него самое себя и вкладываю в него собственную программу. Нету у меня никакой программы. И идей тоже. У меня только бесчисленные вопросы к миру. Естественно, хочется, чтобы выросло родное, а не чуждое существо. В норе кролика должно родиться крольчонку, а в норе волка — волчонку...

А ты, старик, не унывай. То, что разогнали твою лабораторию — печально, но не удивительно. Скажи спасибо, что с работы не погнали. Было бы странно, ей-богу, если бы ты сейчас процветал со своими идеями. Все настоящее, талантливое томится нынче «в подполье» и заявляет о себе шепотом. Но, тем не менее, оно есть, оно существует. И истребить его невозможно — ни дустом, ни розгами, ни топором. Оно, неистребимое, и несет в себе нравственную информацию, которая бережно передается из поколения в поколение для того, чтобы человек не опустился обратно на четвереньки. Чем тебе, Павлуша, не благородная цель: передача нравственной информации? Если я хоть несколькими людям помог прозреть в меру собственного разумения, то и умереть могу спокойно. Пусть даже их немного, этих людей.

Видишь, я добровольно отрекся от дела, тебя — отстранили, итог, в сущности, один. Без дела трудно, плохо, не скрою. Отбывание трудовой повинности в присутствии — для меня мука мучительная. Но я ковыряюсь потихоньку дома, придумываю всякие хитроумные штуки для механизации своего быта. Хотя на черта мне эта механизация, если разобраться?

Если милую Алину все еще заботит устройство моей судьбы, то это напрасно. Мне одному лучше. Обнимаю. Твой Юрий».

«О-о-о, как ты возмужал!» — сказала однажды Ольга, открыв дверь и обнаружив на лестнице Розового. Он стоял на пороге, широко расставив ноги в унтах, в распахнутом полушубке, пахнущий далекими, насквозь замороженными пространствами. «Как возмужал...» — прошептала Ольга, прижала маленькую ладонь к его колючей щеке, приподняла тяжелые веки, и темный пламень вырвался наружу, лишил одичавшего Розового разума: он сжал с силой невесомое Ольгино тело, прикоснулся потрескавшимся губами к голубому пробору, и они замерли, не отпуская друг друга.

«Розовый, никак ты?» — воскликнул Игорь из глубины коридора. И осекся...

— Дети мои, не делайте глупостей, — внушал месяц спустя Юра, когда поздно ночью Ольга и Женечка сидели в его квартире и держались за руки под столом.

— Юра... Мы не можем друг без друга, — с детской искренностью объяснял Розовый.

— Не можем, — повторяла за ним Ольга, качая головой и запрокидывая назад бледное лицо.

— Допустим, — сказал Юра, скрестив руки на груди. — Но надо ли ломать прутья у одной клетки, чтобы попасть в другую? Что вам мешает быть друг с другом в отношениях свободной, не отягощающей любви?

Ольга поджала губу.

— Хорошо, как вы представляете себе совместное проживание? У тебя сын. Женя живет с родителями...

— Я сниму комнату, — твердо сказал Розовый. — Ольга переедет ко мне с ребенком. А там — видно будет.

— «А там видно будет!» — усмехнулся Юра. — Я вам сейчас расскажу, что там будет видно.

— Не надо, — оборвала его Ольга. — Ты не понимаешь, не понимаешь!

— Да где уж...

Пока Ольга и Женечка решали вопросы будущей своей общей жизни, он уходил на кухню, оставляя их наедине, занимался стряпней, но сквозь плотно закрытые двери до него доносился их горячий шепот.

— Что это тебя вдруг прошибло? — поинтересовался он потом у Розового.

— Это ты про Ольгу? Не прошибло. Это давно, — признался тот. — Много лет.

— Вот как? — не скрыл своего изумления Юра. И с интересом посмотрел на ученика. Ну ладно, Розовый.... Розовый он и есть Розовый. Он и в гроб Розовым ляжет — так уж, верно, ему на роду написано. Но Ольга-то? Любовь... Розовый, святая душа! Возьмет тебя девушка в оборот, опалит своим синим пламенем, как куренка, и будет плести замысловато — художественная натура — сюжет вашего романа, и закручивать драматическую ситуацию до предела, приближая ее, по возможности, к трагедийной, а когда ты не потянешь, потеряет к тебе всякий интерес.

Однажды ночью (Ольга с Женечкой шептались в комнате) раздался телефонный звонок, и Игорь, судя по голосу абсолютно пьяный, чего с ним на Юриной памяти не было, спросил, забыв поздороваться:

— Где моя жена?

— Не знаю, — сказал Юра, который не любил врать.

— Я зайду сейчас к тебе.

— Прости, я не один.

Игорь тяжело дышал.

— Убью ее, стерву, — сказал и повесил трубку.

Убить — не убил, но шуму много вышло, когда подстерег он Ольгу с Женечкой в подворотне в Бармалеевом, и между соперниками случилась драка. Игорь измолотил Розового нещадно, вымещая на нем скопившуюся ненависть к своей жизни, а тот лишь оборонялся, благородно оставляя за законным супругом право на защиту семейного очага. Ольга кричала и заламывала руки, одно за другим вспыхивали окна окрестных домов, перепуганные непроснувшиеся жильцы выглядывали из-за занавесок, где-то уже раздался милицейский свисток. Игорь сгреб жену в охапку и потащил домой. Розовый, ополоумев, ринулся за ним, крича «отдай!», а Игорь, держа обессилевшую Ольгу в одной руке, другой — сложил комбинацию из трех пальцев и сунул под нос Женечке.

Узнав о ночном инциденте, Юра почувствовал себя водевильным персонажем, который всегда оказывается в неловком положении и в конечном счете остается в дураках. Решил — довольно, надоело, пусть сами распутываются, а он больше в этом спектакле не участвует.

Пришел к нему Розовый, побитый и несчастный, принес водки и винегрету из кулинарии, начал долго рассказывать, что Игорь не выпускает Ольгу из дому, и хотя Игоря по-человечески жалко, но Женечка отступаться не намерен, Женечка уже и комнату снял — маленькую, но зато в центре и с телефоном, и квартира не очень большая, еще три семьи, теперь он только ждет удобного момента, чтобы увезти Ольгу, и дежурит в Бармалеевом, в подъезде дома напротив — оттуда все хорошо просматривается...

Юра оборвал его довольно резко и, закрывая тему, дал совет: не предпринимать никаких решительных шагов. Женечка еще молод, не надо увязать. Пусть поверить на слово: с Ольгой — это преходящее. «А может, как раз непреходящее, — упорствовал Розовый (он ведь был очень упрямым). — Кто знает наперед, что преходящее, что — нет?» Они выпили, заели винегретом, и Женечка, несколько повеселев, рассказал анекдот про одного подающего большие надежды трудолюбивого студента, который вдруг увлекся молоденькой барышней. Барышня была пылкой и хорошенькой, и студент обнимался с ней в сыром подъезде и, распаленный страстью, прижимал ее к холодной батарее парового отопления, и оба страшно страдали от неудобств. Потом студент вырос в большого ученого с мировым именем, стал лауреатом всяческих премий, объездил весь свет, написал много книг. И вот, лежа уже на смертном одре, глубоким старцем, он оглядел полки, заставленные его многочисленными научными трудами, и подумал: «Эх, вот эти книги да ей бы тогда под задницу...»

Юра рассмеялся. Вспомнил громыхающую, нагретую солнцем крышу из своей юности, Катюку... Сказал: «Это не анекдот. Это притча».

— То-то и оно, — Розовый встал, прошелся по комнате. — Это что у тебя за антиквариат?

На столе, рядом с настольной лампой, стояла крупная фаянсовая статуэтка: толстогубый урод с выпученными глазами и порочной улыбкой, сделанный, верно, некогда на потеху мюнхенскому бюргеру. Сорочка с распахнутым воротом едва сходится на животе, манжеты коротких штанов туго обнимают розовые полные икры.

— Да вот, нашел на антресолях. Черт его знает, откуда он взялся. Жутковатый тип. Но есть в нем что-то.

— Есть, — сказал Розовый, внимательно разглядывая статуэтку. — Издевка. Ты бы убрал его куда подальше.

— Да пусть стоит, я к нему привык.

Ближе к ночи пошли прогуляться, свернули на тихий бульвар, обвитый чугунной оградой.

— Чувствуешь, как весной тянет? — сказал Юра, ощущая некоторую оттепель в душе после выпитого.

Женечка был молчалив и, должно быть, пребывал наедине со своими страданиями.

— Давай предаваться воспоминаниям, — предложил Юра. — Лучше предаваться воспоминаниям, чем безумствам.

— Давай, — уступил Розовый.

— Помните ли вы, мой любезный друг, наши беседы в дворницкой? Вы были таким юным, хотели всеобщей справедливости и призывали нас, заблудших, к борьбе за торжество светлых идеалов, — с театральным пафосом начал Юра, вовлекая Женечку в свою игру. — Позвольте же, мой дорогой, спросить вас спустя — сколько? — восемь лет, что ваши идеалы? Как их здоровье? Освещают ли они ваш жизненный путь, зовут ли по-прежнему к совершению подвигов?

— Ну зачем ты? — с искренним недоумением спросил Женечка. Пожал плечами. — Про идеалы говорить не буду. Но когда ни в чем не участвуешь и ничего не создаешь — это тяжело. Устаешь, изнашиваешься.

— Возможно, но какие варианты? Если делать свое дело очень хорошо и по совести, то тебя или задолбают, или сгноят, или посадят. Примеров тьма: Тарковский, Ерофеев, Худенко, Сидур... Значит, если ты не хочешь, чтобы тебя задолбали или посадили, а, напротив, хочешь нормально питаться и преуспевать, то принимаешь те условия, которые тебе диктуют: да и нет не говорить, черного и белого не называть... Ну, и так далее. То есть продаешься. Но если ты не хочешь продаваться и при этом не чувствуешь в себе призвания героя и подвижника, то ты устранишься, как это ни печально. Так что выход, в сущности, один: затанься в своей норе...

— И не дать себя уничтожить, — продолжил за него Розовый.

— Совершенно верно.

— Сохраниться, чтобы передать нравственную информацию потомству.

— Смотри-ка, выучил, — усмехнулся Юра. Он заложил руки за спину и замычал себе под нос какую-то монотонную музыкальную фразу, будто забыв про шагающего рядом Женечку. — Истина, однако, не теряет от того, что о ней иногда напоминают.

— Конечно, — поспешно согласился Розовый.

Некоторое время шли молча. Потом вдруг Юра остановился и капризно, по-детски, сказал: «Я устал, знаешь. Домой хочу».

Вернувшись домой, он выпил горячего чаю, повёртел в руках фаянсового насмешника-уродца, хотел было убрать его подальше, но оставил на столе. Куранты по радио приглушенно пробили полночь. Наступил новый день. Ложась спать, он еще не знал, что этот новый день — 3 марта 1984 года — станет самым черным днем в его жизни, что ранним утром его разбудит телефонный звонок, и Наталья чужим, бесцветным голосом сообщит: «Саша пропал».

Искали его долго. И через милицию тоже. Но даже и следов обнаружить не удалось — будто в Лету человек канул. Только к осени Юра не столько понял, сколько почувствовал — нет Саши. И не будет никогда.

Лег на тахту лицом к стене. Провалился в потемки.

«Здравствуй, Паша!

Получил твою телеграмму. Сообщаю: телефон не отвечал, потому что я его отключил. Выздоровливаю. Уже выхожу на улицу. Спасибо Алине за шарф и носки. А тебе — за книги. Но баночка икры была лишней.

Скоро выпишусь и пойду на службу. Желания нет, однако надо сменить обстановку. А то рисунок на обоях изучен мной вдоль и поперек. Особенно поперек.

Вот все мои новости. Будь здоров. Юрий».

Глубокой осенью, когда зарядили дожди, Юру поднял с тахты настырный телефонный звонок. Розовый робко просил о встрече.

— Нет-нет, я не могу.

— Юра, я уезжаю. Надолго. Хочу попрощаться.

В трубке потрескивало.

— Я внизу, у твоего подъезда.

— Хорошо, поднимайся.

Он открыл дверь... Женечка снял шапку. Был он острижен наголо. Оба смутились.

— Что это с тобой сделали? — спросил Юра, оглядывая безволосый Женечкин череп.

— Это я сам, — потупился Розовый.

Прошли на кухню. Женечка присел на край стула, сцепил руки между колен.

— Ну, как ты? — спросил.

— Нормально.

Юра прихлебывал горячий чай из кружки, кутался в шерстяной старушечий платок.

— Холодно. Октябрь месяц. Не топят. Налить чаю?

— У меня, вообще-то, коньяк с собой есть, — намекнул Розовый и полез в сумку.

— Нет-нет, убери, — остановил Юра.

Женечка осунулся, в нем не осталось ничего от поэтического мальчика с пылающими щеками. Между бровей залегла складка.

— Вот, уезжаю.

— Далеко?

— В Сибирь.

— Лес рубить?

— Нет, — уклонился Женечка. — Я напишу тебе, если позво-
лишь.

— Да, конечно.

В глазах у Женечки стояла собачья тоска. Юра вспомнил: у Розового был когда-то роман с Ольгой. Она вроде от Игоря уходит собиралась... Что-то там такое... Дрались...

— Один уезжаешь?

Розовый опустил голову.

— Один.

— Что Ольга? Не ушла от Игоря?

— Ушла. Переехала ко мне. А потом... Обрато сбегала.

— Долго прожили?

— Восемь дней. — Розовый поскреб ногтем клеенку.

— Давно это?

— Вернулась? Две недели назад.

— Понятно, — Юра оглядел короткую щетину волос на Женечкиной голове. Не сдержался, улыбнулся. Женечка смущенно огладил череп. Юра курил, тянул протяжно «м-м-м-м», покачивался корпусом в такт.

— Я, наверное, навсегда уезжаю, — нарушил молчание Женечка.

— Куда? — спросил Юра, глядя в заоконную даль.

— В Сибирь, — напомнил Розовый.

— А-а, в Сибирь, ну да.

Женечка опустил глаза. Капала вода из крана.

— Мне пора, наверное.

У дверей он замаялся. Юра, придерживая потраченный молью платок под подбородком, выпростал руку для прощания.

— Юра! — тихо выдохнул Женечка. И обнял Учителя.

— Ну-ну, что ты, ей-богу, — сказал Юра, прижатый к груди ученика, и похлопал его по спине.

«Здравствуй, дорогой!

Поздравляю тебя, дедуля, с первым внуком. Надеюсь, твои девки не оплошают и нарожают их целую кучу. Поздравь от меня Анюту, молодую мамашу.

Спасибо за твой звонок 27 февраля — я догадался, что он не случаен и ты помнишь его день рождения. Ему бы исполнилось 18 лет.

Я живу по-прежнему: тихо, уединенно. Изредка бываю в дворницкой — уж больно настойчиво зовут. В июле у меня отпуск. Архивариус Никола предлагает устроить в археологическую экспедицию, землекопом. Раскопки в Полтавской области. Наверное, поеду.

Недавно листал наш студенческий альбом. Ты там такой смешной, пижонистый, с усиками. Вспомнил наш грандиозный кутеж в общежитии после сессии на четвертом курсе. Ты тогда еще на спор прошелся по карнизу шестого этажа. А Катька танцевала в твою честь на столе, и у нее была красная роза в волосах.

А ведь скоро полтинник! Обнимаю тебя, дедушка.

Твой Юрий».

Катька явилась к нему спустя двадцать пять лет в образе своей дочери при обстоятельствах случайных, если допустить, что в жизни вообще имеют место случайности. Он увидел ее на перроне вокзала, среди бородатых мальчиков-археологов и, увидев, как-то ослабел разом. Подошел, скинул рюкзак, стали знакомиться. «Нина Михайловна, начальник экспедиции, Николай Воронов, Володя Стрельников, Сергей... Лера Морозова, тоже студентка истфака». Фамилия «Морозова» прозвучала официальным подтверждением еще не оформившейся догадки. Лера протянула мягкую ладонь. Он заглянул в ее мерцающие зрачки, разглядел знакомую ямочку на подбородке, очертания припухшего рта, круглый высокий лоб. Перед ним стояла женщина его юности, и он сжимал ее теплую руку. Лера, продолжая улыбаться, пошевелила пальцами в его отвердевшей ладони, осторожно высвободилась.

Ночь они провели в тамбуре. Вышли покурить вдвоем, да так и проговорили до рассвета. Выходили на станциях, пили теплое пиво в привокзальных буфетах, курили, сидя на корточках в тамбуре и касаясь друг друга коленями. Под стук колес время с бешеной скоростью несло вспять: ему было двадцать три, он был полон жизненной энергии и взбегал по крутым лестницам через две ступеньки. Он был в ударе. И, слыша забытую волнующую мелодию юности, чутко повел свою партию, возможно, главную, срывая аплодисменты Лериного смеха, ее улыбок, изумленных

взглядов и внезапного молчания. Под утро он проводил ее до купе, поцеловал в ладонь. Пальцы ее слегка вздрогнули, откликаясь издали на его призыв. Искра была высечена. Ни в ту ночь, ни позже он не думал о ней как о Катькиной дочери. Это была совсем другая женщина. Другая женщина, подарок судьбы.

Группу привезли на перекладных в деревню, светлую от белых хат, удачно затерявшуюся среди пшеничных и кукурузных полей на берегу капризно изогнутой речки. Красивое было место. Разместили в центре села, в школе. Лере с начальницей достался музыкальный класс, остальным — ленинская комната. Копать начали километрах в полутора от деревни. Вгрызаясь острой лопатой в ссохшуюся окаменелую землю, Юра думал о том, что времени у него мало, очень мало, всего месяц. Нельзя мешкать, но и спешить нельзя.

Лера была с ним приветлива, но и только, и он понял, что придется трудно. Право улаживать ее комплиментами, занимать ее скользкой светской болтовней, рассказами «случаев из жизни» он оставил бородатым мальчикам, которые перехватывали друг у друга ее взгляд, как мелкие голодные хищники. Юра ее взгляда не ловил, а уж если встречал его, то держал на весу долго, как держат на вытянутых руках некую приятную тяжесть, пока Лерины ресницы не опускались. Она тонко поощряла ухаживания мальчиков, возню вокруг себя, для тонуса ей необходим был живой клубящийся фон, источавший токи любви, — пусть колготятся, «один-два крупных, три-четыре мелких». Юра, надо полагать, шел за «крупного», возможно, даже очень крупного, хотя и потертого, с возрастной тонзуркой на затылке, но подтянутого, с легкой пошлостью, в спортивном оформлении. Остальные — он пригляделся — были мелочью, молодежькой резвой корюшкой, и их игры в прозрачных водоемах не содержали для нее секрета. Она переросла их, еще будучи голенастой девочкой-подростком. Несмотря на юный возраст, в Лере обнаружилось спокойное достоинство зрелой женщины, которая знает себе цену и знает, что цена эта немалая, но твердая, а посему не было и суетливости, боязни продешевить и остаться потом в растрате, никаких дамских ухищрений, но безыскусность, которая суть великое искусство.

Окружив Леру плотным оборонительным кольцом во время перекуров, мальчики жонглировали эрудицией — выходило скучно, претенциозно, мертво. Жонглируя эрудицией, мальчики являли собой некое заурядное общее место, по неопытности о том не догадываясь. Им хотелось спать с ней, но даже для этой соблазнительной цели не хватало им воли и внутреннего запала. Воля была в нем, в Юре. Поколение малокровных, определил он: ни женщина, ни идея не способны привести их в состояние азарта.

Лера ласково мальчикам улыбалась и смотрела глубоко в их бесполовые зрачки, будто прочитывала мальчиков, и это, прочитанное, оценивала по каким-то ей одной известным параметрам, отчего не только мальчики, но и зрелые мужчины ошущали себя —

как бы сказать? — слегка болванами рядом с ней и приходили в смятение.

Пока мальчики, живописно расположив свои бороды под яблоньками пришкольного садика, нудно изошрялись друг перед другом в красноречии, он меланхолично жевал соломинку и смотрел сквозь ветви деревьев в небо, а нажевавшись, плавно въезжал в беседу, да так искусно и ловко, что через минуту вся компания тряслась от хохота — если, допустим, было у него настроение позубоскалить и соответствующий кураж. Понятно, что и она, тайная пружина, плыла в тот момент под его тугим парусом на общих основаниях: плечи ее вздрагивали от смеха, она вытирала пальчиком потекшую с ресниц краску. А он азартно набирал обороты — и уже дрожали стекла в окнах сельской школы от громовых раскатов хохота, уже тряслись сиротки-яблоньки, теряя до срока плоды, деревенские собаки зашлись компанейским лаем, из хат повыскакивали перепуганные бабы, а он надал еще и еще — и тогда она, пружина, вскочила, замотала головой, прося пощады, и, захлебываясь в смехе, как в плаче, побежала смывать остатки туши с ресничек. Юра откинулся на траву, сунул в рот недожеванную соломинку, устремил взгляд в небо. Стало тихо.

Обессивевшие мальчики еще постанывали, потирали натруженные смехом животы, кто-то выкрикнул: «На речку!», и все подхватили: на речку, на речку. Позвали Леру, она вышла умытая, с полотенцем через плечо, улыбнулась Юре: «Пойдем с нами!» Он было дернулся навстречу обещающей улыбке, но тотчас изменил смысл жеста: благодарствуйте, дескать, но мне и здесь неплохо. И остался поживать на лаврах.

«Силен, словоч, умный мужик, сколько, кстати, ему, полтинник? Не знаешь, Лера?» — говорили на пляже мальчики, небрежно играя мускулами, и с разбегу бросались в воду.

Между тем, месяц, отпущенный ему судьбой, шел к концу. А ожидаемый перелом не наступал. Рыбка, поигрывая золотистой чешуей, ускользала.

Плавился июль, жарко догорая. Ночи стояли душные, пахнущие перезрелыми травами. В одну из таких ночей, когда он вышел покурить в темный пришкольный садик, папироса вдруг мелко задрожала в его пальцах и самообладание покинуло его, как душа покидает тело. Он опустился на скамейку под окном ее комнаты, прижался затылком к белой стене. Неужели? Неужели так и проплывет мимо, растает миражом? Окно было распахнуто настежь, он уловил шорох в ее комнате, представил ее спящей, во всей ее ослепительной недосыгаемости, вдруг зло подумал: «Стерва», резко встал, наткнулся в темноте на ведро, опрокинувшееся с железным грохотом, и зашагал вниз, к реке. Скрипнули створки окна за его спиной.

Стояла луна. Река светилась узким гибким телом. На другом берегу пасся в лунном свете табун лошадей. Земля дышала теплом. ...Неужели?

Он докуривал вторую папиросу, когда его тихо окликнули. Сердце больно ударило по ребрам. Лера медленно шла ему навстречу. Бесстрашны были ее зрачки. Он подхватил ее на руки, прижал к груди и опустил ее вместе с ней на траву.

На другой день, лежа в пыльных отвалах раскопа (работы уже не было), он смотрел сквозь ресницы, как мальчики суетливо подсаживали Леру на лошадку колхозного пастуха: Лера пожелала прокатиться верхом. Пастух стоял рядом, посмеивался в усы. (Местные появлялись часто с тех пор, как прошел слух, что «бородатые» нарыли клад, и, приезжая, с разочарованием разглядывали кучку черепков и желтоватое гладкое днище раскопа с редкими темными пятнами, намекавшими специалисту на следы жизнедеятельности древних). Лера неловко вскарабкалась на лошадь, села в седло по-мужски. Нога не дотягивалась до стремени. Бедро ее показалось ему широковатыми. Юра зевнул, прикрыл глаза, заснул.

Вечером он не нашел ее ни в музыкальном классе, ни в школьном садике и, упаковывая маркированные черепки в деревянные ящики, стал напряженно ждать ночи. И как только стемнело, бодрый, напружиненный, зашагал к реке, набирая темп, — напролом, продираясь, как лось, сквозь ивовые ветки, подминая под себя мелкий кустарник, — к тому заветному месту, где должен был ее ждать.

Сидя на берегу и замирая от каждого шороха, он выкурил полпачки «Беломора» и, когда в небе начали таять звезды, когда легкий розовый туман поднялся над сомлевшей рекой, лег лицом в траву, еще не выпрямившуюся после прошлой ночи и, казалось, хранящую запах ее тела, и тихо, по-собачьи заснул.

Всю обратную дорогу, трясаясь в автобусе, который вез группу на станцию, он держал Леру за руку, не отпуская. Она ласково улыбалась, смотрела в окно.

Вернувшись в город, Юра зашел в дворницкую. Ольга была одна. На ней было то же платье послушницы, в каком он увидел ее полгода назад, когда впервые оказался в этом доме после долгого перерыва. Помнится, она сидела у окна — волосы гладко зачесаны, убраны в пучок, пальцы в руках — и маленький кудрявый Тима играл у ее ног. Такой метаморфозой было отмечено возвращение Ольги в семью. Ольга искупала грехи, жаждала епитимьи, — чтоб власяница сдирала кожу с нежного тела, чтоб босиком по колючему снегу, падая и раздирая в кровь лицо, и чтоб супруг, Игорь, гнал бы ее прочь и делал бы ей больно, а она стояла бы на коленях, покаянно опустив голову, мыла бы ему ноги, и счастливые слезы очищали бы ей душу.

...Юра поцеловал Ольгу в щеку, вежливо поинтересовался, где Игорь.

— Не знаю, — сказала она, — шляется где-то.

Жертвенный огонь в ее темных глаза успел поутихнуть, и скромное платье, надо полагать, носила она без былой охоты. Юра осторожно пошутил на эту тему, Ольга не отреагировала.

— Ты хорошо выглядишь, — сказала она, разглядывая его, — загорел, посвежел. И вообще... Давно тебя таким не видела. Уж не влюбился ли? Он засмеялся: а почему бы и нет? В Ольге вспыхнуло любопытство: кто такая? не замужем? красивая? сколько лет? сколько?! ого! седина в голову, а бес в ребро, молодец, однако, ну так пусть уже приведет свою пассию. Скоро открытие сезона, все соберутся традиционно в середине сентября, устроят пирушку, как бывало, правда, сейчас не больно разгуляешься, такие времена настали, черта с два чего-нибудь купишь, очереди в винный километровые, уму непостижимо. И все стоят часами, сбившись в кучу, как стадо баранов, уже анекдоты на эту тему ходят. А Никола был в Астрахани, так там люди пишут номера на руке чернильным карандашом, а потом продают номер за два рубля, если в первых пяти десятках, а дальше за рубль. И, говорят, теперь уже вырезают из фильмов те места, где есть застолье, как раньше стригли про секс, и Вивуль совершенно упал духом, потому что в его гениальном сценарии, главным образом, тем и занимаются, что пьют, причем очень плохое, дешевое вино, а ему редактор на студии сказала: только чай, молодой человек, если вы вообще на что-то рассчитываете. Вивуль с горя прямо со студии пошел в пивной бар, выпил три кружки пива, а когда вышел на улицу, его под ручки и — в машину, там постоянно милицейская машина теперь дежурит, ну такая... с фургоном большим, и эти три кружки обошлись ему в стольник.

— Ой! — всплеснула руками Ольга. — Я же забыла тебе сказать: нас на капитальный ремонт ставят в следующем году.

— Вот это новости... А вас с Игорем?

— Обещают квартиру. Ну, это под вопросом, конечно.

— М-да... значит, дворницкой... — Юра нарисовал крест в воздухе.

Ольга вздохнула.

— Печально, но, с другой стороны, сам посуди, нельзя же здесь всю жизнь? Я так измучилась, если б ты знал, если б ты знал, сколько я вытерпела за этот год...

Юра, догадавшись, в каком русле сейчас пойдет разговор, начал уводить Ольгу от больной темы, она почувствовала противодействие, погасла, замкнулась, но, провожая Юру, все же не выдержала, спросила:

— Ты что-нибудь о нем знаешь? Он тебе пишет?

— У него все нормально. Учительствует в Якутии, — коротко информировал Юра, глядя во вспыхнувшие Ольгины глаза.

— Да, да, он же педагог по образованию. А он...

— Обратного не собирается, — обрубил Юра. — Игорю от меня привет, пусть позвонит.

— Я с ним не разговариваю, — сообщила Ольга холодно.

— Ну, это дела семейные: сегодня не разговариваете, завтра разговариваете.

Однако поздно вечером Ольга позвонила и, тихо дыша в телефонную трубку, осведомилась, нет ли у Юры Игоря. «Нет у меня Игоря», — почти огрызнулся он, а как только повесил трубку, тотчас раздался другой звонок, и это был уже Игорь, веселенький и слегка развязный, napросился в гости, прямо сейчас, если Юра, разумеется, не занят.

— Тебя жена разыскивала.

— Ничего. Так я зайду?

— Заходи, — неохотно согласился Юра.

— Только, старик, я не один.

— То есть?

— Я с дамой.

Юра уперся взглядом в фаянсового толстяка, оскалившегося в улыбочке.

— Что затих?

— Нет, ничего.

— Тогда жди.

Показалось Юре, или Игорь действительно хохотнул в трубку?

«Ну что, Паша, вспомнил юность начала 60-х, забилось учащенно сердечко? Поднял сивую голову, старый лев, неистребимый оптимист, снова ринулся грудью на амбразуру? Ты как та кошка, которую как ни кидай, все на четыре лапы приземляется. И твой оптимизм вознагражден, мой друг, видишь, и лабораторию тебе вернули, и штат расширили, и денюжат подкинули, и ты, натерпевшийся, уже прослезился счастливо и готов стараться «пуще прежнего».

Ходят упорные слухи, что мою контору упразднят как нерентабельную, прямо-таки сотрут с лица земли, отчего служащий пребывает в большом волнении. А поскольку никакой точной информации нет, все добывают ее по крупицам, а потом обмениваются в «гадюшнике» (курилке). Так что никто не работает. Однако начальника нового все же привели, и мы будем его выбирать, как это теперь принято. В остальном все по-прежнему: сижу, пишу инструкции к изданиям, которым никогда не суждено увидеть свет. Много читаю периодики. То, о чем сейчас начали писать в каждой газете как об откровении, я говорил еще десять лет назад. Сколько сил в свое время было потрачено на добывание этой информации — по зернышку, продираясь сквозь «рогатки и препоны», вопреки всем и вся («вопреки» — это вообще ключевое слово в России, где «от мысли до мысли 5000 верст»). А ведь можно было бы потратить умственную энергию на другое и как уйти вперед! Вот что обидно. Я, признаться, глядя на наше историческое прошлое, не могу разделить твоего оптимизма, время нас рассудит, Пашенька.

Поцелуй за меня славную свою жену. Будь здоров и пусть тебе на все хватит сил. Твой Юрий».

Встречаясь с Лерой, он приучил себя не спрашивать: когда мы снова увидимся, но иногда все же вопрос срывался с языка, и Лера говорила: там видно будет, что загадывать. И оставляла его в неопределенности, привязанным к телефону. Звонила: «Сегодня я свободна после семи. Буду очень голодной, имей в виду». Однажды он сказал: «А я занят!», о чем горько пожалел, как только опустил трубку на рычаг.

О себе и своей семье она ничего не рассказывала — да он и не спрашивал по известным причинам, — но дала понять, что родители — в основном там, а здесь — наездами. У нее была своя квартира в доме, облицованном розовым туфом, с консьержкой и охраняемой автостоянкой. Он не бывал у Леры, но как-то, когда провожал ее и они остановились у подъезда, она сказала, поколебавшись: «Зайдем ненадолго, я угощу тебя хорошим кофе». Он уловил ее колебания, но любопытство превозмогло, и они поднялись в зеркальном лифте на десятый этаж.

Войдя в квартиру и окинув беглым взглядом интерьер, не удержался, сказал «ого!» и тотчас устыдился этого самопроизвольного плебейского «ого», но и потом, топча подошвами ботинок рыжий мох ковра и разгуливая вольно по нарядной комнате, продолжал испытывать незнакомую дотоле неловкость за свои потерянные джинсы, за вязаный свитер, купленный лет пятнадцать назад по дешевке у одной старухи-кабардинки, и вообще за себя, восьмидесятирублевого итээровца-полставочника, со всей очевидностью в обстановку не вписывающегося. И от раздражения улегся на велюровый диван, закинув ноги на поручень, подсунул под голову пару атласных подушек, закурил.

Лера вкатила в комнату столик на колесиках и, увидев его в позе римского патриция на пиру, неодобрительно заметила:

— Может, ботинки снимешь?

— А вот не сниму, — хохотнул он и выпустил струю сизого дыма в розовое ушко бра над головой.

Промолчала. Когда он нагелл, она тушевалась. Подразумевалось, вероятно, что наглость всегда имеет внутреннее обеспечение и является синонимом силы.

Лера открыла ключиком резную дверцу бара — он уловил краешком глаза разноцветье импортных бутылок в светящейся глубине — достала початую коробку конфет, щелкнула замочком. «Могла бы предложить выпить», — подумал он неприязненно.

— Лежа будешь кофе пить?

— Лежа. Подвинь ко мне столик.

Она разлила кофе по чашкам, подала ему фарфоровый наперсток.

— Ты такого сроду не пил.

— Возможно.

— Папенька привез.

— Он, что, сейчас здесь?

— Да, приехал. Обещался сегодня с визитом. Сахар?..

— А мама? — спросил Юра вдруг.

— Мама? Мамы нет. Она умерла. Разве я тебе не говорила?

Он сел.

— Давно?

— Шесть лет назад. Ей еще сорока не было, — Лера поставила чашку на столик. — Налить еще?

— Отчего? — спросил он.

— От болезни, — уклончиво ответила Лера. — Говорят, мы с ней были очень похожи. Буквально одно лицо.

Она встала, прошла к письменному столу, порылась в ящике. Протянула ему старую фотографию с узорно обрезанными краями.

— Вот посмотри, ей здесь двадцать один — столько же, сколько мне сейчас.

Он увидел снимок, сделанный им двадцать пять лет назад. Катька сидела на гранитном парапете набережной, свесив длинные ноги и чуть откинувшись назад. Он прикрыл глаза. «О, я хочу безумно жить!» — прострелило насквозь звенящим смехом, мелькнуло взмахом загорелых рук и потонуло навсегда во мраке.

— Ты чего? — спросила Лера, забирая фотографию.

— Ничего, так.

— Стряхни пепел, пожалуйста. Да в пепельницу же, не на ковер.

Он смотрел на свежую, пышущую здоровьем любовницу. Она повела плечом. «Не сейчас, — сказала, неправильно истолковав его взгляд. — Скоро отец придет. С деловым разговором...»

У Юры возникло ощущение, что его растянули во времени и, закрутив в кольцо, вернули на старое место, в ту точку, где настоящее жутковато сливалось с прошлым, звучало знакомыми головами, произносило уже сказанные некогда слова и производило те же жесты и те же давно пережитые действия. Он существовал одновременно и здесь и там, но его «было» по-прежнему восходило к будущему, весело блестя глазами, а его «есть» устало стремились в небытие.

— Руку дай, — попросил Юра и, ощутив прикосновение ее пальцев, сжал их в ладони.

Лера потрепала его по волосам свободной рукой.

— Тебе пора. Отец не будет в восторге, если тебя здесь встретит.

— Это точно, — усмехнулся Юра, вспомнив малокровного Костика.

Больше он у Леры не бывал, не звала, да и позвала бы — не пошел. Встречались они по-прежнему у него дома, и Юра не мог не признаться себе, что частота этих свиданий падает, как пульс у умирающего. И решил повести Леру в дворницкую, и повел, и блистал как никогда, так что Ирка понимающе переглянулась с

Ольгой, шепнув ей на ухо: «Видала, штучка! А наш-то?» Лера же вела себя свободно, говорила, как обычно, мало, но, как обычно, впопад, и смотрела на Юру, и слушала его речи с видимым удовольствием. Архивариус Никола попытался втянуть ее как будущего историка в разговор о реформах России и о русской освободительной мысли, но Лера отшутилась, ласково глядя в его глаза за толстыми стеклами очков, так что архивариус отчего-то сконфузился и молчал остаток вечера. «Ну, как она тебе? Умная девка, правда?» — поинтересовался Юра у Ольги, когда та заваривала чай на кухне. «Угу», — согласилась та, стараясь сделать Учителю приятное.

Он увел Леру довольно рано. Настроение у него было хорошее.

— Пойдем ко мне, — сказал он, когда они вышли на улицу.

— Ладно, только ненадолго.

Он обнял ее за плечи:

— Останься сегодня у меня.

— Нет, дорогой, — мотнула головой Лера, — я ночью всегда дома, ты же знаешь.

«Останься», — повторил он с тяжелой настойчивостью, стоя в дверях ванной и глядя на ее не знающее стыда тело, светящееся в струях воды. Она, смеясь, окатила его из душа с головы до ног. Он захлебнулся, отплевываясь, шагнул к ней, стиснул ее запястья.

— Останься!

Темнота, наступавшая после ее ухода, была страшнее унижения.

— Ты что, с ума сошел, пусти, мне больно, — Лера с силой толкнула его в грудь коленом. Он потерял равновесие, поскользнулся на мокром полу, упал, стукнувшись локтем о край ванны. Вода стекала по его лицу, рубашка облепила тело. Он сидел на полу.

— Ну и видок у тебя, — засмеялась Лера. Накинула на плечи простыню, ступила на губчатый коврик. — Дай мне выйти.

Он обнял ее колени, прижался к ним лицом. Выскользнула, перешагнула через него, зашлепала босыми ногами по коридору. Крикнула из кухни:

— Уже пятнадцать минут первого, вызови такси.

— Лера...

— Ну довольно, я устала, я хочу домой, не зли меня, — говорила с ленцой, глядясь в зеркальце и приводя в порядок лицо.

Уже взявшись за трубку, Юра вспомнил, что в кошельке единственная треха, на которую предстояло жить до получки, и как-то отрезвел разом.

— Послушай-ка, такси не меньше часа ждать. Быстрее на метро. Раз уж ты так торопишься домой...

— У тебя нет денег? — усмехнулась она, растушевывая кисточкой голубое веко.

— Не в этом дело...

— А если у мужчины нет средств, значит, он не может позво-

лить себе роскошь иметь женщину, — продолжала Лера тем назидательно-вежливым тоном, каким девочка с голубыми волосами обучала хорошим манерам сына папы Карло. — Скажи спасибо, что не требую от тебя маленьких бархатных коробочек.

Она улыбнулась, но глаза ее были холодны.

— Неразумное ты создание, существует еще роскошь человеческого общения.

Лера засмеялась.

— Вот только не надо этих расхожих банальностей. Соловья баснями не кормят. Нищета, Юрочка, уничтожает любого человека, а тем более женщину. А я хочу оставаться женщиной. Это мое призвание. И я этого не скрываю.

Она захлопнула пудреницу, выпрямилась, посмотрела ему в глаза. Маленькая хозяйка жизни. Всадница с твердой рукой и железным характером. Стащить бы ее с резвого скакуна, швырнуть лицом в пыль, ударить. А потом запереть в клетку, отрезать от нарядного мира, от уважаемых поклонников, пахнущих дорогими одеколонами, от разъездов по ночному городу в чужих машинах, от вечеринок с музыкой, коньяком, интимом, от звонков, приглашений, обещаний, встреч. У него уже вертелось на языке: слушай, а зачем я вообще тебе нужен, но он, слава богу, не спросил, потому что знал, зачем — экзотический момент ее молодой биографии, любовная связь с философствующим голодранцем, похожим на беглого каторжника.

Они вышли на улицу. Пустынна была улица и бела от снега.

— Кстати, про роскошь человеческого общения, — сказала Лера, беря его под руку. — Это ты дворницкую вашу имеешь в виду?

— Хотя бы.

— Вы, конечно, все умные, образованные, не спорю. Но только... Кому теперь эти умствования интересны? Извини, но от них нафталином отдает.

— Дура! — не сдержался Юрий, выдергивая свою руку.

Она ласково, снисходительно улыбнулась в ответ. На углу он поймал такси, сунул водителю трудовую трешку, назвал Лерин адрес. Она села на переднее сиденье, цомахала рукой на прощанье, машина тронулась.

— За вторым перекрестком поверните налево, — сказала Лера таксисту. — Поедем на проспект Пржевальского, семь.

Шофер понимающе хмыкнул, посмотрел в зеркальце на одинокую, удаляющуюся фигуру пожилого мужчины.

Юра звонил ей всю ночь. И, не дозвонившись, принял решение: он вырвет из себя эту женщину с корнями. Чего бы это ни стоило.

Розовый прислал длинное послание. Писал про свою маленькую школу, где он и директор, и учитель, и завхоз. Писал, что женился на якутке, добрейшей женщине, и стал отцом сразу двоих детей: десятилетнего Вани и шестилетней Нади. Живет скромно, доволь-

ствуется малым, дни его проходят в трудах, среди детей. Он пытается учить их по своей программе, прививая им вкус к созидательной творческой деятельности, чувство собственного достоинства, широту мышления и терпимость. И вот в этом и есть его, Женечкин, путь. Пройдя через плен идеализма и нигилизма, которые суть две стороны одной медали, переболев тем и другим, он теперь остановился на «разумном, добром и вечном», как это ни банально, и благословляет жизнь во всех ее формах и в каждом ее дне. По цивилизованному миру не скучает, это ведь, в сущности, не важно, где жить, поскольку рай или ад — в душе человека, а не вовне.

Еще писал, что помнит Учителя и считает тот день, когда он его встретил, главным днем в своей жизни. Скоро десятилетие дворницкой, и, если Юра не сочтет за труд, пусть напишет ему обо всех. А еще лучше, если приедет сам, здесь изумительной красоты места, Юре понравится.

Юра перечитал письмо и сунул его в ящик стола. Эх, Женечка! Говоришь, благословляешь жизнь во всех ее формах, счастлив, нашел свой путь? А ну как приедет к тебе с проверкой тетка дремучая из облоно, у которой в активе ликбез за плечами и полный портфель полномочий, ногами затопает, бумагу настрочит, да и сотрет тебя в порошок с твоими новациями, и ты, умный, совестливый, «сеятель», окажешься перед этой теткой беззащитным, и сбежишь из своего захолустья, и будешь вспоминать его как кошмар, и аж во сне вздрагивать. Вот и благословляй после этого жизнь во всех ее формах. Хотя, кто ж тебя знает, Розового?..

Дворницкая готовилась отметить свое десятилетие. Юбилей решено было праздновать пышно — чтоб до утра и по полной программе: с песнопениями, плясками, ночными вылазками в Бармалев, как это бывало раньше. Юра отнекивается, говорит, в упадке, ничего, сдернем его с тахты, приведем силой, такие даты не каждый день случаются, да к тому же сейчас не ноябрь, а апрель, значит, и упадок его весенний, окропленный мажорными нотами, а это совсем другое дело. Выпьет водочки — Игорь дважды в гастрономе отстоял — и его отпустит.

Ольга в мышинном платьице встретила Юру в прихожей с некоторой церемонностью, соответствующей торжественности момента. Неизвестно, что происходило в этом доме, но только Ольга таяла на глазах, словно бы огонь, томившийся за ее тяжелыми веками, не найдя выхода, ушел вовнутрь, и она медленно сгорала на этом огне и становилась прозрачной. И, хотя она улыбалась, но скорбное выражение не стиралось с ее лица, может быть, даже и усиливалось от улыбки. Юра погладил ее по щеке — кожа была тонкой и слабой — и вдруг ясно увидел ту старушку, которой она будет доживать свою жизнь, и, испугавшись, что Ольга поймает мелькнувшее в нем недопустимое предвидение, широко улыбнулся и сжал в пальцах мочку ее маленького уха.

Собирались гости. Влетела, запыхавшись, Ирка-анархистка, в длинном балахоне, изысканно-лохматая, с «мокрой химией» на голове — стон! Месяц в очереди стояла к Жоресу. Игорь зашатался: «Мадам, вы неотразимы, лично я — тащусь!» — «А уж как я тащусь, — сказал лысоватый Иркин муж, участковый врач. — Двадцать рэ за эти лохмы!» Никола явился с букетом белых цветов для «прекрасной Ольги» и при галстукке — его никто не видел при галстукке, зрелище было величественное. Пришел Вивуль, возбужденный и элегантный, с порога сообщил, что на студии наконец взяли его гениальный сценарий без единой, можно сказать, купюры, не прошло и семи лет, так что, будьте любезны, примите сетку с шампанским, а ананасы будут позже, будет много ананасов, и пальмы будут, и бассейны с золотыми рыбками, и мы этих золотых рыбок — сачками, сачками и на сковородку.

Ольга метнула на стол хрустящую белоснежную скатерть, вытаскивала уцелевшие остатки бабушкиного фарфора и хрусталя. Сервировка — по первому классу, со сменой приборов и льняными салфетками, а то привыкли ковырять вилок яичницу из общей сковородки.

Белые цветы — в старинной китайской вазе, нежные закуски — в менажнице, шампанское — в узких бокалах. Дырчатый абажур, низко спущенный над столом, отбрасывает кружевные тени на лица. Первый гост... За дворницкую, за этот дом, за общность сидящих здесь людей, за то, что сумели сохраниться, и за Учителя, конечно, он велик и мудр, и, если бы не он, то никто из нас...

— Ну и так далее, — миролюбиво перебил Юра и признательно закивал собранию. Все подняли бокалы и соединили их под дырчатым абажуром.

— Я не понял? — воскликнул Игорь, заметив, что Ира, которая всегда пила наравне с мужчинами не хмелея, едва пригубила шампанское и поставила бокал на стол. — Я не понял? Уж не ждешь ли ты кого?

— Жду, — созналась Ирка, слегка смутившись.

— Вот это новость! Ты же вроде никогда любви к детям не испытывала?

Ирка махнула рукой и сказала, что решила рожать до посинения, пускай растут, черт с ними, ей сейчас тридцать два, и штук пять она еще вполне успеет наплодить — вот такая у нее теперь программа, в жизни, так сказать, всегда есть место подвигу, а то помрешь, и не вспомнит никто.

— А муж-то? Выдержит?

— А ему без разницы, — сказала Ирка, скользнув взглядом по своему терапевту, целеустремленно поглощавшему нежные закуски.

— Не терзай меня, — откликнулся тот, не отрываясь от тарелки.

Потом выпили за Вивуля, за его многострадальный сценарий и за бассейн с золотыми рыбками.

— Нет, вы можете себе представить, ни одной купюры! — вновь изумился Вивуль. — Я прошу до дна.

— И сколько тебе за это отвалили? — поинтересовался Игорь, вытирая бороду и откидываясь на спинку стула.

— Пока еще ничего. Эта катавасия с производственным процессом, с бухгалтерией — страшное дело. Хорошо вам, вольным художникам, у вас теперь свободный рынок в парке культуры и отдыха. Сам назначаешь цену, сам получаешь монету.

— Тоже свои сложности имеются. Но ничего, жить можно. Сейчас вот с Ольгой наладили новое производство, с камушками работаем.

— С драгоценными? — испугалась Ирка.

— Нет, так, сердолик, родонит, яшма. Сережки, колечки — ваши дамские радости. Семейно-то надо кормить. Скоро, наконец, получим новую хату, уйду из дворников, можно будет заняться делом, вернуться к живописи.

Провозгласили тост за Ольгу с Игорем, замечательно дружную пару, которая выстояла в житейской буре...

— Ну и так далее, — улыбнулась Ольга.

Стало шумно, все закурили. Ирка наклонилась к Ольге и поинтересовалась шепотом, не набухали ли у той вены на ногах, когда она носила Тиму, вот у Ирки страшно набухают, и она боится, что это так и останется; и еще... такой момент, мочегонное, ей прописали в консультации, а знающие люди говорят, не надо, вымывает все соли начисто...

— Ира! — укоризненно покачала головой Ольга и обвела глазами компанию.

— Ну да, — спохватилась Ирка, — потом.

Вивуль, развываясь на кушетке, размышлял вслух:

— Интересно, как там наш Стасик, красавец-мужчина?

— Да у него уже свой дом, поди, старушка-то, посредница, померла, царство ей небесное, так теперь ничего и не известно.

Все стали гадать о Стасиковой жизни за кордоном и вспоминать, как он читал стихи, которые лились из него нескончаемым потоком, и решили, что ему сейчас должно икнуться. Икнет и вспомнит про них, в свою очередь.

— Ой, — сказала Ирка, икнув. Все рассмеялись: обратная связь посредством передачи мыслей на расстоянии.

— Друзья, давайте выпьем за тех, кого с нами нет, — предложила Ирка.

И тут возникла маленькая заминка, во время которой, должно быть, хорошо икнулось Розовому в его студеной Сибири. Игорь кашлянул. Ольга откинула назад бледное лицо и опустила веки.

— Мадонна, чудо как хороша, — тихо сказал Никола Юре. — Почему Игорь не пишет ее портрет? Я бы написал, если бы умел.

— Потому что у Игоря есть дела поважней, — захохотала Ольга, расслышав Николино шептание.

Игорь послал ей взгляд через стол.

— Оленька, ты бы спела, голубушка, давненько ты нам не пела, — попросил Никола.

Ольге подали гитару. Она закинула волосы за спину, глаза ее сверкнули.

— А голубушка вам сейчас про голубчика споет.

И она запела чудным своим голосом, способным выжать слезу из камня «Не уезжай ты, мой голубчик». Пела самозабвенно, с особым чувством, и все начали понимать, что опять случилась какая-то двусмысленность, и Ольга как будто даже бросает кому-то вызов: «...Когда тебя, мой друг, не вижу, то, кажется, я не живу». Она закончила, все захлопали в ладоши, закричали «Браво!», чего раньше никогда не делали.

— А налейте-ка мне вина, — громко сказала Ольга, отложив гитару в сторону. — Нет, не в рюмку, в стакан, полный налейте, полный... Отчего ты, Юра, все молчишь, невесело тебе? Выпей со мной!

— Сейчас вразнос пойдет, — шепнул Юре Игорь. — Не наливай ей больше.

— Откройте форточку, дышать совсем нечем, — воскликнула Ирка, обмахиваясь салфеткой.

— Нет, ты можешь себе представить, — внашал Вивуль Иркиному мужу, — ни одной, ни одной купюры... За семь лет.

— Потрясающе, слушай! Положи-ка мне буженины, будь другом, вон на том конце... благодарю, благодарю.

Ольга резко захмелела, встала подбоченившись.

— А где моя любимая цыганская юбка? Игорь? Зачем ты порвал мою любимую юбку?

— Я не рвал твоей любимой юбки. Ты сама ее порвала, — напомнил Игорь, следя за ней глазами.

Ольга отрицательно покачала головой и стала выбираться из-за стола.

— Оля, у тебя ведь есть книжка доктора Спока, ты мне не дашь?

— Отстань, — бросила на ходу Ольга, не поворачивая головы в сторону Ирки.

— Я сейчас, — Юра встал и направился вслед за Ольгой.

Она стояла в тесной кухне, уронив голову и тяжело упираясь руками в стол. Он тронул ее за плечо. Ольга подняла лицо.

— Я гибну, неужели ты не видишь, что я гибну, мне тошно, нечем дышать, — она вцепилась в его свитер. — Я не могу больше, помоги мне, миленький, Учитель, ты же умный, так спаси меня, ну что же ты молчишь... Помогите же, я прошу, умоляю, — Ольга обхватила его руками, сползла по нему, как по стволу могучего дерева, на пол и встала на колени, запрокинув лицо, с прилипшими к нему прядями темных волос. Он оторвал ее от себя, рывком поднял на ноги. Она начала рыдать в его руках.

— Прекрати. Возьми себя в руки... Стой... Работать надо! Ты же ни черта не делаешь. Где твои картины? Когда ты написала последнюю?

— Я не могу, не могу писать, — она мотала головой из стороны в сторону, — ничего не могу, я... я — пустая. Слышишь? Пустая! — закричала пронзительно. В кухню вошел Игорь, хмуро глянул на жену.

— И ты пустой, — ткнула пальцем в Юрино плечо, — и он, мы все пустые!

Игорь резко дернул ее за руку, она ударила его по лицу с размаху. Тогда он жестоко скрутил жену и, пока волок ее, бьющуюся в сетях распушенных волос, по коридору, она все кричала: «Пустые... И ты, и он, и она, все... А-а-а...»

Выскочил из темной комнатушки Тима в ночной длинной рубашке, вцепился в край материнской юбки, заплакал.

— Иди спать, — приказал Игорь.

Гости ринулись в прихожую, похватали пальто и шапки, выкатились на улицу. У подъезда остановились.

— Да, вот вам и юбилей, — сказала Ирка, шмыгнув носом. Помолчали. Вивуль затоптал сигарету, дернул «молнию» на куртке.

— Ладно, пойду я... Кому на метро?

Никола проводил Юру до дома, неуверенно предложил продолжить вечер, поговорить...

— О русской освободительной мысли? — усмехнулся Юра. — В другой раз, Никола, в другой раз.

Архивариус снял запотевшие очки, протер их носовым платком.

— Мы не пустые, — сказал. — Мы все отравлены веществом времени.

«Здравствуй, Паша!

Уж не забыл ли ты старика? Что-то давно от тебя не было писем. А звонки, доктор, не в счет — ты знаешь, как я отношусь к телефонному общению.

Я тут занялся ремонтом. Не от большой охоты, признаться, а в силу необходимости. Вообрази: мой новый сосед по лестничной клетке — участковый милиционер. Его вселили в освободившуюся квартиру, и он уже присматривается ко мне подозрительно, когда встречаемся на лестнице. Я так думаю, ему не нравится выражение моего лица. По ночам я слышу его дыхание: мы спим голова к голове, отделенные друг от друга тонкой перегородкой. Вот и решил обить свою берлогу стекловатой для звукоизоляции. Оказалось, хлопотное дело. Обработал стенку и потолок, а эффекта ожидаемого не наступило — все равно слышно.

Дом в Бармалеевом пошел на капремонт. Стоит опустевший, зияет дырами выбитых стекол. Подъезд, в который входил столько лет, забит досками. Недавно проходил мимо, заглянул в

окно дворницкой — сидят рабочие в спецовках, играют в домино, курят, сплевывают на пол. Яичная скорлупа валяется, куски хлеба вперемешку со строительным мусором. А на голых стенах следы от Ольгиных картин, и забытый веревочный абажур болтается на лампочке, страшный такой, в лохмотьях, а мне он всегда казался красивым.

В конторе по-прежнему, с той только разницей, что нас уже не упраздняют, а, напротив, расширяют. Все теперь поглощены обсуждением этой темы, и опять никто не работает. Некто Семикозов, — мастеровой, легендарная в учреждении личность, — известный тем, что в течение многих лет распевал на всю контору «Что наша жизнь? Дерьмо-о!» и хохотал при этом, как безумный, после некоторого перерыва запел и захохотал с новой силой. Все, как видишь, возвращается на круги своя.

Третьего дня встретил на улице Наталью с дочкой. Я не видел их почти три года, с тех самых пор, как все это случилось с Сашей. С трудом узнал обеих, Наталья страшно постарела, вся седая. Ненависть, которую я прочитал в ее взгляде, беспредельна. Схватила дочь за руку, поволокла прочь. Но я успел сказать Машеньке «позвони мне», и она, кажется, кивнула в ответ. Она стала совсем взрослой. Я жду ее звонка.

А вообще, Паша, пора бы тебе навестить бедного больного одинокого старика. Приезжай, Павлуша, я скучаю по тебе. Приезжай. Пошляемся по городу, поругаемся всласть. Хотя чего нам с тобой ругаться?

За сим прощаюсь с тобой. Кланяйся Алине.

Твой Юрий.

P. S. Между прочим, как у вас обстоят дела с зубной пастой? У нас крайне плохо. В период всеобщего воодушевления совсем упустили из виду такую мелочь. Если в ваших краях она еще не перевелась, купи пару тюбиков для меня».

Юра запечатал письмо в конверт, оглядел комнату. С потолка свисали клочьями куски стекловаты. За стеной, в квартире милиционера, пели под гармошку.

Он взял со стола телефон, перенес на пол, поближе к тахте. Лег.

Выпятив толстое брюшко, глумливо усмехался ему в спину розовощекий фаянсовый уродец.

Михаил Городинский

ТЕКСТ И СЛОВО

По утрам, казалось, уже не спуститься будет вниз, не добраться до угла, до магазина, газетного киоска.

Постояв немного у кровати, он решительно сделал шаг, другой — вперед, вперед, ну! Ноги обязаны были подчиняться этому приказу. В своей борьбе он был похож на младенца, который пускается в неведомый путь до стены, выставя кулачки для равновесия.

В длинном коридоре ноги глухо, тряпично шаркали. Это раздражало молодую соседку, он видел по ее лицу. «Доброе утро, Любовь Анатольевна...» Любовь Анатольевна, может быть, и отвечала, но нежелание видеть старика, начинать с этой картины новый день было сильнее долга вежливости, и ее приветствие выражалось коротким мычанием, не слишком тяжким стоном. В январе соседи, Любовь Анатольевна и Виктор Андреевич, сделали ремонт. В ванной теперь был шикарный кафель, новый свет с гудением растекался по гофрированному стеклянному потолку. Из их комнаты сюда, на ажурные полочки перебрались дезодоранты, кремы, одеколоны и шампуни; пестрым штабелем легло иностранное мыло. Видно, соседи окончательно поверили, что Самуила Исааковича это уже не соблазнит, пудра и крем, а если по причине любопытства или маразма плеснет на себя чуток импортной водицы, тоже ничего страшного. Его чашке и стаканчику с бритвенными принадлежностями (трофеи, привезенные в сорок пятом из Германии) отвели скромное место в углу над раковиной. И, благоухая, банки, баночки, тубики, флаконы, причастные к тайне женской кожи, страсти людской, снисходительно, в духе цивилизованных времен дожидались, когда исчезнет маленький алюминиевый ковчег, как и Любовь Анатольевна с Виктором Андреевичем, верно, ждали, когда уйдет он, освободится его хорошая комната с прилично сохранившейся лепниной на потолке, потому и в кооператив не вступали. Комнату приведут в порядок, ликвидируют обширный синяк с висячими лоскутами в верхнем правом, если смотреть с его кровати, углу, появившийся, когда еще жива была Соня. Будет у них своя отдельная квартира в центре города, в двух шагах от садов — Летнего и Михайловского, стоит обождать.

Ноги совсем ослабли, но голова держалась. Правда, забывала все больше, экономя силы на памяти, отбрасывая, как балласт, целые куски — годы, пятилетки, с людьми, именами и событиями. Истощилось детство: местечко, город, рабфак. Потом стала крошиться война. Пару лет назад в результате какого-то мозгового катаклизма канул громадный кусок, примерно с тысяча девятьсот шестидесятого по семьдесят пятый. Но на краю обрыва, пришедшегося на октябрь семьдесят пятого, ясно и отчетливо, точно было вчера, он видел Федю, Сониного сына от первого погибшего мужа, его регистрацию во Дворце бракосочетания на Петра Лаврова, Соню — она сидела рядом, слушая депутата и слегка покачивая склоненной на бок головой, уже всплакнув и готовясь еще не раз всплакнуть, глядя на Федю и Ирочку — женщину, которой отдает своего сына, стройного высокого красавца, которому, она не сомневалась, суждено поразить науку, всю науку, не только ту, чье название никак ей не давалось; понимала ли это невестка?

И спасибо, осталась Соня, летевшая ангелом над этими пропастями. Она всегда была рядом, остальное не так важно. Пока хватало сил себя обслуживать, он никого ни о чем не просил. Да и к кому он мог обратиться? Федя с Ирочкой работали в институте под Москвой, на праздники присылали открытки. Сестра Ида умерла через год после Сони.

Движение — вот спасение. Об этом писал в одной из газет Юрий Власов, сильный и умный человек, чемпион мира, да Самуил Исаакович и сам понимал эту истину. В комнате, в постели, в неподвижности приходили мысли о смерти. Уже без энергичного страха, что окатывал в войну, и без того, самого дикого ночного, когда забрали старшего брата Нему; страх тоже состарился. Освобожденный от пытки пустотой, неизвестностью, он никогда не думал, что же там, после, не думал и теперь. Бородатые старики в местечке, завывавшие над книгой, казались сумасшедшими, они готовились к смерти, казалось, жили для нее, старались ей угодить — так нелепо среди очевидности новой жизни, которая сама будет наградой. Нема уже являлся вожаком комсомольской ячейки, и парни, девушки, да и старики глядели на него с уважением и любовью — «наш Немка», ведь и старики хотели своим детям и внукам только счастья, как, наверное, и их Бог, их книги, и вместе с Немой, его гостинцами, словами, газетами врывался в нищету и забитость чарующий дух будущего. Нет, смерть не пугала, он мог исчезнуть тогда, тогда и тогда, — из близких сверстников никого уже не осталось. Выходит, хлопотать о похоронах придется Любви Анатольевне, которую он так раздражает живой. Каково же будет ей потом, с каким чувством эта красивая женщина — как-то он ткнулся в ванную и совсем близко увидел роскошное тело, с тех пор стеснялся ее, хотя она тогда и глазом не моргнула, не прекратила движения, которым втирала в кожу крем, — станет исполнять так называемые «формальности», скорбеть, ведь она ничего о нем не знает, ничего не сможет вспомнить в миг проща-

ния. Нужно позвонить в проектный институт, где он проработал двадцать три года, — но что он им скажет, помнят ли его в организации, где он уже давно не работает?.. Необходимо будет дать телеграмму сыну, но откуда Любови Анатольевне, переехавшей сюда по обмену полтора года назад, знать про Федю; он должен все объяснить, рассказать, записать подробно, попросить, завещать ей какую-то часть от сбережений. Как же он этого еще не сделал, ведь не воскреснут же Соня, Ида, чтобы проводить его и подхоронить к себе на «9-го января!»

Шерстяные носки, кеды — в них легче ходить и меньше шансов оступиться, — свитер, зеленый плащ с теплой подстежкой, которую отстигивал после майских. Проверил, на месте ли полиэтиленовый пакет с адмиралтейским корабликом, кошелек, нитроглицерин, красная ветеранская книжка. Его кожаный полевой планшет вдруг залетел в моду, с такими теперь ходили молодые люди. Как-то двое подвыпивших парней уговаривали продать, думал — отнимут. Планшет на боку, рукам свободно — ими он помогал себе при ходьбе.

Воздух, встречавший на улице за подворотней, заставлял его остановиться, обождать немного у стены, пока голова прирорвится к порывистой весенней свежести. Потом он шел дальше по сухому крепкому асфальту, к Фонтанке, готовясь к подъему на высокий поребрик моста. Бывало, он считал шаги, и тогда маршрут был похож на топографическую карту: без красок, зелени или снега, без людей, машин и автобусов, тягучей воды в реке, того плавного изгиба, где Летний сад густыми кронами нависал над водой, напоминая кусок Днепра, отзываясь какой-то песней, истомой сочного летнего дня. И, куда бы уже ни направился, шел по их с Соней следам, не выйти было из этого круга. Он усердно с равным усилием выбрасывал вперед ноги, руки полусогнуты в локтях — ходок на бесконечную дистанцию, поседевший и согнувшийся в пути. Красноватые глаза слезились, на лице — улыбка изнеможения, покаяния за убожество, и еще какая-то старческая гордость, и благодарность за тепло, новую весну, милость нежданную. Вперед, до поворота, до следующего поворота, сквозь меловые классики, «котлы», сырость последних капелей.

Он становился в очередь к овощному ларьку, похожий и непохожий на пенсионеров-добытчиков, прочесывавших продуктовую округу, всегда знающих, где дают, где выбросили и где будут давать и выбрасывать. Планшет, мечтательно приоткрытый рот. Красную книжку не доставал, не хотел людского ропота, каких-либо слов в свой адрес, они уже не могли его задеть и обидеть, просто ему некуда было спешить, и капусты хватит на всех, а не хватит — тоже не беда, он читал в газете, что в овощах никаких химических не содержится, ешьте на здоровье, значит, думал он, читатель долгий и искушенный, что-то все-таки содержится. Стоит, заодно отдохнут ноги, да и забывая что угодно, он всегда

помнил Немины слова о том, что «мы должны быть вдвойне порядочны». Старые и верные слова, когда-то в молодости так не хотелось их принимать — он ведь знал, что старший брат имел в виду под «порядочностью», да немного времени потребовалось, чтобы понять нехитрую мудрость, сделать законом для себя, привычкой, и до сих пор ощущать стыд и неловкость, если какой-нибудь еврей, не знавший такого простого завета — сколько таких он видел и слышал! — заявлял о себе слишком громко.

Была булочная, молочный. Как с соседкой, не слишком рассчитывая на отклик, он здоровался с кассиршами, те, по настроению, отвечали или нет, поглядывая на странного покупателя, сбегавшего за творожком из музейной витрины. Пока он возился с деньгами, успевали увидеть его птичье лицо, высокий косой лоб, горстку седых волос, планшет, как-то вздохнуть, усмехнуться или сжалиться, быть может, вспоминая в эти мгновения других стариков, которые тоже таскались по утрам, брали четвертинку хлеба, расплачивались медью, загодя заготовленной без сдачи, и однажды исчезали.

В киоске «Союзпечати» его дожидались специально отложенные газеты — пять утренних и вчерашняя «Вечерка». Анна Лаврентьевна, всегда работавшая стоя, нагибалась, раздвигала пошире окошко.

— Добрый день, Сергей Исаевич! Как ваше здоровье?

— Ползаем, Анна Лаврентьевна, ползаем... Как вы?

У женщины было приятное живое лицо без угрюмости и сонного безразличия. Таких лиц почти не осталось, неведомая не терпящая подобного сила именно такие лица изымала из жизни, города, улиц, из толпы, завершая наконец долгий упорный труд.

Если людей у киоска не было, он спрашивал про внучку. Анна Лаврентьевна с удовольствием отвечала. Подходил покупатель, Самуил Исаакович отодвигался, глядел через стекло на открытки, конверты, наборы марок, развешанные на прищепках журналы. Поговорив еще немного, он брал свои газеты, за которые давал приветливой женщине лишние двадцать копеек; она благодарила.

— Не забудьте — завтра «Советская культура», — напомнила в окошечко.

Да, да, спасибо, как он мог забыть.

Тугой газетный свиток — это на остаток дня. Газеты были его страстью, привычкой, пуповиной, связывавшей с жизнью. Киоск на Чайковского оставался неистребимой каждодневной целью, смыслом, вокруг которого вместе с прочими покупками и предвкушением свежей прессы, новостей, долгой внимательной читки накручивались остальные маршруты. За газетами и с газетами к дому, в зависимости от погоды и самочувствия это занимало два с половиной или три часа. Если в погожие дни от отваживался на вторую прогулку, одну или две газеты непременно оставлял на потом, на самый вечер. Он ничего не скрывал от Сони, и она многое понимала, находила нужные слова, но это были другие, женские

слова, податливые даже в своем упрямстве, такие слова он мог бы и сам сказать себе, а газетой говорила сила, сила настоящая и неумолимая, способная казнить, миловать, подтверждать, что ты живешь на этом свете, гневаться, обещать, рождать страх и его развеивать, заставляя почувствовать бесконечную свою малость, просить пощады, каяться во всем, чего не совершал и совершить не мог, самому, без чужого вмешательства, доигрывать мистерию собственного исчезновения и вновь воскресать, вдохновляться сыновней гордостью, мужеством, славой и бесстрашием, стоять за правое дело, как было в войну.

Прежде чем приняться за чтение, он переодевался в домашнее и мыл руки с мылом до локтей. Начинал с «Вечерки» — с некрологов — потом брался за передовицу. Чего-то не хватало ему... Он доставал из буфета ручку с красным стержнем и читал сначала, уже не отвлекаясь, подчеркивая самое важное, слегка высывая язык — от усердия и бесценного чувства причастности. Уже давно никто не ждал его политинформаций, да и прежде немногие ждали, он это знал — люди легкомысленны и маловерны. Они устали от слов — но как жить без слов? Молчат только рыбы; и Самуил Исаакович старался, как мог, растолковать сослуживцам слова, человеческий их смысл, делал это совершенно бескорыстно, словно чувствуя за собой такой долг. Пока они обедали, он развешивал на стене политическую карту мира — свернутая рулоном, она лежала на полу за его столом, — проветривал комнату, снимал нарукавники, чистил мокрой щеткой пиджак, а когда народ собирался, выдерживал паузу — пусть докурят остальные, затихнут, доковыряют в зубах, пусть улягутся в желудках супы и котлеты. «Ну что ж, товарищи, начнем...» Он был не согласен с Гуляевым, начальником отдела, загонявшим сотрудников на политинформации силой. Сила в данном случае рождала у подчиненных еще большее противодействие, и после гуляевских угроз его совсем не хотели слушать — в отместку; кстати, сам Гуляев почти никогда не присутствовал, будто должность давала такое право. Хамоватый был человек, недалекий, и специалист никудышный, да и как иначе, если в какой-то момент знания и порядочность вышли из цены, и что можно было требовать от Гуляева, когда главный инженер — сочетание для Самуила Исааковича святое, — перекуривая на лестнице, не только слушал сальные анекдоты и хохотал, но и сам рассказывал, и ежедневно ходил после работы в низочек у метро, в винный шалман. Какая-то стена все сильнее отделяла людей от очевидного, разумного и справедливого. Нет свидетеля, остался он за той стеной, оттого и свобода неслыханная, а прилежание, честность, с которой трудились его немногочисленные сверстники, вызывали у остальных если не открытую насмешку, то уж никак не уважение. Самуил Исаакович видел все это, понимал, переживал, как переживает человек, которому есть с чем сравнивать, но если уже не могла вразумить сила, то что же мог он?

— Что ты там все хочешь вычитать?! — спрашивала Соня, когда по вечерам он сидел над газетами. — Что ты там всю жизнь ищешь?!

Он и сам не ведал, откуда у него такое стремление к слову, написанному и напечатанному, почему так случилось, что газете он верил больше, чем человеку, даже близкому и любимому. В пятидесятом в одной из статей он наткнулся на фамилию Идиного мужа — Силаев, совпадали и инициалы: Г. И. — Георгий Иванович. Речь шла о промкооперации, где Жора работал. Словесный погром — предвестие погрома реального. Он любил и уважал Жору, человека хорошего, искреннего, обожавшего Иду. Автор статьи мог ошибаться, — скорее всего, ошибался, недостаточно добросовестно разобравшись в фактах. Но какая-то порча сразу легла на мужа родной сестры, он верил ему и не верил. Когда начались неприятности, он утешал Иду, но не мог отделаться от мысли, что Георгий был не всегда до конца честен; эта мысль не исчезла, когда все обошлось ко всеобщей радости, и даже потом, после двадцатого съезда партии. В ту пору газеты ошарашивали — трудно было в привычных шрифтах постичь эту новизну, вот так сразу отречься от бывлой веры. Новая правда отрицала слишком много, по существу громадный отрезок жизни — и его жизни. Он вспоминал старые времена, их газеты, радовался торжествующей справедливости, посмертной реабилитации брата Немы, и, насколько мог, уже проникался новой правдой, конечно, лучшей, передовой. Вскоре под ногами опять была твердь, и он с прежней жадностью поглощал информацию о новых победах и новых рубежах. Потом газеты возвещали о новых ошибках, правда, уже не таких роковых и не так открыто и решительно. И еще один кусок жизни подвергался сомнению, уходил в небытие вместе с прежними газетами, ибо, как они, был накрепко связан с каким-то одним центром, одним именем, что осеняло текущую веру. Вновь зияла пустота растерянности, очередной безотцовщины; Самуил Исаакович опять будто слеп ненадолго. Он думал, что, может быть, так и должно быть, и в этом постоянном уничтожении прошлого со всеми его атрибутами осуществлялся диалектический закон отрицания?

Теперь его пометки были никому не нужны. Наверно, поэтому Самуил Исаакович подчеркивал красным шариком почти все, вплоть до рекламных объявлений. Разума хватало, чтобы понимать: поспели новые перемены, газеты несут новые вести, новые имена, новые слова. Печатались удивительные, умные и серьезные статьи — он мог судить об их серьезности по тому, что почти ничего в них не понимал. Над экономическим «подвалом» в «Известиях» бился целый вечер, пока все клонившаяся вниз голова не упала на газетный лист. Критиковали министров, министерства, обкомы, целые республики, судей и юристов; в Ленинграде, оказывается, были наркоманы, металлургов заменили какие-то металлисты, и, хорошенькое дело, он всегда стеснялся этого слова, суще-

ствовали проститутки — странно, он не замечал... Казалось, не хватает лишь корреспондентов, чтобы с этим новым художателем прочесать уже каждый квадратный метр жизни, констатировать его негодность. Да, конечно, правда необходима, но сколько же ее может уместить один человек, одна голова? Или он слишком долго жил, и газеты не рассчитывали на такого читателя? Он не замечал, как летит время, как увеличивается день, как все позднее темнеет за окном, как приходят с работы соседи... Он протирал очки, массировал виски, сосал валидол, предпринимая попытку вычитать что-то самое главное, решающее, итоговое, о чем, возможно, и спрашивала Соня, вытирая о передник руки. Он готов был продолжать паломничество всю ночь, весь остаток дней, но на газету наплывало красноватое дрожащее пятно. Он едва доползал до постели, вконец изможденный, не в силах встать и погасить свет, неспособный к какому-либо резюме, надеясь на завтра, на свежую голову, на новую порцию газет.

Любовь Анатольевна и Виктор Андреевич на дачу не поехали, остались дома. У них играла музыка — пели какие-то евнухи. Вторая суббота мая. В узком колодце двора стоял радужный свет, кусок железа на крыше отчаянно бился на ветру. Казалось, с кем-то будет уже не управиться, шнурки, слипшиеся, как непромытые кисточки для рисования, не лезли в дырки, узел не давался, петля выходила слишком длинной, обещая на улице поставить ему ножку; полиэтиленовый пакет куда-то запропастился, потом вдруг возник под рукой, на стуле. Худо, худо, голова отказывалась служить, надорвавшись накануне над немыслимым фельетоном о проектно институте, в котором он проработал двадцать три года. Страшный фельетон кончался вопросом: «А что мы потеряем, если одним таким институтом будет меньше?..» Он читал это, и плакал, и читал снова, пока не рассыпался типографский шрифт по бумаге, освободив его от пытки.

Ноги, не надеясь на волю, на приказ старика, сами вывели его на Фонтанку — под западным ветром река всходила жидким серебряным тестом. Сони уже не было с ним. В сквере на Фурманова, присев на скамейку, он глядел сквозь ограду на подворотно проходного двора, откуда появлялся Семен Маркович, «злодей». С Семеном Марковичем они стояли однажды в очереди за яблоками; взаимопонимание возникло еще до знакомства, когда посреди гвалта пустячной и злобной перебранки встретились их глаза. С тех пор, завидев друг друга на улице, они стали здороваться, раскланиваться почтительно, шутливо, отчитывались о покупках, вскоре уже прохаживались вместе, сидели в сквере. Семен Маркович был на пару лет младше, по специальности — врач, до пенсии работал в судебной экспертизе. Он много знал, тоже читал газеты, но ни пропагандистом, ни оптимистом не был. Разминались старики в разговоре о продуктах и нравах, погоде, артериальном дав-

лении, обоюдно-приятном подтрунивании. Мало-помалу беседа переходила на политику, на «вообще», на газеты и суждения, неуклонно подбираясь к какому-то обобщению. И вот тут коса находила на камень: Самуил Исаакович горячился, кипел, вскакивал, будто его благословение могло спасти этот мир от усталой иронии Семена Марковича, спокойно кивавшего на толпу, штурмовавшую винный магазин, и от этой борьбы двух мнений зависело так много, что Самуил Исаакович уходил не попрощавшись, главное договаривая по дороге — самые убедительные слова всегда приходили в голову, когда оппонент уже не мог возразить; а назавтра он опять спешил в сквер и ждал, ерзая на скамейке и огорчаясь тому странному обстоятельству, что и сегодня опять он ждет «злодея», а не наоборот, и все поглядывал сквозь ограду на подворотню заветного проходного двора, откуда должен был появиться Семен Маркович.

— Как спалось, злодей? — он любовно теребил руку приятеля.

— Спалось, миротворец, — улыбался тот.

Оба были рады встрече, такому тону, прозвищам, негаданной дружбе, пониманию каких-то вещей, которые никогда не объяснишь чужому, и прекрасно знали, чем кончится мирный разговор о рыночных ценах, визите африканской правительственной делегации, тайфуне, обрушившемся вчера на Японию.

Он смотрел туда, за черную ограду, но злодей не появлялся, потому что умер осенью восемьдесят третьего.

Окошечко киоска раздвинулось. Внутри была не Анна Лаврентьевна.

— Мои газеты...

— Остался «Гудок», берите, там кроссворд.

«Гудок», кроссворд, женщина, его не знаящая... Расплатившись, взяв неведомый «Гудок», все дожидавшийся своих железнодорожников, Самуил Исаакович немного подождал: не обернется ли женщина, грузно сидящая в киоске, Анной Лаврентьевной, чтобы рассказать немного о внучке и осторожно передать ему сверток газет — пять утренних и одну вчерашнюю, «Вечерку».

Отойдя от киоска на несколько метров, он остановился.

— Где я живу... Где я живу...

Он произносил это тихо, с неистребимой, только теперь совсем растерянной улыбкой на лице, и какой-нибудь прохожий мог принять вопрос за риторический и антипатриотический, но Самуил Исаакович спрашивал о другом. Точно раскрученному, как в детской игре, ему теперь предстояло отыскать запрятанную вещь, которой оказался его дом, а все игравшие, тем временем, дали врасыпную, оставив его наедине с самим собой, «Гудком», беспомощностью.

— Где я живу...

Он произносил это тихо, с кроткой мольбой в глазах. «Ну, а вы помните?..», «А может быть, вы вспомните...», «А как хотя бы

выглядит ваш дом?..» Догадались поглядеть документы — обследовали планшет. Ветеранская книжка открывала возможность установить место жительства старика, вспоминали, где же ближайшая Горсправка. Тут объявилась дворничиха, которой Самуил Исаакович примелькался, и она, ревностно отвадив собравшихся, поддерживая за поясницу, словно ходячую статуэтку, повела его домой.

Не снимая плаща, он опустился на стул, развернул «Гудок». Вскоре из раскрытой двери его комнаты вырвались три странных слова, три крика: «Берешит! бара! элогим!..»*

— Что с вами, Сергей Исаевич, что-нибудь случилось? — прелестная Любовь Анатольевна стояла в дверях.

Сосед не слышал. Он слегка раскачивался над газетой «Гудок» и громко повторял неведомые слова:

— Берешит! бара! элогим!..

Повторял и все почеркивал что-то красным шариком.

* Первые слова книги «Бытие».

Андрей Столяров

ЦВЕТ НЕБЕСНЫЙ

Очередь была километра на четыре. Она выходила из павильона, поворачивала за угол и черным рукавом тянулась вдоль промерзшего за ночь бульвара. Стояли насмерть — подняв воротники, грея дыханием оковеневшие пальцы. У Климова ослабели ноги. Он этого ожидал. Ему сегодня снились голые, неподвижные деревья на бульваре, стылый асфальт и холодные, мраморные статуи при входе. Озноб прохватывал при виде этих статуй. Он представил, как сейчас закричат в десятки глоток: «Куда без очереди?» — и он будет жалко лепетать и показывать билет члена Союза — машинально, как у всех, поднял воротник старого пальто. Каблуки стучали о твердую землю. Хрустели подернутые льдом лужи. В подагрических ветвях сквозила синева хрупкого осеннего неба.

Павильон был огражден турникетом. Климов, страдая, протиснулся.

— Куда без очереди? — закричали ему. — Самый умный нашелся! — А может, он тут работает? — Все они тут работают! — А может, он спросить? — Я с четырех утра стою, безобразия какое — спросить! Давай его назад!

К Климову поспешил милиционер. Вовремя — его уже хватили за рукава. Климов отчаянно заслонялся коричневой книжечкой.

— И у меня такая есть! — кричали в толпе.

В членском билете оказался сложенный пополам листок твердой бумаги. Милиционер развернул его и дрогнул обветренным лицом.

— У вас же персональное приглашение, товарищ Климов. От самого Сфорца. Вы, значит, знакомы с Яковом Сфорца? — Посмотрел уважительно. Очередь притихла, вслушиваясь. — Вам же надо было идти через служебный вход.

— Не сообразил... извините... — бормотал Климов, засовывая приглашение куда-то в карман — он забыл о нем.

Гардеробщик, не видя в упор, принял ветхое пальто, оно съежилось среди тускло блестящих, широких воротников. Красный от смущения Климов поспешил вперед — остановился, испугавшись гулких шагов по мозаичному полу. В обитых цветным штофом

залах стояла особая, музейная тишина. Старческое сияние шло из высоких окон, сквозь стеклянные скаты треугольной крыши — воздух был светел и сер. Сотни манекенов заполняли помещение. Дико молчащие, оцепенелые. Климов растерялся. Это были не статуи. Это были люди — как манекены. С гипсовыми лицами. Не шевелились. Не дышали. По-гусиному тянули головы к одной невидимой точке. Климов пошел на цыпочках, шепча: «Извините», — протискивался. В простенках висели одинокие картины. Он высмотрел свою — под самым потолком. Городской пейзаж. Полдень. Горячее, сухое солнце. Канал, стиснутый каменными берегами. Солнце отражается в нем. Вода желтая и рябая. Как омлет. В нее окунаются задохнувшиеся в листве, жаркие, дремлющие тополя. Последняя его работа. Нет — уже предпоследняя. Последняя на комиссии. Все стояли затылками. Это помогло. Климов глядел с отвращением. Вода была слишком желтая. И слишком блестела. Действительно, как омлет. Не надо было разбивать ее бликами. Чересчур контрастно. Дешевый эффект рвет полотно. В шершавых камнях облицовки канала слишком много фиолетового. Сумрачный, вечерний цвет. Он, как чугун, тянет набережную вниз. А дома — вытянутые, серые, призрачные — летят куда-то в небо. Картина разваливается. Климов сжал ладони — ногти в мякоть. Он был рад, что стоят затылками. Он почти любил эти стриженные, или волосатые, или покрытые ухоженными, льняными локонами человеческие затылки. И пусть никто не смотрит. Я же не художник. У меня каждая деталь сама по себе. Как в хоре: каждый поет свое, стараясь перекричать, и хора нет. Какофония. Невнятица цвета. Они же мертвые, эти камни, которыми я так гордился. Я думал, что фиолетовый, а внутри даже чуть лиловый, сумрачный цвет сделает солнечную желтизну в воде пронзительной — как скрипку на самых высоких нотах, где почти визг. А он — глушит. И камни получают холодные. Ночные камни. Прямотаки могильные. И все разодрано: дома парят в воздухе, вода плоская, а деревья: боже мой, откуда я взял этот зеленый и этот серебряный. Я хотел передать изнанку листьев — какая она белесая. Замшевая — в крупцах пота. Безумное сочетание. Зеленый и серебряный. Будто игрушки на елке. Проламывает полотно. Словно топор воткнули. Я же не художник. Я ремесленник. Мне нужно аккуратнейшим образом выписывать каждую мелочь, определять по десять раз, увязывая скрупулезно. Терпеливо укладывать кирпичик за кирпичиком. Чтобы не рассыпалось. Тогда — да. Тогда я смогу сделать среднюю работу. Не очень позорную. И, пожалуй, не надо озарений. Меня губят озарения. Воспаряешь, забывая о том, что нет крыльев. И — брякаешься на асфальт, так что искры из глаз. Очень больно падать. Все так. Кроме неба. Небо я умею. Я даже не понимаю — почему, но оно у меня живое. Единственное, что я умею. Гвадари писал только при свечах, а я пишу только небо. И еще хуже, что оно такое. Беспощадное. Оно уничтожает на полотне все остальное. Оно просто кричит, что

автор бездарность. Сфорца прав: в посредственной работе не должно быть ни капли таланта. Потому что — контраст. Один талантливый штрих разрубит всю картину. Великий искуситель Сфорца: капля живой воды в бочке дегтя, жемчужное зерно в навозной куче. Он мог бы этого и не говорить. Я сам все знаю. Жаль, что никак нельзя избавиться от этого ежедневного, мучительного и невыносимого знания.

Климова толкнули. Забывшись, он сказал: «Осторожнее», — в полный голос. К нему негодуяще обернулись, словно нарушать тишину было преступлением. Климов вспомнил, зачем пришел. Разозлился. Морщась от неловкости, стал проталкиваться вперед. Вслед шипели. Здесь тоже была очередь. Дежурный с повязкой на руке следил за порядком. Опять пришлось показывать приглашение. Дорогу давали неохотно.

Поперек главного зала была натянута веревка. За ней, в противоестественной пустоте, освещенная сразу из двух окон, одна на стене, словно вообще одна на свете, висела картина. Она была в черной раме. Будто в трауре. Это и был траур — по нему, по Климову. Он взялся руками за веревку. Ему что-то сказали — шепотом. Он смотрел. Его осторожно потрогали за спину. Он щурился от напряжения. Это было невозможно. Заныли виски, защипало глаза от слез — словно в дыму. Нельзя было так писать. Какое-то сумасшествие. Выцвели и исчезли стены, исчезли люди. Он прикусил язык, почувствовал во рту приторную сладость крови. Гулко, на весь зал, бухало сердце. Его предупреждали. Ему говорили: будет точно так же, только в сто раз лучше. Но кто мог знать? Он видел лишь эскизы и писал по эскизам. Его обманули. Не в сто раз — в тысячу, в миллион раз лучше. Просто другой мир. Тот, которого ждешь. Мир, где нет хронического безденежья и утомительных метаний по знакомым, чтобы достать десятку, где нет комнаты в кишашей коммуналке — похожей на гроб, и сохнущего в бесконечном коридоре белья, и удушающей ненависти соседей к е р а б о т а ю щ е м у . В этом мире никто не вставал в пять утра и не гремел кастрюлями на кухне, и не было стоячей, как камень, очереди на квартиру где-то на краю света, и можно было не стесняться друзей, выходящих из жирных машин (Как дела, Коля? Все рисуешь?). В этом мире не было кислых лиц у членов выставочного комитета, и не подступала тошнота от своего заискивающего голоса, и не было безнадежных выбиваний заказов: оформление витрины — натюрморт с колбасой, и отчаянных часов в мастерской, когда ужас бессилия выплескивается на полотно, и внутри гнетущая пустота, и кисть будто пластилиновая, и хочется раз и навсегда перечеркнуть все крест-накрест острым шпателем.

Его грубо взяли за плечо. Климов очнулся. Оказывается, он непроизвольно продвигался ближе. Шаг за шагом. Веревка, ограждающая картину, натянулась и была готова лопнуть. Дежурный рычал ему в лицо.

Климов, сутулясь, поспешил вернуться назад.

— Посмотрели — отходите, — сказал дежурный.

— Шизофреник, — объяснял кто-то за спиной. — Таким субъектам нельзя смотреть картины Сфорца. Может запросто сойти с ума. И порезать.

— Как порезать?

— Обыкновенно — ножом.

— Куда смотрит милиция...

Дежурный толкал Климова в грудь.

— Отходите, отходите!

Он чувствовал на себе любопытные взгляды. Кровь прилила к лицу. Девушка рядом с ним, вытянув прозрачную детскую шею, смотрела вперед. Прикрывала рот ладонью, будто молилась.

— Не трогайте меня, — сквозь зубы сказал Климов.

Ему хотелось крикнуть: Это писал я! Здесь — мое небо! Мой воздух. Тот, что светится голубизной. Сфорца тут ни при чем. Посмотрите в другом зале. Там висит картина. На ней такое же небо. Счастье, которое излучают краски, сделал я. Эмалевая голубизна, чуть выцветшая и тронутая зеленым, как на старых полотнах Боттичелли — это могу только я. Сфорца этого не может.

— Гражданин, — напомнил дежурный.

— У него в мастерской висят картины без неба, — хрипло сказал Климов.

— Заговаривается! — ахнул за спиной женский голос.

— Да вызовите же милицию!

Климов стиснул зубы и отошел. Его сторонились. Он стал за мраморной колонной. Полированный камень был холодным.

— Я прошу вас покинуть выставку, — негромко, но с явной угрозой сказал дежурный.

— Я никуда не пойду, — сказал Климов.

Он был точно в ознобе. Дрожал. Прижал к мрамору пылающий лоб.

— Хорошо, — сказал дежурный. — Поговорим иначе. — Исчез, будто растворился. Только заволновалась толпа — в направлении выхода.

— Скандалы устраиваешь? — насмешливо сказал кто-то.

Климов с трудом оторвал лицо от колонны.

— Вольпер?

Низкий, очень худой человек, изрезанный морщинами, неприятно обнажил желтые десны.

— Ты все-таки решился, Климов...

— А ты видел? — спросил Климов, громко дыша.

— Я тебя поздравляю, — сказал Вольпер. — Теперь за тебя нечего беспокоиться. По крайней мере десятком картин ты обеспечен.

— Он меня убил, Боря, — сказал Климов, держась за колонну. Вольпер откровенно засмеялся, раздвинув морщины.

— И хорошо. Надеюсь, угостишь по этому случаю. Ты теперь богатый.

Возник милиционер. Не тот, что у входа, а другой — строгий. Дежурный, согнувшись, показывая на Климова, шептал ему на ухо. Милиционер поплотнее надвинул фуражку.

— Где милиция, там меня нет, — сказал Вольпер. Дернул за рукав. — Пошли отсюда. Что ты нарываешься?

Восторженный шепот прошелестел по залу. Все вдруг повернулись. Окруженный венчиком притиснувшихся к нему людей, из боковой, служебной двери вышел человек — на голову выше остальных. Бархатная куртка его была расстегнута, вместо галстука — шелковый красный бант. Человек остановился, попыхивая трубкой, неторопливо огляделся. Держался он так, словно вокруг никого не было.

— Сфорца, Сфорца, — будто шуршали сухие листья.

— Великий и неповторимый, — хихикнув, сказал Вольпер. — Но каков мэтр. Знает, собака — как надо. И Букетов рядом с ним.

У Климова оборвалось сердце. Рядом откашлялись. Это был милиционер. Он приложил руку к фуражке — на выход.

Окружавшие говорили что-то радостное и почтительное. Сфорца, глядя поверх, благожелательно кивал. Медленно и глубоко затягивался трубкой.

Только бы не заметил, подумал Климов.

Трубка на мгновение застыла — Сфорца увидел его. Так же благожелательно наклонил крупное римское лицо. Моментально образовался проход. На Климова глазели. Милиционер отпустил локоть. Сфорца шел по проходу, несколько разводя руки для приветствия. Ладони у него были широкие и чистые.

— Подвезло, — сказал Вольпер.

Климову захотелось убежать. Он скривился — от стыда.

— Весьма рад, — сочным голосом сказал Сфорца. Положил в рот янтарный мундштук.

— Ну, я пошел, — сказал Вольпер.

Откуда он взялся? У него была итальянская фамилия. В ней чувствовался привкус средневековья. Звезды и костер. Сфорца — герцоги Миланские. Говорили, что его предки были с ним в родстве. Вероятно, он сам поддерживал эти слухи. «Сфорцаре» — одолевать силой. Отблеск великолепного времени лежал на нем. Отблеск Чинквеченто. Отблеск Высокого Возрождения. Светлое средокрестие Санта-Мария делле Грацие невесомым куполом венчало его, прямо в сердце вливались скорбь и молчание «Снятия со креста», холодный «Апокалипсис» Дюрера уравновешивался эмоциональной математикой «Тайной вечера» и пропитывался взрывной горечью Изенгеймского алтаря.

— Ты зачем пришел? — блестя мелкими зубами, спросил Вольпер. — Ты собираешься рассказывать мне, что он — величайший художник всех времен и народов?

— Может быть, — сказал Климов, прикрывая глаза рукой.

— Ха-ха! — отчетливо сказал Вольпер.

Он держал на коленях деревянную маску. Колупнул ее замысловатым резцом. Вылетела согнутая стружка. Маска изображала оскалившегося черта с острыми ушами и редкой козлиной бородой.

Десятки таких же чертей — гневных, радостных, плачущих, смеющихся — деревянными ликами глядели со стен. Некоторые были раскрашены — малиновые щеки и синий лоб, как чахоточные больные. У других в пустые глазницы было вставлено стекло. Будто куски льда. Дико выглядели эти ледяные глаза на темном дереве. В розоватом свете абажура они мерцали, красные жилки пробегали в них. Казалось, глаза живут — цепко ощупывают коннату: потолок, пол, стены — и приклеиваются к двум людям, которые сидят друг напротив друга, один — утонув в обширном кожаном кресле, другой — согнувшись, как крылья топорща худые локти, яростно ковыряя желтое, слязшащееся дерево причудливо заточенным острием.

— Он никогда не умел писать маслом, — разбрызгивая стружки, сказал Вольпер. — Он даже рисовать не умел. Он уничтожил все свои ранние работы.

— Зачем? — спросил Климов.

— Он, как сыщик, разыскивал их и платил любые деньги. Он их выменивал, он их похищал, он крал их из музеев. Во Пскове он выпросил свою первую картину — на два дня, чтобы чуть подправить, и больше ее никто не видел. Не осталось ни одной копии. Даже репродукций. В Ярославле он прямо в музее залил полотно серной кислотой. Краска лопалась пузырями. Там на полу остались прожженные дыры. Он платит огромные штрафы. Он же нищий. Все его деньги уходят в возмещение ущерба.

Вольпер говорил свистящим шепотом. Жестикулируя. Жало резца кололо воздух.

— Он не похож на сумасшедшего, — сказал Климов.

Вольпер остановился.

— Да? — Уставил на него палец. — Сколько он тебе заплатил?

— Не твое дело, — сказал Климов.

Вольпер уронил резец. Тот воткнулся в лаковый паркет. Захихикал сморщенным лицом.

— Вот именно: не мое. — В изнеможении откинулся на спинку стула, вытирая редкие, злые слезы. Ноги его не доставали до пола.

Черти, светясь желтыми рожками, бешено кривлялись на стенах. В углу комнаты, где сугробом поднималась темнота, шестирукий, бронзовый индийский бог, белея ожерельем из костяных черепов, раздвигал красные губы в жестокой и равнодушной улыбке.

Откуда он взялся? Был такой художник — Ялецкий. Он писал только цветы. Одни цветы. Черные, торжественные гладиолусы, яично-желтые, словно из солнца вылепленные кувшинки, багровые, кривые, низкорослые алтайские маки с жесткими, как у осота,

листьями. Цветы получались, как люди. В ярких соцветиях проглядывали искаженные человеческие лица. Он называл это — «флоризм». Сам придумал это направление, сам возглавлял его и был единственным его представителем. У него была какая-то очень сложная теория о субъективном очеловечивании природы. Ее никто не понимал: писал он плохо. Ялецкий жил в центре, и его большая квартира, где из пола выскакивали доски, коридоры поворачивали и неожиданно обнаруживали ступени, по которым нужно было спускаться в кухню, а двери стонали и не хотели закрываться, всегда была полна народа. Стаканы с чаем стояли на подоконниках, а когда гость садился на диван, то из-под ног выскакивала тарелка. Привели незнакомого юношу в модном, перехваченном поясом пальто. У него было крупное, римское лицо и льняная грива волос. Прямо-таки профессорская грива. Впрочем, гривой здесь удивить было трудно. И была странная фамилия — Сфорца. Юноша очень стеснялся, положил пальто на кровать, сел на него. Кто-то его представил: подает надежды. Посмотрели принесенные полотна. Кажется, три. Ничего особенного. Ровно и безлико. Чистописание. Школьная грамматика. Прорисована каждая деталька. Не за что зацепиться. Полотна сдержанно похвалили — народ был в общем добрый, а юноша сильно краснел — посоветовали перейти на миниатюры. И забыли. Юноша продолжал ходить — уже самостоятельно. Присаживался туда же, на кровать, внимал. Никто не слышал от него ни единого звука. Кажется, он просто не понимал половины того, что говорят. К нему привыкли, занимали деньги. Деньги у него были. Вроде бы он работал врачом. Через некоторое время он принес новую картину. Цветы. Ослепительно белые каллы. Типичный Ялецкий. Широкие, грубые мазки, словно краска прямо из тюбика выдавливается на полотно, засыхает комьями. А в центре цветка смутно прорисовывается женское лицо. Ему, разумеется, дали. Ялецкого любили все. И не любили плагиата. Юноша с итальянской фамилией, наверное, ни разу в жизни не слышал таких жестоких слов. Его не щадили. Он то краснел, то бледнел. Хрустел удивительно длинными, как у пианиста, пальцами. Продолжалось это часа два — сам он ничего не сказал. Выслушал молча. Забрал картину и исчез. Больше о нем никто не слышал. А еще через полгода исчез Ялецкий.

— Тогда появились «Маки». И тогда впервые заговорили о Сфорца, — устало сказал Климов. — Я не видел этой картины.

— А он ее сжег, — радостно сказал Вольпер. — Он ведь уничтожает ступеньку за ступенькой — всю лестницу, чтобы никто не поднялся вслед за ним. И твою он тоже уничтожит. Имей в виду. Или она уже куплена каким-нибудь музеем? Музеи боятся его, как огня.

Климов выпрямился. Скрипнуло толстое кресло. Вольпер улыбнулся прямо в лицо.

— Или, думаешь, пожалеет?

— Я не позволю, — натянутым голосом сказал Климов. Воль-

пер продолжал улыбаться мелкими, влажными зубами. — Я заберу ее. Куплю. У меня есть деньги. Больше, чем ты думаешь. Денег у него не было.

— Ну-ну, — непонятно сказал Вольпер. — Я тебе завидую. Ты всегда был полон благих намерений.

Климов посмотрел в окно. Стекла между портьер, обшитых кистями, были черные. Картину он не отдаст. Это лучшее, что у него есть. Он, может быть, никогда в жизни уже не напишет ничего подобного. Правда — автор Сфорца. Ну, все равно. Это не имеет значения.

— Как он это делает? — спросил он.

У Вольпера поползли брови. Он вздернул маленькую голову.

— Так ты еще не продал свое небо?

— Нет, — сердито сказал Климов. — И вообще не понимаю... Я просто дописал один эскиз — воздух и свет.

— А ты, оказывается, самый умный, — сказал Вольпер. Медленно повернулся. Свет абажура упал ему на лицо и оно стало оранжевым. — Слушай, не продавай ему свое небо. Будь человеком. Должен же хоть кто-нибудь ему отказать.

— Один гениальный художник лучше, чем десять посредственных, — сказал Климов. И поморщился. Голос был не его. Это были интонации Сфорца. Поспешно спросил:

— А где сейчас Ялецкий?

Вольпер посмотрел на него странным взглядом — удивляясь.

— Ялецкий умер, — сказал он.

Гулко пробили большие напольные часы красного дерева. Климов считал — девять ударов. Взад-вперед летал неутомимый мятный маятник.

Со всеми что-то случалось. После появления «Маков» Ялецкий исчез. Никто не знал, куда. В его нелепую квартиру вселились другие люди. Еще звонил телефон, еще ломились в неурочное время, еще приходили письма, испачканные красками, но — реже, реже, реже. Память сомкнулась над ним, как вода. Он выпал. Затерялся. Возникали неясные слухи. Кто-то видел его на какой-то маленькой станции в глубине страны. Ялецкий сидел в привокзальном буфете, за грязным столиком, на котором среди крошек и кофейных луж лениво паслись сытые зеленые мухи. Перед ним стояла бутылка водки. Наполовину опорожненная. Он наливал себе в захватанный стакан, пил, стуча зубами о край. Водка текла по мягкому подбородку. За мутным стеклом высились кучи шлака. Как раненые слоны, кричали проходящие поезда, упирались дымом в небо. Серые глаза Ялецкого, казалось, были сделаны из такого же мутного стекла. Не отражали ничего. Потом он вернулся — через год. Лицо у него стало зеленоватого оттенка, крупно дрожали утолщенные на концах, багровые, отечные пальцы. Он занимал деньги у всех знакомых. Ему давали. Он шел в павильон и часами стоял перед «Маками». Иногда — будто не веря — быстро ощупывал свое опухшее, мятое лицо.

Потом был Михайлов. Он писал искаженную перспективу. Как в вогнутом зеркале. Дома на улицах, прогибаясь, касались друг друга верхушками. Небо глубокой чашей накрывало их. Это было не механическим искривлением пространства: новый взгляд. Мир выглядел по-другому. Люди были выше домов. Большие и добрые. И хотелось тоже стать выше и лучше. Его не выставляли — не реалистично. Он перебивался мелкими заказами. Писал портреты. Портреты возвращали: заказчики не узнавали себя. Он жил чуть ли не на чердаке. Самовольно переоборудовал его под мастерскую, сняв и застеклив часть крыши. Кажется, его выселяли с милицией. Худой, как перочинный нож, с огнем вечной сигареты у самых губ, в заплатанном свитере, он возникал одновременно в разных концах города — рассыпая пепел и идеи. Мелькали растопыренные ладони. Столбом завивался воздух. Все было чудесно. Жизнь сверкала великолепием. Осенью, в дожди, крыша протекала и на полу образовывались лужи. Он ходил по торчащим из них кирпичам и смеялся. Вокруг него всегда было много людей. Он словно магнитом притягивал их. И вдруг самоубийство. Жуткая, фантастическая смерть. Он нарисовал свой чердак — строго реалистично, без всяких искажений: дощатое перекрытие, темные от времени балки, паутина по углам. Под одной из балок в петле висит неестественно вытянутый человек в заплатанном свитере — торчат белые носки. Валяется табуретка. Картина называлась — «Утро». Она стояла на мольберте посередине чердака, а напротив нее, словно отражение, висел автор. Свитер и носки. Табуретка. Лил дождь, и с крыши капало. И по всему полу были разбросаны деньги — около четырех тысяч десятирублевыми бумажками. А искаженная перспектива появилась у Сфорца. Все журналы напечатали репродукцию, где изогнутые, будто в кривом зеркале, люди бродили между изогнутых домов. Говорили об углублении реализма.

Был еще Розенберг, который делал иллюстрации к Андерсену — очень четкая линия и праздничный, до боли в глазах, чистый цвет. Он вдруг стал зубным врачом и располнел так, что непонятно, как умудрялся входить в свой кабинет. И был Ивакин с вихреобразным, срываемым ветром рисунком, уехавший геологом куда-то на Север, и Чумаков, ставший инженером, и Вольпер, который делает чертей для продажи.

— Я когда бросил писать, чуть с ума не сошел, — сказал Вольпер. — Руки не могут без работы. Ну и — жить как-то надо.

Погас. Словно выключили свет где-то внутри. Лицо вдруг стало большим и морщинистым. Без звука положил маску на край стола. Рядом — резец.

— Ты продал ему штрих? — понял Климов. — Да? Грубый штрих. То, что ты делал — будто ножом провели? Что ты молчишь? Я же помню твои картины — где они?

Он посмотрел на стены. Черти ухмылялись. Сверкали ледяные глаза. Вольпер посмотрел туда же, удивляясь, точно видел впервые.

— Я никогда не писал картин, — надменно сказал он.

— Ты их тоже уничтожил? Ты ненормальный, — сказал Климов, — у тебя были отличные вещи.

— Запомни, пожалуйста, — сильно нажимая голосом, произнес Вольпер. — Я никогда не писал картин. Я никогда не был художником.

— У меня сохранились твои рисунки. Уголь и сангина.

Вольпер встал — маленький, как воробей, неумолимый. Скрестил ребра рук.

— У меня нет никаких рисунков.

Голос его поднялся до высоких нот и заклекотал по-птичьи. Он втягивал воздух раздутыми ноздрями.

Бронзовым оскалом, торжествующе, светился в углу мрачный, шестирукий Шива.

Рассаживались долго — двигали тяжелые, обшарпанные кресла, скорбно вздыхали и откашливались. У Печакина журавлиные ноги не помещались под столом, он елозил ими, его вяло урезонивали, он втягивал западающие щеки: «А что я могу? В карман прикажете положить?» — «Ну, осторожнее как-нибудь». — «Я их в карман не положу». Борих потирал мягкие руки, открыл портфель и ушел в него с головой. Климов тоже сел как деревянный, чувствуя подступающую изнутри дрожь. Ему сказали трубным голосом: «Позвольте...м-м-м...» Он суетливо встал. Сигилар, упираясь медвежьими руками, продавил кресло. Отдулся горячим воздухом, перекрыв все звуки, сказал: «Вот и сели». Достал клетчатый платок, промокнул лоб.

Больше свободных кресел не было. Климов занял единственный стул. Он, вероятно, предназначался как раз для него. Откусил заусеницу — скорей бы. «Зажгите свет», — не глядя, сказал Букетов. Никто не пошевелился. Климов подождал — обмирая, прошел к двери по скрипящему паркету. Сумрачный дневной свет смешался с электрическим — неприятно для глаз. «Что они делают? — с испугом подумал он. — Они же ничего не увидят. Нельзя смотреть при таком освещении. И стены розовые. Просто ужас. Невозможный фон...» — «Кгм!... Так что же?» — произнес Букетов. Лапиков, раскладывая бумаги, немедленно зашептал что-то таинственное. «А давай, давай», — голосом хорошо пообедавшего человека сказал Букетов. Печакин перегнулся к ним через стол. Все трое сомкнулись бутоном. Замерли. Поднимаемая живот, громко дышал Сигилар. Борих, как мышь, шурушал головой в своем портфеле. Климов осторожно ступал на стонущий паркет. Бутоном распахнулся. «Ха-ха-ха!» — вытолкнул из горла Букетов. Словно заколотил три гвоздя. «Ну ты уж это... Ну ты уж того...» — разгибаясь длинным телом, сказал Печакин. Довольный Лапиков подмигивал сразу обоими глазами.

— Кгм!... — сказал Букетов. Как обрезал. Посмотрел на разложенные бумаги. — Кгм!... Разве у нас что-то осталось?

— А вот есть еще история, — медным басом сказал Сигиляр. К нему немедленно повернулись. Борих вынул голову из портфеля.

— Отличная история... Как этот — ну, вы его знаете... Он пошел туда... Чтобы, значит, отвертеться... Не хотел на себя брать — ну, вы знаете... И там ему дали по морде... Хы... Да, история... Жуть берет. Вспомню, расскажу, — пообещал Сигиляр.

Несколько секунд все чего-то ждали. Потом вдруг задвигались.

— Еще одна работа, — деловым тоном сказал Лапиков. Пополз носом по листу бумаги. — Климов Николай Иванович, год рождения, член Союза с такого-то, картина размером и весом. Вес не указан. На тему — пейзаж, под названием — «Река Тихая». Масло. Изготовление — сентябрь этого года.

— Пейзаж — вещь подходящая, — одобрил Сигиляр. Шумно подул, сложив кольцом красные, словно без кожи, губы.

— А я думал, мы все обсудили, — недовольно сказал Печакин. Вытянулся, как циркуль, поднял острый подбородок.

— Нет, этот... Климов остался, — глядя в лист, сказал Лапиков.

— Но я определенно думал, что мы все обсудили, — Печакин искривил лицо.

— Да всего одна картина, — сказал Лапиков, не отрываясь.

— Ну так обсудим завтра, — сказал Печакин.

— Да тут на полчаса, — сказал Лапиков.

— А когда мы закончим? — кисло сказал Печакин. — Я за то, чтобы обсудить завтра. Валентин Петрович, Валя, как ты считаешь?

Букетов сердито шевельнул бровями:

— Надо развязаться побыстрее.

— Вот и я говорю, — сказал Печакин.

«Я сейчас уйду, — подумал Климов. — Просто встану и уйду. И хлопну дверью. Они, наверное, даже не заметят. И пусть делают, что хотят. Ну их — подальше». Он знал, что никуда не уйдет. Боясь выдать себя, зажал руки коленями, опустил голову. Паркет был малиновый, из квадратных шашечек, сильно затоптанный. Очень скучный паркет.

— Товарищи, давайте что-нибудь решать, — сказал Букетов. — Обсуждаем сегодня или переносим на завтра?

Сигиляр перестал дуть, набрал полную грудь воздуха и бухнул, как в бочку:

— Собрались — обсудим!

— Вениамин Карлович!

— Мне все равно, — вежливо сказал Борих из портфеля.

— Тогда сегодня.

— Ну как хотите, — недовольно сказал Печакин. — Только сегодня я не могу задерживаться.

— Климов, Климов... — вспоминал Букетов, глядя на Климова. Тот, ненавидя себя, мелко покивал, выдавил кроличью улыбку: они были знакомы. Букетов вспомнил и затвердел широким ли-

цом. — А почему посторонние? — Лапиков сказал ему что-то. — Ну так что, что автор? Есть порядок. — Лапиков пошептал еще. Ясно послышалось: «Сфорца». — А, ну тогда ладно, — равнодушно согласился Букетов. — Тогда будем начинать. Поставьте там, пожалуйста, — протянул руку с квадратными пальцами по направлению к мольберту. Климов было дернулся, но Лапиков уже откуда-то из узких, вертикальных, пронумерованных стеллажей достал картину, понес, водрузил как-то неловко — она вдруг соскочила. Климов зажмурился, заранее слыша удар о пол, треск разваливающейся рамы и невыносимый, бороздящий ногтями по живому сердцу звук перегибающегося полотна.

— Вот она, — сказал Лапиков, отряхиваясь.

Помолчали. Печакин выпятил тонкую губу, смотрел — сквозь. Лапиков, вернувшись на место, быстро-быстро заполнял лист ровным, убористым почерком. У Букетова было такое выражение лица, словно он увидел именно то, что ожидал увидеть.

— Реализм, — выдохнул Сигиляр.

Будто кирпич положил.

Опять помолчали. Из коридора доносились неразборчивые голоса.

— И все-таки лучше перенести на завтра, — сказал Печакин. — Что мы — в самом деле? Кто нас торопит? Как будто нет времени.

Климов не мог смотреть. Неужели это написал он? Розовато-серая тень пленкой легла на картину. Краски потускнели и смешались. Казались грязными. Словно рисовали половой тряпкой. Мазня какая-то.

— Это что? — спросил Сигиляр, неопределенно потыкав рукой в нижнюю часть полотна.

— Река, — не отрываясь от бумаг, ответил Лапиков.

— Ага, река, — Сигиляр был удовлетворен, — А вот это?

— Омут, — не глядя, сказал Лапиков.

— Уже понятнее. А тут что — навроде рояля?

— Куст.

— Кругом реализм, — заключил Сигиляр.

Выставил из креста толстые ноги в широких, мятых штанинах. Съехавшие носки у него были разноцветные — синий и красный.

— Минуточку внимания, — твердо сказал Букетов и постучал авторучкой о стол. — Прежде всего надо иметь в виду, что реализм — это правдивое и объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества. — Обвел всех стальным взглядом, особенно задержался на Климове. Встала невозможная тишина. Борих перестал шуршать в портфеле. «Угум», — независимо подтвердил Сигиляр. — Мы знаем, — сказал Букетов, — что реализм представляет собой генеральную тенденцию поступательного развития художественной культуры человечества. — Еще раз обвел всех неумолимыми глазами. Климов молча страдал. У Лапикова шевелились губы, он записывал. — Именно в реализме обна-

руживается глубинная сущность искусства как важнейшего способа духовно-практического освоения действительности.

— Ах, какой домик у Франкаста, — вдруг мечтательно сказал Борих, потирая белые, сдобные, как у женщины, руки. — Какой домик. Сказочный домик. Представьте себе — два этажа, с черепичной крышей, знаете — такая финская крыша, очень симпатичная, черепичка к черепичке. А галерея деревянная и сплошь отделана витражами. На тему распятия Христа. Между прочим, Национальный музей хотел их купить — эти витражи, но Франкаст отказался. — Борих почмокал, не находя слов. — И чудесный сад на три гектара. Целый парк, а не сад. Как в Версале. Беседки, пруды. Между прочим, в доме у него неплохой бассейн. И все это буквально рядом с Парижем. Он отвез меня на машине, меньше часа езды. Я смотрел его серию «Человек наизнанку», шестьдесят офортов. Завихрения, конечно. Он якобы отрывает сознание от самого себя и переводит его в мир немыслищей материи. Такая, знаете, психотехника. Это сейчас модно. Называется — психологическая компенсация безволия личности. Не наша теория. Я о ней писал — в прошлом году, в «Искусстве», в пятом номере. Но между прочим, у него в бассейн подается морская вода. И это, заметьте, под Парижем, можно сказать, в пригороде.

— Кгм! — сказал Букетов.

Борих закатил голубые глаза: «Ах и ах!» — скрылся в портфеле. Там зачмокал, зашуршал.

Букетов сказал веско, ставя слова забором:

— Там, где художественное творчество отделяется от реальной действительности и уходит в эстетический агностицизм или отдается субъективистскому произволу, там уже нет места реализму.

— Валентин Петрович, я не успеваю, — быстро сказал Лапиков. Ручка его бежала с сумасшедшей скоростью. «Где?» — спросил Букетов. «Вот тут: агностицизм». — «...или отдается субъективистскому произволу, — медленно повторил Букетов, — там нет места реализму».

Он посмотрел на картину. И все тоже посмотрели. Климов плохо соображал. На картине был вечер. Сумерки. Колыхалась темная трава. Ива, согнувшись, полоскала в воде длинные, упругие листья. Из омута торчала коряга. Небо было глубокое, с первыми проступающими звездами — отражалось в реке так, что казалось: течет не вода, а густой воздух — прозрачный, теплый и очень свежий.

— Где тут агностицизм? — раздавленным голосом спросил он.

Никто не ответил. Словно ничего и не было сказано.

— Бывал я в Париже, — нахмурясь, произнес Сигиляр. — В пятьдесят восьмом году. С делегацией, то есть... Ну — вы знаете... Там еще этот был... Не помню, как его... Скандалист... Он потом развелся... Жена его выгнала...

— Прошу прощения, — торопливым и высоким голосом сказал Печакин. — Это не имеет никакого отношения к делу.

— А вот верно, вместе с тобой и ездили! — Сигиляр обрадованно поднял руку, широкую, как лопата. — Ты еще за Колотильдой ухлестывал, а она тебе по щекам надавала прямо в гостинице... Хы!..

— Позвольте, позвольте! — возмущенно крикнул Печакин. Попытался встать, застрял под столом неразогнутыми ногами. Букетов и Лапиков враз посадили его, заговорили с двух сторон — настоячиво. Печакин вырывался, но не сильно.

— И правильно надавала, — сказал Сигиляр. — Колотильда — баба самостоятельная. У нее — во! — Он показал, что именно — во, отведя руку на полметра. — Ей здоровый мужик нужен, а не интеграл какой-нибудь!

— Позвольте!

— А что ей в тебе интересного — один позвоночник, — резонно заметил Сигиляр.

Печакин вырывался уже по-настоящему. Бился, как рыба в сетях: «Возмутительно!» — «Да будет тебе», — гудел Букетов, давя ему на плечи. «Я этого так не оставлю!» — «Да ладно». — «Нет, я в правление пойду, сколько можно позволять!» Лапиков хватал его за руки: «Ну успокойся, ну подумай: ерунда». — «Я в суд подам за клевету!» — «Ну все уже, все, — говорил Лапиков, — ну закончили. Валентин Петрович, скажи ему...»

— Кгм!.. Предоставляю слово.

Лапиков встал.

— У меня есть мнение, — сказал он. Покосился на Печакина, тот шипел, остывая. — У меня мнение. Нам показывают картину. Художник Климов. На картине нарисована река и деревья. Природа, значит. А вес не проставлен. Ведь сколько можно говорить, товарищи! Ведь уже тысячу раз говорили, что нужно проставлять вес. А все равно не проставляют. Вот художник Климов, который автор, он с какого года рождения? Не мальчик уже — пора бы понять. А если мы будем складировать? Или, скажем, погрузка. И в транспортных накладных надо указывать. Я это который год говорю, а толку никакого. Пора бы. И к тому же — член Союза. Должен соблюдать.

Лапиков сел.

— Совершенно согласен, — строго сказал Букетов. — Факт вопиющий. Как полагают члены Комиссии?

— Париж... — задумчивым басом сказал Сигиляр. — Один только раз и пустили... Да... Видел там Пикассо... Пабло, то есть... Ну — вы знаете... Ничего — хилый мужичок, а вот — художник... — Он окончательно задумался, так что пропали звериные глаза, надул щеки, почесал ступенчатый подбородок.

У Климова кружилась голова. Назойливо звенело в ушах. Что происходит? Голоса звучали, как сквозь вату. «Оскорбление», — говорил Печакин. «Да успокойся ты», — просил его Лапиков. «Я

все равно этого не оставлю». — «Да ерунда». — «И вообще я опаздываю». — «Подожди, сейчас заканчиваем». — «Не могу я ждать, у меня встреча с Мясоедовым». — «С каким Мясоедовым, с тем самым?» — «Ну, я не знаю, — вмиг погасшим голосом сказал Печакин. — У меня просто дела». — «Нет, уж ты, Костя, не темни, разве он приехал?» — «Ну, наверное... — промямлил Печакин. — Я толком не знаю». Букетов повернулся всем телом: «Приехал Мясоедов?» — «Вот Костя говорит, что приехал». — «Я ничего не говорю...» — «У тебя же с ним встреча». — «Не то, чтобы встреча...» — «Так приехал он или нет?» — сказал Букетов. Лапиков согнулся под его взглядом: «Ничего не известно». — «Хорошее дело, — сказал Букетов, — приехал Мясоедов, а тебе ничего не известно». — «В секретариате можно выяснить». — «Почему же ты не выяснил?» — «Его ожидали в будущем месяце». — «Так сходи и выясни. Хорошее дело: приехал Мясоедов, а мы сидим тут и непонятно чем занимаемся».

Ступая, будто в трясику, Лапиков пошел к дверям. Прикрыл беззвучно.

Букетов поднялся.

— Будут еще какие-нибудь мнения?

В тишине скрипнуло кресло.

— Вениамин Карлович!

— Мне все равно, — сказал Борих из портфеля.

— Кгм!

— У Репина вот — бурлаки, — напряженно подумав, сказал Сигиляр. — Они идут по реке. По Волге, то есть. И тащут баржу. То есть, на себе тащут. — Он тяжело вздохнул. — Кругом реализм.

— Это существенно, — сказал Букетов. — Репин — величайший художник. И мы будем постоянно черпать из его творческого наследия.

— Именно, — ерзая, сказал Печакин.

Букетов неторопливо посмотрел на часы.

— Что же, на мой взгляд, обсуждение прошло очень интересно. Возникла острая и принципиальная дискуссия, выявились различные точки зрения... Кгм!.. Но, к сожалению, представленная нам работа товарища Климова выполнена пока еще на недостаточно высоком художественном уровне. Автору был сделан ряд серьезных замечаний. Я думаю, он их учтет. — При этом Букетов посмотрел не на Климова, а в окно. — В заключение я хочу особенно подчеркнуть, что не всякое изображение внешних фактов может быть признано реализмом. Эмпирическая достоверность художественного образа приобретает ценность лишь в единстве с правдивым отражением социальной действительности.

Теперь он посмотрел на Климова.

— Так?

— Нет, — сказал Климов.

— Вот и хорошо, — сказал Букетов. — Тогда давайте решать. Вероятно, мнения у членов Комиссии в какой-то мере совпадают.

Сфорца был не виноват. Он этого не хотел. Он даже не знал об этом. Он никогда не ходит на Комиссию. Он и в этот раз не пришел. Они специально не сообщали ему. Они же его боятся. Он говорит то, что думает. Он сказал про Букетова, что тот не художник, а штукатур. И теперь Букетов его ненавидит. Печакин тоже ненавидит его. На всякий случай. Десять лет назад, когда Сфорца был еще никто, Борих назвал его убогим подражателем схоластическому западному модерну. И до сих пор не может простить ему этой своей ошибки. Они выжгли все вокруг него. Они никого к нему не подпускают. Чтобы были только они. Сфорца — и рядом они. Ты же ничего не знаешь. Зачем ты сунулся на эту Комиссию? Букетов представил новую работу. Работа дрянь, но он председатель Комиссии. И Сигиляр представил новую работу. Что-то о хлеборобах. Счастливые лица на фоне изобильных хлебов. Вечная тема. Неужели ты думаешь, что Сигиляр отклонит свою картину и возьмет твою. Так же никто не делает: пришел с улицы — подал. Нельзя быть таким наивным. Все было решено еще год назад. Борих уже написал три статьи о будущей экспозиции. Он всегда пишет заранее. И не смей думать, что это Сфорца. Я вижу, что ты — думаешь. Не смей! Он тут ни при чем. Я тебе запрещаю!

Она сказала:

— Ты его совсем не знаешь. Зачем ты говоришь, если не знаешь? Почему вы все судите, ничего не зная о нем?

Сигарета догорела до фильтра. Она ее бросила. За соседним столиком оглянулись.

— Очень громко, — сказал Климов.

Она нагнулась вперед. Кулон в виде паука, охватившего серебряными лапами темно-красный рубин, звякнул о чашку.

— Я бы кричала. Если бы хоть кто-нибудь услышал.

Циркнула спичкой. Спичка сломалась. Климов с усилием вытащил коробок из ее побелевших пальцев. Зажег. Она прикурила так, что пламя ушло внутрь сигареты. Проглотила дым.

— А ты по-прежнему не куришь?

— Нет.

— Бережешься?

Тон был неприятный.

— Берегусь, — сказал Климов.

— Молодец, будешь жить долго.

— Художник обязан жить долго, чтобы успеть сделать все, что он хочет сделать.

Она прищурилась, пробуя сказанное на язык.

— Придумал, конечно, не сам?

— Конечно.

— Все так же надеешься на признание к концу жизни.

Климов пожал плечами.

— Напрасно надеешься, — сказала она. — В тебе нет искры. Я ведь в этом понимаю.

— Искры?

Она неопределенно повела узкой рукой.

— Ну — такого... От чего начинается пожар. И головы идут кругом. Словами не объяснишь. Это либо есть, либо нет.

— А если я сейчас уйду? — помолчав, сказал Климов.

— Не уйдешь. Лучше принеси еще кофе.

— Это — шестой...

— Неси-неси. Я не собираюсь жить долго.

Очередь была два человека. Продавщица поглядывала на него с любопытством: они сидели больше часа. Климов хотел есть — он не завтракал. В морозной витрине лежали бутерброды с твердым сыром и ядовитый сиреневый винегрет. За прилавком, на дырчатом подогреваемом подносе горой были навалены сардельки. От них поднимался пар. Пахло крахмалом. Как в прачечной. Решиться было трудно. Климов взял два кофе и, поколебавшись, шоколад.

Она курила, выпуская в потолок струю дыма. Сразу же обхватила чашку просвечивающими пальцами: холодно, — поправила пальто на острых, зябких плечах. Отодвинула шоколад.

— Не ем сладкого. Ты же знаешь.

— Я себе, — сказал Климов.

Разгрыз коричневую каменную плитку. Шоколад был горький.

Кафе находилось в подвале. Немытое окно, забранное толстой решеткой, едва высывалось из тротуара. За треснувшим стеклом безостановочно ходили ноги — в ботинках и в сапогах, потом опять в ботинках и опять в сапогах. Казалось, что людей нет: бесчисленные ноги — от ступней до колен — как заведенные, самостоятельно разгуливают по городу.

— Эту экспозицию повезут в Англию, — сказала она. — По культурному обмену. Я скажу Сфорца. Он позвонит в Комиссию и тебя возьмут. Они побоятся с ним ссориться.

У Климова плеснул кофе.

— С ума сошла, — сказал он.

Она беспощадно улыбнулась.

— Ничего, время от времени их следует ставить на место. Пусть помнят: без Сфорца они ничто.

Климов выпрямился.

— Мне с барского плеча не надо.

— От него не примешь?

— Нет.

— Гордость — оружие нищих, — процитировала она. — Денег ты тоже не взял.

С откровенной насмешкой оглядела его сильно потертое пальто. Верхняя пуговица болталась, грозя отлететь. На рукавах просвечивали белые, разрезающиеся нитки.

— Ты видела мою «Реку»? — резко спросил Климов.

— Ты так и не женился? — сказала она. — Тебе надо жениться. Все будет иначе.

— Ты обязана ее посмотреть.

— И еще тебе надо устроиться на нормальную работу. Например, оформителем. Хочешь, я найду? Твердый заработок и все прочее...

— Не лезь в мои дела, — с тихим бешенством сказал Климов. — Я тебя прошу — раз и навсегда.

Она покивала — ладно.

Да, она, конечно, видела картину. Это хорошая картина. Может быть, действительно лучшая у него. Нет, она ничего не забыла. Дом был старый. Бревна в три обхвата: в дождь они пахли гниющим деревом. И крыша — латаная-перелатаная. Там не было электричества. Оказывается, еще сохранились такие места, где нет электричества. Хотя — сама хозяйка не хотела. Да, она помнит хозяйку — такая смешная старушка, перевязанная платком. Девяносто лет. Ей предлагали провести электричество, а она отказалась. Хотела, чтобы все было, как прежде. Многие не хотят перемен. Я тоже не хочу перемен. И умывальник был во дворе. Бр-р-р... Выбегали к нему утром, в рассветный холод. Хозяйка сама носила воду — за километр. В девяносто лет таскала полные ведра. А вода была невкусная — очень пресная, отдающая железом. От нее скрипели волосы. Темнело рано, и вечерами сидели при керосиновой лампе. В наше-то время. Где она только доставала керосин. Сначала нравилось — этакая таинственность, полумрак, погружение в прошлое. Но как надоело потом. Безумно надоело. Этот тусклый и вечно колеблющийся свет. Нельзя пройти по комнате — длинные тени начинают плясать по стенам: стекло в лампе разбито. Невыносимо раздражало. Невозможно читать, даже смотреть трудно — болят глаза. Удивительно, как это писали при свечах. Река была рядом, через луг. Напрасно он поменял название. Соня — гораздо лучше. Конечно, не в смысле женского имени, а — сонная, ленивая. Она ела текла. Омуты были подернуты ряской. Но вода не коричневая, как в болоте, а прозрачная до самого дна. И дно чистое, песчаное. Из омута действительно торчала коряга, черная и скрюченная, будто рука водяного. Может быть, здесь и водились водяные, могли же они где-то сохраниться. Почему бы не здесь? Место подходящее. За день вода прогревалась и вечером была как парное молоко. Но прозрачная. В самом деле похоже на густой воздух. Не хотелось вылезать. Она сказала: «Только не надо подробностей. Я тебя очень прошу — без подробностей». Да, она помнит. Была ночь, и звезды, как сливы, сияли в воде. И плавала луна — в черноте, под самой ивой. Будто неведомая рыба. А на лугу колыхала серебряными метелками сухая, высокая трава. И был от нее сладкий запах. И одурение. И если лечь на спину, то небо казалось звездной рекой, текущей в темных, загадочных, древних, травяных берегах. Жалобно и протяжно кричала какая-то птица, и от крика веяло ночным одиночеством. И поверху трав полз слабый ветер, и шелест его был как заклинание на священном, жестоком, давно умершем языке.

Она допила кофе, посмотрела на дно. Подняла на Климова ясные глаза.

— Этого никто не поймет. Только ты и я. Больше никто.

— И пусть, — сказал Климов.

— Ты же не можешь писать для меня одной, — сказала она.

— Могу.

Он знал, что — может. И она знала. Поставила вдруг задрезавшую чашку:

— Не бойся. Это не больно.

— Иди ты к черту, — сказал Климов.

— Честное слово. Ты даже ничего не почувствуешь. Я пробовала. Я сразу отдала ему все, что умела. Это вроде гипноза. И никаких последствий. Все-таки Сфорца — врач.

— Врач?

— А ты не знал? Он психиатр в прошлом. Отличный психиатр. Не бойся. Будет просто легкий обморок. Потеряешь сознание минуты на три, на четыре — всего один сеанс.

— А потом я повешусь, или сойду с ума, или стану инженером.

Она очень аккуратно погасила сигарету, посмотрела в окно на безостановочно ходящие ноги.

— Ну и подумаешь. Из тебя получится неплохой инженер.

В самом деле. Что тебе терять? Ты не художник. Ты, наверное, сам это знаешь. Сфорца и не покупает художников. Зачем ему чужое мироощущение? Он покупает только ремесло. Технические навыки. Ты умеешь делать небо. И ничего больше. Ладно. Он покупает твое небо. Вольпер делал хороший штрих и не чувствовал цвета. Ладно. Он купил его штрих. Посмотри, что из этого стало: он написал «Бурю». Я отдам вас всех за один мазок на этой картине. Он не крадет. И не пользуется чужим. У него просто нет времени. Он поздно начал. Ему бы начать на десять лет раньше. Он работал врачом. Он был изумительным врачом. К нему записывались за год. Ему платили любые деньги. Потому что он вытягивал самые безнадежные случаи: полных идиотов — из мрака, из хаоса, из ниоткуда. У него был метод. Совершенно неожиданный. Никто даже не подозревал, что можно подойти с этой стороны, а он подошел. У него десятки статей. Он мог защитить докторскую — по совокупности. Ему давали клинику. Ты не смотри: он старый. Он просто молодо выглядит. Когда он пришел к Ялецкому, ему было уже тридцать семь. Он следит за собой. Потому что художник должен жить долго. Чтобы успеть. Ты прав. Вернее, не ты, а тот, кто сказал. Ведь какая мука — не успеть. Знать, что — можешь, и упасть с разорванным сердцем за какие-то метры до финишной ленточки. Он всю жизнь хотел писать. У него были способности. Так сложилось, что он пошел в медицину. И завязалось тугим узлом — намертво. Потому что там — люди. И они должны жить. Он не мог уйти. Кем это нужно быть, чтобы взять и уйти от больных, которые даже не понимают, что они больные — чувствуют мир по кусочкам, цепенеют в ужасе, если раздастся громкий

звук, или по-детски восторгаются при виде горящей спички. Когда он, наконец, вырвался, ему было тридцать девять. Ты этого не поймешь — в тридцать девять лет начать жизнь с нуля. Гоген стал писать в тридцать пять. И успел. Хотя мы не знаем. Может быть, как раз не успел. Не сказал главного. И, погибая на крохотном острове, посреди океана, под яркими южными звездами, в смертной тоске, галлюцинируя, видел это несказанное — единственный из всех людей на Земле знал, что уносит с собою целый мир, который уже никто не увидит никогда больше.

Она взяла Климова за руку. Сильно ждала. Заглянула в глаза.

— Я прошу тебя. Отдай ему небо. Я тебя никогда ни о чем не просила. Сколько тебе нужно? Скажи любую цену. Деньги не имеют значения, только — время. Он к ним равнодушен. Он все оставил семье. Он два года работал дворником и жил в тесной комнатухе. В закутке. В четыре утра он поднимался и сгребал снег с тротуаров, а потом писал до полуночи. Окоченевшими пальцами. У него суставы распухали. Ему до сих пор больно сгибать. Но через два года он понял, что не успеет. Постановка техники съест у него десять лет. А у него не было десяти лет. И он не хотел тратить целый год, чтобы овладеть каким-то штрихом. Он хотел получить его сразу, за полчаса. Потому что не штрих определяет. И не твое небо. Главное — что сказать. Он покупает у вас, потому что вам сказать нечего. Ну как бы у ребенка отбирают счетную машинку: ребенок ломает и бросит, а взрослому пригодится. Ведь все равно пропадет. Что ты сделал за три года, как мы расстались? Две картины? Вы растрясете, размельчите, разболтаете. Боже мой, сколько вы болтаете! Что-то ненормальное. Лавины, водопады болтовни! Не его вина, если потом вешаются или уезжают. Его не касается. Он изгоняет посредственность. Всех тех, кто умеет только болтать. Потому что жить невозможно — сколько посредственности. Стоит у горла, как мыльная пена. Кричит — требует признания, места и своей доли восторга. Он не может уничтожить Букетова. Ему не по зубам. Но он хочет, чтобы не выросли еще десятки таких же. Он жесток. А кто не жесток? Это справедливая жестокость. Делай или уходи. Другого нет. — Она сказала умоляюще: — Отдай ему небо. Я тебя прошу. Он же с ума сойдет. Он уже сумасшедший. Все художники сумасшедшие. Ты, например. Но ты какой-то очень скучный сумасшедший. А у него есть та самая искра безумия, которая превращает простое рисование в искусство. Я прошу тебя. Он второй месяц не спит. Он портит по десятку холстов в день. Он учится писать такое же небо. У него астения. Он уже ничего не видит. За это время он мог бы написать четыре картины. Я прошу. Пока не поздно. Потому что он научится — через месяц, через год, через пять лет, но он научится, и вот тогда ты уже не сможешь сказать: «Это сделал я», — потому что ничего твоего там уже не будет.

Продавщица лениво вышла из-за прилавка. Перевернула на

дверях табличку. Выразительно посмотрела на них, скрестив руки.

Кафе опустело. Они были одни.

— Я не знаю, как он это делает, — сказала она. — Он, по моему, и сам не понимает до конца. Какие-то прежние навыки. Он редко прибегает к этому. Но я тебе обещаю. Он сохранит то, что у тебя было. Лучшую часть тебя.

— Обед, — протяжно сказала продавщица.

Она испуганно оглянулась — забывшись. Климов перехватил ее ладонь.

— Поедем ко мне.

— Что?

— Поедем ко мне. Только один раз. И больше никогда.

Брови ее изумленно поползли вверх. Она вырвала руку. Встала, начала застегивать пальто. Пуговицы не пролезали.

— Тебе нужно мое небо? — противным голосом сказал Климов.

Ему мешала внимательная продавщица.

— Не говори глупостей, — быстро и холодно сказала она. — Я — замужем.

Дребезжала железная крышка над дверью. Она была не закреплена. Подходя к тротуару, автобус сильно кренился набок. Кажалось, опрокинется. Шаркал шинами о бровку, надсадно бурчал. Климова втиснули в самый угол. Руками он мог пошевелить, а телом — нет. Как жук на булавке. Чья-то зимняя шапка лезла в лицо затхло пахнувшим мехом. Приходилось отворачиваться, напрягая шею. В заднем окне, вибрируя, отъезжали морозные дома — верхние этажи, тронутые рыжим утренним солнцем: улица была узкая. Разрезанное проводами, сияло промытое небо. Окна под крышами ослепли от его неистовой осенней голубизны. Растопыренная ладонь просунулась между головами и уперлась в стекло. Прямо в синеву. Неестественно изогнувшись, побелела у основания. Как ручьи в половодье, вздулись темные, малиновые вены. Климова передернуло. Неужели у него когда-нибудь будет такая же безобразная ладонь? И кто-нибудь вздрогнет, заметив ее разбухшие, ветвистые вены? Надеюсь, до этого не дойдет. Надеюсь, я умру раньше. Я просто не смогу жить с такими руками. Толстые, уверенные пальцы, готовые содрать небесную синь, как полиэтиленовую пленку, и прямоугольные ногти, которыми можно резать металл.

Он закрыл глаза, чтобы не видеть. Автобус трясло. Вокруг происходило душное вращение тел. Кто-то продирался к выходу, работая локтями, кто-то возмущался ночным еще, несвежим голосом.

Нагретый воздух уплотнялся и мелкой влагой оседал на стенки.

У Сфорца не было копий своих работ. Он не делал копий. Его мастерская вообще не походила на мастерскую. Обычная комната — круглый стол, стулья. Только вместо одной стены окно — от пола до потолка. И висит гобелен — «Смерть и всадник».

Струит истонченную временем благородную блеклость. Климову немедленно захотелось написать так же. Чтобы краски на полотне были как бы тенями друг друга. Он увидел себя в зеркале — бледный и угрюмый человек напряженно озирается, сгорбившись и засунув кулаки в обвислые карманы пальто. Сонные волосы у него встрепаны, а лицо одновременно презрительное и завистливое. Жалкое лицо. Блестят голодные глаза. Вышел Сфорца в атласном халате с широкими отворотами. Климов с ненавистью уставился на красный, блестящий шелк, буркнул вместо приветствия: «Я — посмотреть». Сфорца кивнул так же неприязненно: «Пожалуйста», — отдернул штору. Было две картины на голой стене. Всего две. В знаменитых черных рамах. Дух захватывало от этих картин, пустело в груди, ныли сжатые руки и страшно было подумать, что это сделал — он. Избегая смотреть, Сфорца зажег трубку, затянулся, как палец поднял янтарный мундштук в тягучих колечках дыма. «Вот». На обоих полотнах не было неба. Совсем не было. Сфорца даже не пытался его писать, оставил грунт — белый и раскаленный.

— Выходите? — спросили в ухо — далеко, из другого мира.

— Нет, — сказал Климов, не открывая глаз.

Мимо грузно протиснулись. Он почувствовал пружинящие ребра. Посоветовали: «Спать надо дома».

— У себя на огороде командуй, — грубо ответил Климов.

Зашумели, заговорили — всем автобусом. Климов молчал. Он был неправ. Он видел сейчас две черные рамы и белый грунт. Да, он может. Он допишет небо, и это будут прекрасные полотна. В сущности, какая разница, чье имя поставят внизу, на медной табличке. Это ведь никого не интересует. Важен результат. Если бы мне сказали: ты будешь писать необычайные вещи, миллионы людей найдут в них себя и сохранят это найденное всю свою жизнь, но никто никогда не узнает, что писал их ты? Что бы ты сделал? Если твое имя никому не будет известно? «Что бы вы сделали?» — сухо спросил Сфорца. «Не знаю», — невнятно сказал Климов. Сфорца впервые посмотрел на него — внимательно; складка легла меж орлиных бровей: «А я бы сказал — да». Отвернулся к окну, окутался клубами синего дыма.

После автобуса воздух на улице был очень чист — как родниковая вода — и очень холоден. Жухлая, затоптанная трава на газонах была обметана инеем. Рыхлое солнце не могло растопить его. Климов остановился с размаху — куда, собственно? Домой — невозможно. У него была длинная и узкая комната с одним окном. Окно выходило в стену соседнего дома. Всегда был полумрак. И всегда желтой грушей светила лампочка на голом проводе. Крашенный пол, полинявшие, в пятнах, обои. В такой комнате можно было умирать — в тоске и безнадежности. Жить там было нельзя. Он сунул мерзнущие руки в пальто и выдернул, наткнувшись на бумажную пачку. Как он мог забыть? А ведь забыл. И еще что-то забыл. Очень важное. Что-то — совсем недавно. Там, в автобусе.

Конечно — руки на стекле. Климов повернулся и, торопясь, пересек улицу — почти бежал. Оттопыренный карман жег, словно туда насыпали углей. Дыхание вырывалось паром.

Мастерская находилась под самой крышей. Большая и гулкая. К счастью, там никого не было. Удивительно повезло. Остро пахло красками и скипидаром. На давно неметеном сером полу лежали бледные квадраты солнца. Посередине, где освещение было лучше, сгруппировались четыре мольберта.

Валялись какие-то ботинки, тряпки, окурки, разодранные джинсы, которыми вытирали краску.

Это, конечно, не у Сфорца, но для нас сойдет. Климов стягивал пальто. Только бы никто не пришел. Придут и помешают. Оборвалась пуговица. Пальто упало на пол. Нетерпеливой рукой он взял кисть. Кончик ее дрожал. Разбегаясь глазами, искал нужный цвет, макнул — положил на холст. Пятно возникло грубо и бесформенно. Комком — как загустевшая кровь, как глубоководная каракатица. Секунду он смотрел остановившимися зрачками. Бросил кисть в полотно.

Кровавый отпечаток потек по холсту. Кисть покатилась, оставляя за собой малиновые капли.

Все было не так. Нужен был другой фон. Голубой. Слепой белый грунт разваливал оттенки. Как у Сфорца — в траурных рамах. Климов остервенело сдирал его шпателем. Нужен чисто-голубой. Осенний. Мерзлый и хрупкий цвет. Должно быть ощущение твердости его. Как у хрусталя — прозрачная, звенящая фактура. И на голубом фоне — руки. Те руки, с малиновыми, густыми венами, которые он видел в автобусе. То есть, конечно, не руки, а листья. Багряные листья кленов. Просвечивающие будто под рентгеном. И в опалесцирующем свете их — старческая паутина черных, сухих прожилок. Хрустальное, голубое небо. И подагрические, напитанные морозом, ломкие ветви. Пылающий багряный цвет — последний день осени, последний день жизни. Предсмертная вспышка сил. И никакого воздуха. Воздуха быть не должно — очень ясные, режущие линии. Хрусталь и багрянец. Как там — «багрец и золото». Багрец и голубой хрусталь.

Климов оторвался. Отошел — на пьяных ногах. Упал на стул. Дышал прерывисто. Сквозь стеклянную крышу мастерской было видно небо. Высокое — горной синевы. И часть этого неба появилась на полотне. Точно такая же. Нет, не такая же. Лучше.

Неровными толчками билось сердце. Пусть Сфорца попробует сделать что-либо подобное. Пусть попробует — великий и неповторимый. Художник щедрого таланта и большой человеческой души. Глубокий мыслитель и пронзительный творец. Дерьмо собачье. Ростовщик. Благодетель нищих. Пусть попробует. Только — сам. Не покупая часть чужой души, а сам — своими руками. Как он видит.

На заляпанной тумбочке стояла чашка кофе. Холодного, еще вчерашнего. Климов отхлебнул коричневой гущи. Медленно жевал

терпкий, вяжущий осадок. Была вялость и огромная пустота. Опустошенность — состояние выжатого лимона.

Один талантливый художник лучше десяти посредственных, сказал Сфорца. Крупницы золота не должны быть погребены в тонах глухого песка. Они там не видны. Он, вдруг постарев, сел, больной и бесконечно усталый. Обвисли щеки, опустились углы губ, глаза оплелись морщинами. «Кто-то должен промывать пустую породу. Сколько великолепных картин погибло не родившись, потому лишь, что черты их были рассеяны по громадному множеству бездарных полотен. Я даю людям то, что без меня они бы ни за что не получили».

Кофе кончился. Климов поставил чашку. Заметил валяющееся на полу пальто, отряхнул.

Правый карман оттопыривался. Он достал оттуда пачку денег. Взвесил на ладони. Пачка была приличная. Аванс. Цена крови. Коричневые бумажки, казалось, излучали тепло. Он еще никогда не имел сразу столько денег. Бросил пачку на тумбочку, в свежую краску. Зеленая запечатанная лента лопнула, посыпались ассигнации.

— Не подниму, — подумал Климов.

Отошел к окну. В теле была слабость. Как всегда после работы. За окном виднелся неприветливый город. Редкий ночной снег, оледенев, серебрил крыши. Вдали, в легком тумане, угадывалась серая гладь залива. Тянулась оттуда запоздалая, колеблющаяся нитка птиц.

«Это и есть вы, — сказал Сфорца. — Вы сами. Просто фамилия другая. Я не требую тайны — рассказывайте кому хотите. Главное — работа. Ведь мы пишем не для себя. Во всяком случае, не только для себя».

Климов оглянулся на мольберт. Небесный цвет был хорош. Он был хрупок и холоден. Разумеется, это будет бульвар. Тот самый, что у павильона. Будет каменная, промерзшая за ночь земля, будут лужи, темнеющие первым, еще не раздавленным льдом. На асфальте выступит изморозь. Люди будут сутулиться и поднимать воротники. Климов видел, как проступают их съезжившиеся фигуры в нижней части полотна.

Это будет отличная картина. Он знал, что никогда не напишет ее. Стоит прибавить хотя бы один мазок к уже сделанному, стоит пунктиром наметить хотя бы одну линию — и сразу же небо потеряет глубину, станет плоским, как доска, выкрашенная голубой масляной краской. Живой, осенний цвет истончится до паутинности и застынет — мертвенно-неподвижный, натужный, искусственный — будет кричать о том, что могло бы быть, и чего, к сожалению, нет и никогда не будет.

— Это все равно, что писать только первую главу романа, — сказал он вслух.

В мастерской Сфорца висели картины без неба. Сумрачные дома и над ними — жаркий, белый грунт. Пирог без начинки. Боль-

но было смотреть на них. Эти картины уже не будут окончены. Они не выйдут из мастерской. Их никто не увидит. Словно ребенок родился и умер в один и тот же день.

Климов подумал. Нехотя подошел к мольберту. Деньги прилипали к подошвам. Еще подумал. Поколебавшись, выбрал плоскую кисть, взял на нее черной краски и сверху, ровными полосами, начал замазывать холст — плотно, без единой щели.

Потом он аккуратно положил кисть и посмотрел, склонив голову набок. Мольберт жирно блестел, как копировальная бумага. И ничто не пробивалось из-под этой густой и радостной черноты. — Я же не могу всю жизнь писать одно небо, — сказал он.

Всего было пять картин. Они висели вместе, в огороженной части зала.

Климов поднимался в четыре утра, с закрытыми глазами пил чай на темной кухне, шатаясь от слабости, спускался в ледяную ночь — брел через весь город к павильону под слабыми сиреневыми фонарями. Транспорт еще не ходил. Шаги отдавались в пустых подворотнях. Редкие машины упирались фарами в его согнутую фигуру.

Он шел по бульвару, где скорченные деревья царапали под ночным ветром звездное небо, пересекал пустынную мостовую и поднимался по широкому белым ступеням.

Павильон в это время был еще темен. Высокие двери заперты. Он всегда приходил первым.

Обнаженные статуи по бокам здания, в белизне своей выхваченные из темноты прожекторами, как люди, замерзали в неестественных позах.

Климов прислонялся к дверям и, подняв воротник, глубоко упрятав руки в карманы негреющего пальто, ждал. Короткие карнарежные машины изредка тормозили, оглядывая его.

В семь часов являлся служитель в дубленке. Совал в скважину обжигающие железом ключи. Буркал: «Проходи», — Климов, стуча зубами, вваливался в теплое нутро вестибюля, лихорадочно дрожа, прислонялся к горячим батареям, впитывая их резкое, долгожданное тепло.

Потом доставал скомканную десятку.

— Ненормальный, — бормотал служитель.

Десятка исчезала.

— Это сделал я, — беззвучно говорил ему Климов.

— Ненормальный.

Служитель зажигал свет. Отпирал выставочные залы. Климов, повесив пальто в пустой гардероб, сразу же шел сквозь всю анфиладу, к огороженной стене, — замирал напротив.

В одиннадцать большие помещения заполнялись тихой, несуетливой толпой. Климова обступали. Теснили — просили подвинуться. Он стоял, сжав тонкие губы. Его о чем-то спрашивали. Он не обращал внимания.

Времени не существовало.

Он стоял до закрытия. Не сходя с места. Молча и упорно. Держа веревку ограждения побелевшими пальцами.

Дежурные его не беспокоили — была просьба Сфорца.

Серый дневной свет шел из высоких окон. Небо над городом было затянуто тучами, уже распухающими от сухого, колючего снега.

Вера Кобец

СУДЬБА ВЕДЕНЕЕВА

Ночью мне показалось, что я проснулась от грома. Грохнуло и оборвалось, потом еще раз, еще. Наконец, стало понятно, что это стучит подоконник. Наружный. Приподняв голову, я разглядела, как поднялся лист железа, а потом стукнул о каменный выступ, стукнул не просто так — с бешеной, к разрушенью стремящейся силой. Неровен час, оторвется, — подумала я, — да и прохожего по голове. Я вдруг увидела, как, подняв воротник, торопливо бежит между двух луж человек в длинном темном пальто и в галошах. Так одевались лет тридцать назад, когда я впервые запомнила странное слово «прохожий». В альбоме, на первой странице, была тетя Валя, веселая и молодая, в берете. Рядом деревья, а в уголке — высокий мужчина в шляпе и в длинном пальто. «Это кто?» — «Как кто? А... Это прохожий. Он попал в кадр случайно». Случайно попал и живет в нашем альбоме. Живет в нашем альбоме, но мы про него никогда ничего не узнаем. Прохожий. Мне очень хотелось получше его разглядеть, но это не удавалось: на фотографии была только спина. Грохнуло снова. Я встала, прошла к окну, посмотрела на улицу. Дождь барабанил по лужам, деревья мотало, скамейка блестела под фонарем. И еще пахло намокшим пальто. Полузабытый, давно исчезнувший запах. Зонтики, что ли, его уничтожили? Или метро? Ведь сильнее всего запах намокших пальто ощущался в трамваях. Сивушный, тяжелый, тоску нагоняющий запах. Молчание, теснота, серый ватник кондукторши с орденским иконостасом из разноцветных катушек. «Цзинь», — дергает за веревку кондукторша-командир; сигнал к отправлению подан, и вагон медленно пробирается дальше по темным ноябрьским улицам, подслеповато моргая рядами прямоугольников-окон. Трамвай пробирается к своей цели — к кольцу, — и пассажиров в вагоне становится меньше и меньше. Только что — теснота, и вдруг сразу пусто. Привычно и равнодушно глядят друг на друга два ряда желтых скамеек, на них чернеет всего три пятна: закутанные в платки бабка с внучкой, девушка с худеньким синеватым лицом, какой-то мужчина с портфелем. Мужчина сидит, опустив на грудь голову, черные поля шляпы бросают тень на лицо, и кажется, что лица нет. Человек-невидимка, — бросаю я раздраженно, — а, впрочем, не много ли чести? Скорей всего, просто-

напросто человек в футляре образца сорок девятого года. Я говорю это, наверное, слишком громко: мужчина слышит меня и оглядывается. Какое-то время мы молча рассматриваем друг друга, и наконец я, не веря еще себе, узнаю Веденева.

Раньше я знала его хорошо только в двух ипостасях: быстрым в движениях стройным светловолосым юнцом с цепким взглядом и стариком в кресле, с ногами, укрытыми пледом. Полвека, во время которых молодой человек превращался в благообразного старца, были как кадры подпорченной киноплёнки, рвущейся во всех важных и интересных местах. Я знала, что выехав — и неожиданно — из витражного дома, он жил на Васильевском острове, где-то у Малой Невы. Сырость двора-колодца я ощущала отчетливо, видела и силуэт Веденева, два раза в день проходившего подворотней. Все остальное было в засветке. Реальностью, фактом был только рассказ «Сизиф», появившийся осенью двадцать девятого года. Рассказ был страшный. Когда я дочитала его до конца, руки дрожали и красные пятна прыгали перед глазами. Похоже было, что тогда, в двадцать девятом, рассказ не отметили, но почему так случилось, оттого ли, что он не понравился, или оттого, что журнальчик был очень уж несолидный, выходил крошечным тиражом, а по какой-то случайности номер с «Сизифом» и вовсе не состоялся, и отпечатано было всего лишь несколько экземпляров, сказать было трудно. Когда я попыталась выяснить что-то у самого Веденева, он отмахнулся с усмешкой: «Ну какой может быть результат, когда речь идет о Сизифе?» И мне пришлось отступить, так же, как приходилось и раньше, ну, например, когда очень хотелось узнать, как Веденев попал в архив и почему просидел там всю жизнь. Были ведь и другие возможности. Это я знала. Знала, что приходил к нему с предложением сам Сухоржевский, специалист по Жуковскому-Дельвигу. Сцену свидания Веденева с Андреем Никитичем Сухоржевским я всегда вижу очень отчетливо. Учитель — шляпа, трость, пелерина (было в нем много декоративного, и он в себе это пестовал и любил) — и ученик, все еще быстрый в движениях, хотя лицо пожелтело и волосы поредели, сидят в грязноватом архивном «предбаннике» друг против друга, по разные стороны грубого, исцарапанного, чернильными пятнами испачканного стола. Учитель говорит длинно, красиво и бархатисто. Мимика, жесты его убедительны, но слов не слышно. Звук, звук! Но черт-механик заснул, наверно, и я никогда не узнаю, что же сказал Сухоржевский, и что же ответил ему Веденев, и буду поэтому только гадать, строя нелепые предположения, почему, когда кончен был, наконец, разговор, мой герой, вставши со стула одновременно с профессором Сухоржевским, как будто и не заметил протянутой на прощание белой холеной руки, а быстро, решительно наклонил голову (руки по швам) и шелкнул как-то подчеркнуто вежливо каблуками. «Душенька, это дешёвая мелодрама», — сказал как-то раз Веденев, когда я изложила ему свою версию. «Что же поделать, когда вы вели себя, как в мелодра-

ме», — отрезала я. В последние месяцы мы с ним нередко пускались в какие-то кухонно-раздраженные перепалки. Время, когда я смотрела благоговейно на этого старца с трагически-горькой судьбой, кануло, увы, в Лету, и я теперь стала бесцеремонной, назойливой, въедливой, но, к сожалению, это не очень-то помогало. И потом, были вопросы, которые все же я не решалась ему задавать. В первую очередь о жене. Она не должна была появиться. Ведь он считал: одиночество — это путь к Книге. Книга — суть, смысл его жизни. И все же жена была. Я ее не придумала. Она сама появилась в загроможденной и темноватой, но, в общем, уютной комнате на Васильевском. Пришел ли сюда уют вместе с ней? Не знаю, ведь раньше я видела Веденева только на улице, когда он проходил подворотней. Теперь, с появлением жены, ритм и темп его жизни переменялись. В движении я его больше не видела. Видела, как он сидит за столом — спиной к комнате. Именно в эту пору у него появилась привычка, читая, поигрывать машинально слоновой кости ножом. Рукоятка ножа была в виде головы льва. Лев был роскошно-кудрявый и улыбался. А жена Веденева, наоборот, была грустной (печальной? угрюмой?) и вечно куталась. Без шерстяного платка на плечах я ее никогда не видела. Платок, безусловно, вызывал жалость, но все же симпатии к этой женщине у меня не было, и грызла мысль, что, может быть, и она виновата в том, что работа так странно застопорилась, и пачка живых листов превратилась — или же постепенно начала превращаться — в бумажный хлам, годный только для печки. И все-таки Веденев не сжег свой роман. Листы погибли, когда разбомбило квартиру. Женщина умерла еще раньше от голода, и Веденев остался совсем один, и прожил еще тридцать лет, и стал старцем с вольтеровски тонкой улыбкой, живущим в светлой квартире в большом новом доме, напротив приятного сквера. Как он попал сюда? Где он был раньше? «Здесь, — отвечает мне Веденев сорок девятого года. — Можете все осмотреть, хотя осматривать нечего». Я озираюсь. Хозяина комнаты нет, но сейчас это неважно. В трамвае я его хорошо разглядела, увидела нос крючком (ни в молодости, ни в старости он таким не казался), прямую линию рта, которая изогнется потом в улыбке-усмешке, морщины, четкие и почти щегольские, на лбу, на щеках. Его лицо кое-что мне сказала. Осмотр жилища может дать больше. Так, что же я вижу? Голые стены, тени на потолке, железную спинку кровати. В углу стоит кухонный стол, и на нем керосинка. У окна, очень высокого, шелевидного, втиснут еще один стол, и на нем папки, книги. Посередине — листок бумаги, придавленный пресс-папье. Пресс-папье мне знакомо так же, как мне знакомы костяной ножик с головой льва и чернильница. «Но ведь ваш дом разбомбило. Как же могли уцелеть эти вещи?» — «Такое случалось», — медленно, будто подумав, говорит Веденев. «И значит, Роман спасся тоже?» — «Нет, — он вздыхает, но вздох звучит подозрительно и фальшиво. — Все было завалено штукатуркой. И похоронено». Глупо, нелепо, логики в

этих словах ни на грош, но я понимаю, что он ни на шаг не отступит он второпях брошенной версии. Он сидит, положив ногу на ногу, на табуретке. Его глаза кажутся мертвыми, и он весь неподвижен. Я жду, почему-то я абсолютно уверена, что он начнет говорить. И в самом деле, проходит какое-то время, и он оживает. Смотрит внимательно: «А хотите, я расскажу вам, как все вернулось три года назад, в конце мая?» И он начинает рассказывать, как шел по пустой пыльной набережной, шел навестить неблизкого, в общем, знакомого, о котором случайно узнал, что тот болен; шел медленно, потому что жара была страшная (в мае бываю такие жаркие дни), вытирал пот со лба и вдруг понял: что-то случилось. Что? Непонятно. Но ощущение было отчетливым, резким и незнакомым. Что же это? — сказал чуть не вслух Веденеев и тут же понял: нет боли. Исчезла. Впервые за долгие-долгие годы его душа не болела. Боль растворилась в усталости, или расплавилась на жаре, или же утонула в тоскливой ненужности его жизни. Кажется, я потерял то последнее, что у меня оставалось, — подумал тогда Веденеев. Он сделал шаг, другой, третий, он как-то не понимал, сон это или явь. С большим трудом, чуть задышавшись, он дошел до угла на Менделеевской линии и вдруг почувствовал — или это ему показалось? — давно забытый, томящий, дурманящий запах. Запах персидской сирени, росшей когда-то возле витражного дома. «Да-да, и здесь тоже персидская, я это помню», — сказал Веденеев. Он стоял на углу, держался рукой за решетку и вдыхал запах-воспоминание. Пруста он, разумеется, знал, и в этот момент даже вспомнил, но эта «литературность» не помешала. Все вновь возвращалось; разъятость-расколотость исчезала, и, как когда-то, он будто поднялся в воздух на небывалом летательном аппарате, сосредоточенно и спокойно смотрел на лежавшую внизу жизнь.

Придя домой, вечером, он зажег лампу и начал писать какой-то рассказ, или притчу, или отрывок. Закончив, понял, что это — глава из Романа, глава, с которой он будет теперь начинаться. «Глава называлась „Черти на Аничковом“?» — быстро спросила я. Он кивнул. Потом начал рассказывать снова. И я увидела странные силуэты за окнами в брошенном, темном, холодном дворце, услышала голоса, которые невозможно назвать человеческими. «Если хотите, прочтите этот кусок», — сказал мне Веденеев. «А разве можно?» — «Конечно, ведь его давно нет». Странное пояснение. Я развязала тесемки коричневой папки и побежала глазами по строчкам, но они прыгали, корчились и рассыпались. «Трудно?» — спросил Веденеев и рассмеялся злым смехом. Его глаза снова казались пустыми и мертвыми. Комната накренилась, и я поняла, что мне нужно отсюда бежать. Теперь я знаю достаточно, я поняла, поняла. Быстро набросив халат, я кинулась к двери — задела стул в полутьме. Севка пробормотал что-то, громко и недовольно. «Что делать, если проснется?» Чувство вины вдруг схватило меня за загривок. Я замерла, как воришка, которого вот-вот

схватят. Но нет, все было в порядке. Мой муж спал, укрывшись чуть ли не с головой одеялом, — только вихор на макушке торчал.

Год назад, когда началась Веденевская эпоха, Севка встревожился не на шутку и велел мне сходить к Алексею Перфильеву, своему другу, зубру и асу-невропатологу. Затея мне показалась дурацкой, но бунтовать я не смела. Рассказать Леше о моей новой жизни? Что ж, расскажу. Мы встретились с зубром и асом недалеко от его института и часа два гуляли по набережной — погода, к счастью, благоприятствовала. «Ну, вот что, — сказал мне наконец Алексей, — если ты хочешь посидеть годик дома и отдохнуть, так и скажи это Севке прямо. Он мужик добрый: прокормит тебя. А приплетать к вашим делам Веденева, который был гением, но почему-то оставил нам, грешным, один только шизо-рассказ, на который ты абсолютно случайно невесть где наткнулась, — это, пожалуй, не совсем честно. Но, главное, ты себе не внушай, что твой долг — заняться судьбой Веденева. Все-таки это, прости меня, бред. А вот усталость — это реально, тут я не спорю. И диссертация, и болезни младенца, и весь наш прекрасно организованный быт. Посидишь дома — порядка в хозяйстве будет побольше, и всем полегче. А деньги — что? Их всегда или нет, или мало». Севке он, вероятно, сказал то же самое, и, думаю, Севка был недоволен. Но возразить не решился. Леша Перфильев — специалист с большой буквы. Хороших специалистов Севка всегда ценил и поэтому больше не отговаривал меня бросить работу, смолчал, когда я сообщила, что подала заявление об уходе, но стал обращаться со мною иначе, чем прежде: с жалостью и брезгливо. По временам это было невыносимо. «Севочка, ну зачем же ты так?» — не удержалась я один раз, и он вдруг взорвался: «Ты сделала все, что хотела. Вся наша жизнь отдана Веденеву. Я терплю это. Ты хочешь, чтобы я был в восторге? Я не в восторге». — «Сева, я буду стараться», — сказала я совершенно бессмысленно, и он решил почему-то, что я над ним издеваюсь.

Выбравшись в коридор, я оказалась в каком-то другом измерении. Гула ноябрьской бури здесь не было слышно, и тишина оглушила. Помедлив минуту, я прошла в Котьюину комнату. Мой мальчик спал, сбив одеяло в комок, свесив правую ногу. Пятка была умилительно маленькой. «А будет ражим детиной», — подумала я, и сама не поверила. Мне было как-то не приложить к нему будущее. Семь лет назад он пришел к нам из своего таинственного небытия и посмотрел на меня голубыми — даже белок был голубоватым — глазами. Потом прошло время, его глаза стали серыми. Они сохранили всю свою ясность, но обрели новую определенность: уже не весь мир был отражен в них, уже появился свой угол зрения. А теперь глаза Котьяки были такого же цвета, как у отца — светло-карие с прозеленью, — и были всегда широко открыты:

глядели вокруг себя с любопытством. Я аккуратно расправила одеяло — укрыла мое голоногое чудо. Он заворочался, что-то бурча, потом наконец примостился уютно. Его уже не было видно — только вихор на макушке торчал.

В кухне гудел холодильник. Он был изрядным брюзгой, но по ночам мы неплохо соседствовали. Я вынула пачку листов из-за банки с мукой, пересмотрела последние записи, вычеркнула страницу и попыталась передать ощущение той жары, что висела над городом в день, когда Веденева вновь поманил и повел за собой друг воскресший Роман. Я очень старалась, но без толку. Из окна дуло, и еще очень мешал тот знакомый, к которому шел Веденеев. Кто это? Друг гимназической юности? Или же сослуживец, случайно, как и он сам, попавший в архив? Знакомый — обросший темной щетиной человек с лихорадкой в глазах — лежал в дворничихе и был покрыт лоскутным деревенским одеялом. Что, его дворничиха приютила? Или он жил с этой дворничихой, может быть, даже скрывал такую деталь биографии от старых друзей (друзей не было), ну, хорошо, от старинного друга, то есть от Веденева, которого встретил случайно, совсем недавно, возле Адмиралтейства и вдруг подумал, что эта встреча — знак и надежда на перемены. «Р-р-р», — сказал холодильник. «Я понимаю, — ответила я, — и признаю, что ты прав. Какой-то заросший щетиной друг детства, лоскутное одеяло, — все это может и подождать. Я должна либо записать быстро то, что я узнала от Веденева, либо пойти и лечь спать, чтобы завтра все шло путем. Но ведь я знаю, что мне не заснуть, уж лучше я посижу здесь, подумаю, ведь кто знает, может быть, этот большой (умирающий?) в дворничихой на самом деле важнее всего остального? Может быть, он и есть Веденеев, а тот, за которым я так упорно иду по пятам, всего лишь подделка, двойник? Что, если снова проследить все с начала? А где начало, в четырнадцатом году?» Нет, тот подросток, так же, как и ребенок, которым он был еще раньше, не занимал меня. В общем, я знала: судьба Веденева началась в девятнадцатом, когда он, чудом выживший после тифа, вышел, совсем еще слабый, на улицу.

Ему было семнадцать лет, минувший год сделал его сиротой, мир, привычный и чуть надоевший, как то какао, которым поили его по утрам, исчез, улетучился, испарился. Вокруг стояли роскошные декорации, но спектакль, к которому он опоздал, был уже сыгран. Он вспомнил, как мучили его в детстве слова «Конец Римской империи», и ему было странно, что он приобщился к событию, по своей важности не поддающемуся осмыслению. Ему было трудно, и он пытался найти опору, защиту. Он сделал правильный ход: работая в некоей конторе, где разбирали два года назад потерявшие смысл документы, поступил в Зубовский институт. Здесь изучали искусство, здесь изучали литературу. Но Веденеву было

не спрятаться от постоянного чувства, что он живет между обломками, среди развалин. И храм культуры, к которому он приобрелся, казался ему бутафорским, и мертвыми были слова. «Ну наконец-то жизнь стала входить в колею», — радостно говорила Мария Петровна, раскладывая пасьянс. Она хозяйничала теперь в квартире родителей Веденева, преобразовавшейся в соответствии с ситуацией: в бывшей столовой жил некто Андрей Степанович, в спальне родителей — матрос Коля Скворцов. Выпив, Коля был весел и пел, а потом вдруг впадал в тоску и начинал кричать дико, надрывно: «Вот они! Вижу! Идут! Идут, гады! Не подходи, не трожь, сволочь, ты же покойник, отойди, гнида!» Унять его могла только Мария Петровна. Она входила к Скворцову спокойно и деловито и говорила: «Нельзя так, голубчик. Молитесь, молитесь заступнице», — а потом брала Колю за руки и крестила, и он плакал, а она отводила его — покорного — к кровати, укладывала, как маленького, укрывала одеялом, еще раз крестила и уходила, а его всхлипыванья становились все реже и реже и наконец замолкали. Племянником тетя Мария Петровна была недовольна. Однажды она начала с ним беседовать о гордыне. «Смирение — главная из добродетелей», — говорила она. — А кроме того, нужно помнить, что все, все от Бога». Племянник не отвечал ей; через какое-то время нашел себе комнату около Кронверкской, и широкий рукав реки отделил его от квартиры, хранившей память о мальчишке в белых носочках, о нем же постарше, читавшем «Дубровского» и «Отверженных», а потом, позже, «Подростка» и «Воспитание чувств», «Бесов» и «Петербург», Вячеслава Иванова и Мережковского.

Квартира, в которой нашел обиталище Веденев, была по стечению обстоятельств грязной и шумной, а комната — неудобной, и все же он захотел сюда въехать, и дело было не в чем-нибудь — в витражах. Витражные окна были на всех площадках: от первого этажа и до пятого. Лестница уходила торжественно вверх, и через красные, желтые и зеленые стекла лился сияющий, радостный свет. Корзины фруктов, невольники, ангелы-девы в спадающих складках золотистой одежды — все было нелепо и все было празднично, и Веденева, когда он вставлял ключ в замочную скважину, чтобы потом до утра погрузиться в содом коммунальной квартиры, чудилась некая вакханалия в пышном соборе, и его жизнь среди хохота, рева и брани случайных соседей была как бы естественной ее частью. По ночам, когда все в квартире наконец затихало, Веденева писал маленькие истории, напоминавшие, может быть, сказки Гофмана. Потом, постепенно, возник большой замысел. Почувствовав смутно абрис романа, переплетавшего фантастически прошлое и настоящее, Веденева сначала скептически улыбнулся и отогнал прочь несуразные мысли, но вскоре со смешанным чувством тревоги и радости понял, что они оплели его,

и что он пленник невесты откуда возникших фантомов. Несколько месяцев он пытался сопротивляться. Он резал нити ножами ирландии, распутывал узелки с помощью доводов логики, но с каждым днем становился беспомощней и зависимей. И вот тогда, в этот период тоски, ожиданий, видений он в первый раз встретил Юнну, юную девочку в красно-клетчатой юбке. Собственно, это и встречей назвать нельзя. Он стоял на площадке, а наверху хлопнула дверь, и мимо него пронеслись, как во сне, девочка и собака. «Тише, Бурбон, Бурбон, тише!» Но язык высунут до отказа, и с мягким рычанием, вздохами, топотом мчится огромное, густой шерстью покрытое тело и тянет вслед за собой хозяйку, а она, легкая, ловкая, смуглая, тоже стремится за ним и пронесится мимо, и в этом есть что-то от мифа, от вечности и от мечты о полете. Может быть, было, конечно, не так. Может быть, Веденеев давно был знаком через того же Андрея Никитича Сухоржевского, часто его, студента, к себе приглашавшего, с отцом Юнны, доктором и меломаном, может быть, он и дочку уже раньше видел, все это неважно. А вот та встреча, тот образ, мелькнувший перед глазами, то ощущение приглашения к жизни сыграли, как это ни странно, огромную роль, и в большой степени помогли ему одолеть и растерянность, и чувство краха реальности, которые столько лет были основой его душевного состояния. Девочка в красно-клетчатой юбке как символ движения, жизни не раз приходила на память. Он усмехался, качал недоверчиво головой, потом срывался вдруг с места и шел, сам не зная куда. Эти круженья по городу были круженьями по лабиринтам души; он метался, но знал уже, что впереди есть и свет, есть и выход. И вскоре он начал писать Роман.

Да, все было так, но дальше я вязла в сомнениях. Однажды вечером Веденеев подробно поведал мне о своей сделке с судьбой, о договоре с «витражным богом», о жертве кровью. Я его слушала, открыв рот, но в какой-то момент разглядела название книги, которую он держал на коленях. Это был «Доктор Фаустус». «Как вам не стыдно! — в ужасе закричала я. — Это какие-то хлестаковские штучки. Вам они не к лицу, Александр Алексеевич!» С досады я чуть не отправила в мусор «Начало романа», но вовремя спохватилась и, положив все в папку, написала «Судьба Веденева, вариант первый».

Холодильник молчит. Вместо него решили подать свой голос часы. Тикают громче и громче. Но я стараюсь не слышать их. Ведь Веденеев сидит напротив меня в своем кресле. Он, правда, задумался и беседовать явно не расположен, но, может быть, он согласится прочитать мне хоть три странички из своей книги. «Александр Алексеевич, я вас очень прошу, прочитайте, пожалуйста, мне то место, где Отец пригвоздил Сына к кресту послушания, а сам смотрел на мученья Его и говорил „истинно, истинно“, а потом вдруг усомнился и поднял ввысь жалкое мертвое тело. Мне очень важно услышать этот кусок, прочитайте». Но Веденеев не отвечает.

Надо задеть его за живое, расшевелить: «Кажется, я понимаю, почему моя просьба вам неприятна, и вы ведь убийца, Юнну убили вы». Впервые я говорю это прямо. Прежде витавшее в воздухе слово «жертва» наконец обретает конкретность и в то же время теряет какой-то важный оттенок. После томительной для меня паузы Веденеев говорит холодно и спокойно: «Не понимаю, почему вас так тянет в пошлятинку? Можно подумать, романы для горничных — ваше любимое чтение». (Так мог бы сказать ваш отец, но не вы, — отмечаю я в скобках). И Веденеев, скорей всего, слышит оговорку. Голос его смягчается. «Почему вы так уверены, что она умерла? Состарилась — это бесспорно». Он берет с подлокотника книгу и погружается в чтение. Он опять ускользает и оставляет мне только обрывки, калейдоскоп ярких и бледных картинок, какие-то реплики, Юннин смех. Как жалко, что с Юнной я разговаривать не умею. Веселая девочка с ярким румянцем всегда бежит мимо, не замечая, не откликаясь. Ей остается всего шесть месяцев жизни. За это время она полюбит Веденева, спасет его, перельет в него все свои силы, погибнет, как погибают матери в родах. И как не прав Веденеев! Ведь, в самом деле, неважно, умерла она от горячки, не вынеся его бегства, или же просто погасла. Ее смех замолк, и она, та, летящая, перестала существовать, когда ей было семнадцать. И виноват в этом он, никто больше. Закутавшись поплотнее в халат, я стала писать. Дело пошло очень быстро и даже легко, и я все писала, пока вдруг кто-то не потянул меня за рукав. Тут я испуганно вскинулась. «Четверть седьмого», — сказали часы. «Кошмар и ужас», — охнула я и, мгновенно убрав все следы преступления, на цыпочках пробежала по коридору и моментально заснула.

Будильника я не услышала, и сборов Севы и Котьки, конечно, не слышала тоже. Проснулась, когда мой сын крикнул мне в самое ухо: «Холодной водой оболью!» Тогда я открыла глаза и увидела, что они оба стоят у тахты. Они были почти одинаковые в своих свитерах, синих с белым, связанных Ольгой Михайловной; только один был большой, а другой совсем маленький. «Вы как подобные многоугольники», — сказала я с удивлением. Но они не услышали. «Две просьбы», — сказал Севка строго. И оказалось, что нужно поехать к Богданову за чертежами и непременно закончить печатать отчет. «Но ведь ты говорил — к четвергу». — «Я так думал, но ситуация изменилась». Инструкции Севки, как всегда четкие и обстоятельные, я слушала через силу: глаза закрывались. «Она засыпает! — Костик захлопал в ладоши. — Опять ничего не услышит и все перепутает. Скажи ей скорей про обед!» — «Что сказать?» — «Папа, ведь мы же договорились!» — «Ах, да, — Севка прокашлялся. — Мамочка, мы объявляем бойкот всем яичницам и сосискам. Выводы сделай сама». — «И еще сделай „негра в сметане“, — со смехом закричал Котька. «Время. Идем!» —

сказал ему Сева и, помахав мне на прощанье, они друг за другом вышли в прихожую, откуда какое-то время я слышала их голоса: чириканье Коти и добродушный севкин басок. Никаких разногласий, — подумала я. — Все проходит спокойно, по-деловому, а когда с Котькой я, то крик стоит на весь дом: «Я не надену, не буду, шерстит, ненавижу!», и я кричу в ответ: «Что ж, ненавидишь, не надевай!» А вечером кашель, горчичники, и уже ничего нельзя сделать, и болезнь входит на две-три недели, и я варю морс и тру яблоки, езжу на рынок за творогом, читаю ему часами и строю из кубиков замки. А сама с раздражением чувствую, как течет время, и растворяется, и исчезает...

Проснувшись я поздно, взглянуть на часы было страшно. Чтобы хоть как-то наверстать время, я стала крутиться в бешеном темпе. Взялась за уборку, в которой квартира давно нуждалась. Блеск наведу, чистоту, красоту, — думала я, принимаясь за дело. Вода лилась из всех кранов сразу, тряпки и швабры мелькали в воздухе, пахло бытхимией. Солнце, вдруг вылезшее на небо, смотрело на меня с большим удивлением и с усмешкой, но я все больше входила в азарт. Вытащить все барахло из кладовки и выбросить к чертовой бабушке! Сколько раз Севка мне говорил, что ему нужно место для инструментов. Раз-два! И тут зазвонил телефон. Я перепрыгнула через коробку с каким-то тряпьем и, отодвинув ногой старый Котькин велосипед, вовремя добежала до аппарата. «Ира, ты не забыла, что я тебя жду?» — спросил голос Богданова. «Как, разве три?» — «Около половины четвертого». Да, сюрприз... «Владик, я замоталась, но сейчас выйду — приеду к тебе через час». — «Скорее, через два с лишним. Но это неважно. В четыре я должен быть у врача, трубус оставлю соседке из сорок шестой. Звони к ней долго и громко: она глуховата». — «А может быть...» Но куда там, Владик повесил трубку. Я всегда знала, что он относится ко мне скверно. В последнее время он демонстрировал это в открытую. Да, час туда — час обратно, а у меня обед не готов. И как же быть? Разумеется, помогло бы такси, но у меня и так адский перерасход. Я быстро вытряхнула из кошелька рубль и трешку, оставила две монеты по пять копеек — так деньги целее будут — и выскочила за дверь. Добежав до угла, я сразу увидела очередь из «зеленых огней» на стоянке. Да, на другом сезонномить бы, но рассуждать было поздно. А вот и автобус. Я поднажала, но он ушел перед носом. Стоя на остановке, я на все корки ругала Богданова. Его болезнь была явно дипломатической. Сидя дома, он занимался ремонтом, а заодно уж готовил к сдаче отчет. Мог бы и сам привезти свои чертежи, но и я тоже могла бы съездить за ними пораньше. Вздохнув, я с раздражением посмотрела на серый забор, на тетку в шубе, на подползающий к остановке троллейбус. Двери открылись. Старуха с палкой пыталась выйти и не могла, женщина, пялившая глаза в окно, открыла вдруг рот и зевнула, и тут я вспомнила, что на троллейбусе можно добраться до площади, а там масса вариантов, годится любой. Рванувшись вперед,

я успела вскочить. Двери захлопнулись, и я сразу же вспомнила, что в кошельке у меня всего десять копеек. Ладно, не страшно, я попрошу пяточок у соседки Богданова. Потом, правда, придется тащиться к ней еще раз — отдавать, не признаваться же Владьке, какая я недотепа. Он ведь из этого анекдот сделает, и весь институт за животики будет держаться. Мне все равно, но Севку я не могу подводить: по моей милости он и так стал объектом здорового любопытства.

На прошлой неделе, когда все собрались, потому что Макс Груздев спихнул наконец свою кандидатскую, Сережа Лосев увел меня в кухню и объяснил популярно, как все, собственно, выглядит. И оказалось: защитив диссертацию, я без всякой причины, просто так, с бухты-барухты ушла с работы и села дома. Обсудив это событие всесторонне и не создав ни одной сколько-нибудь убедительной версии, институт начал ждать, что же дальше. А дальше было вот что: Севка, всегда работавший не за страх, а за совесть, вдруг начал бегать с кошелками, узнавать у буфетчицы Раи, не привезут ли бифштексы, дважды беседовал с Люсей Петровой о разных способах варки борща, на заседании в кабинете директора вытащил из портфеля ботиночки Котьки и объяснил всем «пардон, мне сегодня в сапожную мастерскую», словом, поставил себя в положение, когда начальство косится, мужики ржут, а бабы только и думают, как бы к рукам прибрать (и приберут, вот увидишь, и поделом тебе будет). Да, все это было невесело, но я знала, что институтские сплетни не так уж трогают Севку. Работает он, как работал, а вот что действительно его мучает — это реакция Ольги Михайловны. Мнением матери он всегда дорожил, и до сих пор, в общем, остался пай-мальчиком, который только тогда и спокоен, когда мама хвалит. А сейчас Ольга Михайловна явно считает всю ситуацию недопустимой, но при этом ведет себя в высшей степени благородно: демонстративно молчит и холодно протягивает руку помощи. Вчера она позвонила мне и спросила подчеркнуто вежливым тоном, не стану ли я возражать, если Сева и Костик будут два раза в неделю ужинать у нее. Ну, скажем, во вторник и в пятницу... Я много раз порывалась поехать к Ольге Михайловне, поговорить с ней, объяснить все. Но как я могла надеяться, что меня поймет Ольга Михайловна, если Анюта не понимала? С Анютой — когда умерла ее мать — мы целый год жили вместе. Пять лет назад, когда меня сняли вдруг с диссертабельной темы, и Севка сказал, что помочь мне, пожалуй, нельзя, Анюта отправилась к Кузьмину, и, как потом рассказывала всем Алла Макаровна, не сморгнув, заявила: «Пожалуйста, не надейтесь, Олег Петрович, что вам эта подлость удастся. Кирсанова бессловесна, но я шум устрою. И, если надо, большой». Так вот, если Анюта на все мои просьбы не дергаться и не дергать меня говорит: «Ты не видишь, куда ты идешь, ты ведь лунатик, и тебя разбудить надо, прежде чем ты окажешься на карнизе», то на какое и чье понимание можно рассчитывать? Ох. Вот и площадь.

Перескочив из троллейбуса в подкативший пятидесятый, я сразу повеселела. Может, еще все успею. Главное, затолкать рухлядь обратно в кладовку. Пачка пельменей у меня есть. Ну, поругаются, но не съедят же? Пельмени съедят, а меня не съедят — тарабарщина. Тара-рабарщина, бьют барабаны. Что это? Да, сон, который я увидела утром. Теперь он вдруг вспомнился совершенно отчетливо. Я была в комнате Веденева. Он лежал, вытянувшись, на своей койке. Лицом к потолку. Я поняла, что он болен. «Он очень болен», — подтвердил «голос за кадром». Веденев повернул голову, будто прислушался к этим словам. «Это роман меня душил, — сказал Веденев. — Сначала он давал силы, а теперь убивает». Он весь напрягся, как будто к чему-то прислушивался, и тихо добавил: «Но меня все же спасут.» — «Кто?» Я шевельнулась, хотела к нему подойти, но Веденев вдруг поднял руку и шелкнул в воздухе пальцами. «Мы в театре, — сказал он. — Смотрите!» И тотчас же дверь отворилась, и в комнату резво вбежали какие-то парни в спортивной форме. Подхватив Веденева за ноги и под мышки, они понесли его прочь. Лестница залита была красным, как в фотолаборатории, светом. Витражи, — вспомнила я. «Скорее», — крикнули парни, несшие Веденева. «Куда мы?» — «В квартиру доктора», — пояснил чей-то гнусавый голос. Фамилия отца Юнны до сих пор оставалась мне неизвестной. Доктор Штольц? (Пахнет «Обломовым»). Доктор Красаускас? Доктор Корсунский? Я шла какими-то длинными пыльными коридорами. Где же квартира доктора, так поразившая, а потом исцелившая Веденева своим покоем, уютом, теплом? Где шоколад? Где бульон? Где книги в глубоких шкафах? Где лампа под розовым или кремовым абажуром? И где, наконец, смуглолицая, нежная, быстрая девочка в красно-клетчатой юбке? Где пес Бурбон? Где все это? «Свет», — сказал кто-то, и я очутился в большом круглом зале. Сверкал оскаленно будто к концерту готовый рояль. Всюду стояли цветы, разбросаны были какие-то безделушки, какие-то перья. Веденев сидел в большом — на колесиках — кресле. Ноги укутаны пледом, и он, молодой, был все же очень похож на себя-старика. Девушка в красно-клетчатой юбке прыгала через скакалку. «Юнна!» — позвала я. «Двести три, двести пять, двести десять», — считала она.

Я чуть не проехала остановку, но в последний момент спохватилась. Район, в котором живет Владик Богданов, — это район унылых, барачного вида пятиэтажек. Построены они, вроде, уже лет десять назад, но вокруг до сих пор все не прибрано. Кое-где, среди голых площадок, качели, песочницы и деревянные домики. Два-три ребенка на ветру, на юру. Наверно, когда-то, в глазах Веденева, весь город был вот таким: неуютным, пустым, продуваемым, страшным... Добежав до подъезда Богданова, я поднялась быстро на третий этаж, увидела четкое «сорок шесть» на одной из квартир, позвонила. Подождала — нет ответа. Нажала снова: длинный — короткий — два длинных — прерывистый —

длинный. И тут дверь у меня за спиной распахнулась. «Что ж это вы хулиганите? — крикнула тетка с шумовкой в руках. — Слышит, что дома нет, а трезвонит. Я думала, мелкота со двора набежала, а это вон кто! Ведь взрослые люди!» Она захлопнула дверь. «Слышимость в этих пятиэтажках роскошная», — буркнула я и попыталась язвительно улыбнуться, но не сумела: улыбка скривилась. Так, ну и что же мне делать? Ждать, когда Владька вернется из поликлиники? А кто сказал, что он сразу вернется? Укатит, скорее всего, на весь вечер. Я постояла в раздумье, потом пошла медленно вниз. Две копейки у меня оставались, и я решила позвонить Севе. С трудом найдя автомат, я аккуратно набрала номер. В трубке пищало. «Алло, — закричала я, что было силы, — будьте добры, попросите Кирсанова!» Но в ответ зашипело, защелкало — связь прервалась. Выйдя из будки, я пошла в сторону остановки, потом вдруг повернулась, бегом добежала до дома Богданова и, взлетев вверх, вжала палец в знакомую кнопку: «Не боюсь теток с шумовками, пусть обругают. Что делать? Не возвращаться же мне без Владькиных чертежей!» Я долго звонила. Никто не вышел. Этажом выше плакал ребенок. Где-то бубнило радио, и, потеряв надежду, я стала неторопливо спускаться по лестнице.

На часах было без пяти пять. Я поняла, что в автобус не сяду. Контролер, шум, скандал. Закон подлости бдит, и вероятно, что меня уличат в безбилетном проезде, — огромно. Если идти пешком, путь займет часа два. Попросить у кого-нибудь пятак?.. Девуцу в куртке и с сумкой через плечо я все-таки пропустила, двух девочек лет по тринадцать я не решилась остановить и тут же дала себе слово: больше не пропускать никого. Высокий старик шел навстречу. Неторопливо, спокойно. «Простите, вы не могли бы... — шептала я, репетируя. — Простите, так получилось...» Я быстро шагнула к нему — и онемела. Передо мной был Веденеев, вставший с кресла старик-Веденеев. Секунду мы простояли друг против друга. Потом, прошептав, вероятно беззвучно, «простите», я пошла дальше и уже спиной видела, как он улыбнулся одним углом рта и высоко поднял правую бровь. Остановиться? Догнать его? Заговорить? Но даже если я просто поверну голову, я все испорчу. Миф об Орфее и Эвридике. Ну нет уж, я этой страшной ошибки не повторю. Живой Веднеев! Какая огромная радость. Жалко, что этой радостью я ни с кем не могу поделиться. Никто не поймет, почему теперь ближе Роман, «сверкавший где-то вдали стоглавым собором, манивший к себе и звавший еще с тех пор, как впервые он вдруг случайно увидел его за Невой, и улыбнулся, вздохнул, отвернулся, но все не мог забыть, и, решившись (ах, Юнна, Юнна), бросился наугад и вслепую искать...»

Я вдруг поняла, как упорно работал он над Романом, выехав из витражного дома. Служба была ерундовой, он умудрялся не замечать ее. На службе он копил силы, а вечером и ночью писал. Но Роман двигался очень неровно, толчками, и иногда появлялись куски, отвечавшие замыслу, цельные, но потом сразу же все начи-

нало крошиться, и башни, прямо и дерзко глядевшие в высоту, вдруг рушились в одночасье. И приходилось все делать заново, но и новое было обречено. То чувство целостности живого, которое в давний, с трудом вспоминаемый день Веденеев вдруг ощутил на площадке витражного дома, которое зрело в нем все то время, пока он жил, выздоравливая, в квартире у доктора, теперь, после бегства от Ифигении-Юнны, пропало бесследно; и в странный какой-то момент то ли прозрения, то ли самообмана, потеряв интерес ко всему, что копилось годами и называлось Собором-Романом, написал Веденеев рассказ «Сизиф» — единственное, что мог написать в том своем состоянии. И это был рассказ-вопл, заклинание, и, напечатав его, Александр Алексеевич смутно и неосознанно, но напряженно ждал отклика. А от кого и какого — не знал. В долгом томительном ожидании, как один скучный день, пролетела зима. А весной, теплым мартовским утром, он сел в трамвай и поехал к витражному дому. Поднялся, как во сне (может быть, что и впрямь вся поездка приснилась), по очень знакомой и все-таки сильно уже изменившейся лестнице и узнал от кого-то унылого, что никакой доктор здесь не живет и не жил, хотя табличка с нарядными буквами «Доктор Корсунский» (Красаускас?) была, как и раньше, над бронзовой ручкой звонка. «Куда же они уехали?» — думал, бредя по улице, Веденеев и, как бы ища ответа на этот вопрос, еще раз, лет через пять, поднялся на четвертый этаж — там было темно, — зажег спичку и прочитал четкое «Доктор Красаускас» (дверь в квартиру была заколочена). Так. И этот, второй, визит был безусловно реальностью. Да-да, он поднимался по лестнице, он убедился, что дверь заколочена, но в то же время он в глубине души понимал, что, может быть, это парадный ход заколочен, может быть, черный ход остался и, может быть, Юнна и доктор живут по-прежнему в этой квартире, хотя, вероятней всего, «уплотненные». От этой мысли он отмахнулся, она была неприятна и тяжела. Усталая, постаревшая, тусклая жизнь — нет, это было бы слишком чудовищно. И вот тогда в первый раз промелькнуло: а может быть, Юнна давно умерла? И, странно, эта догадка сняла вдруг какое-то бремя с души. И он вернулся к работе. Немного позже написал цикл «Апокалипсис». Стихи погибли вместе с Романом во время блокады. Но о Романа он не жалел. Роман казался ему неудавшимся. Я вдруг с облегчением вздохнула, мне показалось, что я ухватились за чью-то надежную крепкую руку. Только бы не обман, — подумала я суеверно, но уже знала, что нет никакого обмана.

Журнал, в котором был напечатан «Сизиф», я вытащила из шкафа, когда искала книжку для Котьки (он слишком разбежался, был красный, мокрый, и надо было немедленно усадить его, успокоить). «Сказку, сейчас я найду тебе сказку...» И все-таки я успела прочесть полстранички рассказа, почувствовать, как оно бежит по спине. «Ну, слушай, Ростик, жил-был однажды...» Чья это вещь, интересно? Какой-то особенный, сильный и горький слог. И каждое

слово — как шаг, и каждый шаг — все труднее... А дело происходило на дне рождения Котьки. Праздновали его в квартире Ольги Михайловны, по ее просьбе, разумеется. «Пять лет — это первый юбилей в жизни», — сказала она и собрала кучу людей (только взрослых); и груда подарков высилась, как гора, и Котька был страшно доволен, и принимал поздравления, а когда дядя Митя, брат Ольги Михайловны, лихо поставив его на стул, закричал трубно: «Ну, брат, пять лет — это не шутки, это событие, и ты теперь больше не маменькин тютя — мужчина!» — то принялся бегать, как сумасшедший, по комнате, в шляпе ковбоя и с пистолетами, палил из четырех стволов сразу и громко выкрикивал: «Бах! Я не маменькин! Бах-бах-бах! Я не маменькин!» — «А чей же ты? Папенькин?» — Севка поймал Котьку и поднял над головой. Они оба смеялись, и я тогда в первый раз поняла, что они страшно похожи. Потом я неоднократно пыталась сообразить, существовал ли «мужской союз» до того дня рожденья, и не могла дать ответа. «Сказку, еще одну сказку, про троллей!» — бушевал Котька. Он был все так же в азарте. «Лучше, я думаю, уложить его спать», — сказала мне Ольга Михайловна. «Да, вероятно, вы правы». — «А лучший подарок — пицалка, — говорил Котька. — И еще кот в сапогах, и еще бензовоз...» Он говорил сам с собой, сам все знал и вопросов не задавал, а я читала при слабом свете «Сизифа», и еще прежде, чем прочитала его до конца и увидела инициалы А. В., которыми он был подписан, я уже знала, что этот рассказ — обо мне.

Когда-то, не помню, в связи с чем, я сказал Анюте: «Ты понимаешь, все в моей жизни „с чужого плеча“, не мое, ну и поэтому все идет прахом, как бы я ни старалась». Она изумилась: «Да как же ты можешь?» И я замолчала — не смогла найти правильных слов... Какое-то время загадка А. В. занимала меня. Журнальчик на ломкой тонкой бумаге был без конца, без начала. Снова и снова читать «Сизифа» сделалось для меня наваждением, манией. Я знала его уже наизусть, но сила воздействия не слабела. Однажды я поняла, что А. В. — Александр Алексеевич Веденев. И тут же возник молодой человек в светло-сером костюме, откинул со лба прядь волос, осмотрелся. Потом кто-то с грохотом вытащил кресло и стукнул ножками об пол. В кресле сидел старик, тонкогубый, насмешливый. Руки, большие и белые, в сеточке вен, ровно лежали на мягком темно-коричневом пледе, а глаза были прикрыты, и сквозь прикрытые веки он неотрывно смотрел на бегущую вдаль (на экране? на движущейся дорожке?) веселую девочку-девушку в красно-клетчатой юбке. Проследив этот взгляд Веденева, я тоже стала прилежно ее рассматривать. Но рассмотреть ее было непросто. Она все время бежала, ежесекундно менялась, дразнила, смеялась, размахивала руками. Меня она звать не знала, не видела, не замечала, но в то же время притягивала к себе сильней и сильней. А так как, в отличие от Веденева, я не была прикована к креслу, то в какой-то момент сорвалась вдруг

и побежала вперед, побежала неловко, с одышкой, роняя предметы, толкая кого-то. «Ириночка, ты не блажи, — говорила Анята. — Работай тихонько, и, если ты в самом деле права, через год—два у тебя будет книга. И перейдешь ты из инженеров в писатели, и никто тебе слова не скажет». Она улыбнулась лукаво, она меня очень любила, а я была перед ней виновата: мне было не рассказать так, как надо, о молодом Веденееве, о витражах. Подумав, я завела речь о невозможности совмещения жизни и мертвечины. «Хватит, — сказала Анята. — Ты мелешь чушь. Постарайся, пожалуйста, думать о ком-нибудь, кроме себя. У тебя Сева и Котька». Она смотрела решительно, строго, так же смотрела, наверно, на Кузьмина, грозившего лишить меня диссертации. Голос похож был на голос юнниного Бурбона. Анята встала, легким движением быстро поправила блузку и вышла. «Кажется, что-то вы начали понимать», — сказал Веденеев в тот вечер, и я расцвела вся, а потом скромно потупилась: «Я знаю, что мне будет трудно, но, кажется, я готова ко всем испытаниям». Видимо, я ожидала услышать в ответ похвалу, но Веденеев только поморщился, чуть усмехнулся, махнул безнадежно рукой.

Войдя в квартиру, я сразу же поняла, что Сева и Костик дома. «А вот и отгадка, вот и отгадка», — радостно прыгал, размахивая руками, мой сын. Сева, нагруженный, вышел из комнаты: «Я тут собрал кое-что из вещей. Мы с Константином перебираемся на Потемкинскую». — «Мы будем жить у бабушки Оли, мы будем жить у бабушки Оли», — пел Котька, очень довольный происходящим. «А ты к нам в гости придешь?» — спросил он меня. Я молчала. Это было так страшно, невыносимо, непоправимо. И было понятно, что именно этого я и боялась почти целый год. Боялась? Да, очень боялась, но не ждала. Я надеялась. Хотя на что, Господи, я надеялась? «Мама, конечно, придет к нам, как только станет немножко свободнее», — сказал Севка сухо. «И бабушка Оля испечет маме наполеон?» — «Естественно. Ты одевайся, а то мы поздно приедем». Через минуту они уже были готовы. Кинуться Севке в ноги? Обнять? Плакать, молить до тех пор, пока он не отменит это свое чудовищное решение? Он добрый, он должен простить меня, он простит. Я сделала шаг вперед, но он сразу опередил меня. «Разве ты чем-нибудь недовольна? Именно к этому ты и стремилась. Ты умеешь добиваться своих целей». Лицо у него было твердое, но без упрямства. Хорошее, волевое лицо человека, который уверен в своей правоте. «Тебе повезло, он надежный», — сказала в какое-то давнее время Анята. Мне, вероятно, действительно повезло. «Завтра я позвоню тебе. Ты будешь вечером дома?» — спросил меня Сева. «Ты без нас не скучай», — сказал Костик. Они двинулись к выходу. Котька — в коричневой куртке, в синей с помпонами шапочке, в синих рейтузах и в сапогах, которые год назад я купила ему в магазине «Андрюша». Захлопнулась дверь. Потом я услышала, как гудел увозящий их лифт. Я все

стояла в передней. Руки вдруг стали дрожать, а потом я и вся как-то странно задержалась. Надо бы сесть, — догадалась я и прошла в кухню. «Р-р-р», — зарычал холодильник. «Вот мы и остались вдвоем», — сказала я ему очень спокойно и начала тихо плакать. Плач становился все больше похожим на завывание. Слушать его было дико и неприятно, и в то же время мне было отраднo, что я так плачу. «Не надо, это юродство», — сказал вдруг отчетливо чей-то голос. Кто это? Ольга Михайловна? Севка? Но ведь их нет здесь. «Попробуйте взять себя в руки», — сказал тот же голос, и я поняла, что со мной говорит Веденеев. «Да как вы можете, — крикнула я сквозь слезы. — Ведь это все вы — ваш „Сизиф“! Если б я на него не наткнулась, я продолжала бы жить нормально. Нормально! Вы понимаете? Вы, вы во всем виноваты!» Я захлебнулась, упала на стол головой и мычала. Картинки мелькали перед глазами: Котыка смеялся мне прямо в лицо и кричал: «Даже ездить в автобусе не умеет», Ольга Михайловна обнимала за плечи огромную тетку с шумовкой и говорила с интеллигентной улыбкой: «Вы правы, вы, к сожалению, правы», а рядом Анюта тянула ко мне чудовищно длинные руки, кричала: «Я спасу тебя, хочешь не хочешь, спасу». Где-то все это было. Наверное, у Булгакова. Что это? Литературные костыли? Я попыталась разумно все объяснить, разумное объяснение помогло бы, но мыслей не было и слов тоже не было. Какие-то сцены-видения в сполохах света ехали на меня, как по рельсам, а потом вдруг смешались в одно безобразно орущее шествие, и оно двинулось на меня, хохоча, угрожая. «Только бы не сойти с ума, — в страхе шептала я, — только бы не сойти с ума». Я крепко вцепилась руками в стол. Кухню качало вверх-вниз, вправо-влево. «И бортовая, и килевая, — стонала я. — Господи, помоги мне!» И постепенно грохот стал утихать, остались только шум ветра, рычание холодильника и мои всхлипы. Тогда я медленно подняла голову и сразу встретила очень спокойный сочувственный взгляд Веденева. «Значит, вы еще здесь, — пробормотала я, плохо соображая, где я, что со мной. — Я безобразно реву, и я что-то кричала, но я попытаюсь сейчас успокоиться». — «Ничего страшного, — мягко сказал он. — Поплачьте, вам станет легче». Его ответ удивил меня. «А вы впервые такой покладистый, добрый. Я вас сегодня на улице встретила. Правда». — «На улице? — переспросил он, и его интерес был явным, неподдельным. — Если так, значит, я прожил отменно долгую жизнь. Мне это приятно. Парадоксально, но чуть ли не с детства мысли о старости занимали меня. Старость казалась загадочнее, чем смерть...» Он был спокоен, как олимпиец; он поднялся на вершину, с которой все видно, все ясно. С холма своей старости он с интересом, спокойно взирал на долину. «И все же, откуда в вас это самодовольство?» — спросила я, вдруг почувствовав, что сейчас, в этот момент, я могу узнать главное, что момент этот нужно не упустить. «Александр Алексеевич, — голос окреп, стал жестким. — Вы прожили жизнь, но так и не написали Романа, не сделали ничего, от всего

отказались, не совершали поступков, хотя и убили однажды любившую вас чудесную девочку. Почему вы так спокойны?.. Молчите? Скажите мне, объясните, я не позволю вам спрятаться в этом молчании. Что это значит? Вас попросту нет?» Я поняла вдруг, что два-три усилия, и я его уничтожу. Роман, судьба, нить — все окажется вымыслом, и я буду свободна. Свободна? — комком встало в горле. Тоскливая тишина застучала в висках. Но Веденев загворил вдруг, и ножик с головой льва постукивал в такт словам, убеждая. «Я прожил свою жизнь, — сказал Веденев с напором. — И это, наверное, главное. Ну, а Роман? Что же, Роман написан... Хороший, даже прекрасный Роман об абсурде, о долге, о Мастере... Роман написан. Он строился, как вы знаете, долго. Горел. Кто знает, сумел бы ли он без меня состояться...» Он смотрел прямо перед собой, приподняв правую бровь, как будто чуть удивляясь и даже не веря себе. Вольтеровская улыбка не покидала лица. «Не нужно было вам этого говорить. Вы сами должны были догадаться. Но вам очень трудно, и вы так просили о помощи, что я не смог промолчать». Он продолжал улыбаться, он смотрел ласково и с состраданьем. «Но это слишком жестоко, — сказала я, — я не знаю, кто мог так жестоко распорядиться?» — «Собор не строится в одиночку», — ответил мне голос, и у меня все заныло в душе. Я вдруг увидела Город, каким он был в юности Веденева: пустой, светлый, гулкий... Синие воды Невы и высокое синее небо. Казалось, что Город мог поместиться весь на ладони. Он был неживой и прекрасный. Я осторожно вздохнула, и в тот же момент появились какие-то признаки жизни. И Город начал расти, а жизнь стала густеть, суетиться, и понеслась беспорядочным, говорливым потоком, и охватила уже и меня, потащила куда-то напористо, шумно. «Знать бы еще, куда?» — вслух спросила я и услышала смех. Нет, Веденев не мог так смеяться. Смех был заразительный, звонкий, счастливый. Котка? Я покрутила отчаянно головой. Но Котки не было видно. Девушка в красно-клетчатой юбке бежала ко мне, раздвигая цветущие ветки. С каждой секундой она приближалась, и я могла уже видеть веселый смеющийся рот, и глаза, окруженные щеткой ресниц, и родинку над губой, похожую почему-то на пятнышко шоколада. «Она жива, — крикнула я. — Александр Алексеевич, посмотрите, она безусловно жива. Александр Алексеевич! Слышите?» Но Веденева не было в кухне. Тикали озабоченно-громко часы, и полусонно рычал холодильник.

Евгений Звягин

НЕБЕСНЫЕ БОМЖИ

Глава 1. Рандеву

Валентин Ягин проснулся в отличнейшем расположении духа. Дело в том, что он проснулся в отгуле. А проснуться в отгуле, что бы ни говорили, и кошке приятно. Стояло лето; на дворе скрежещали контейнеры мусоровозки. Басисто смеялись курящие в уголку старшекласники из соседней школы — пока Ягин спал, они уже сдали свой последний экзамен.

Жил Ягин один, без соседей, в крохотной квартирке. В его комнате было два высоких окна: одно на родную помойку, другое — на французскую территорию. Да, к ним во двор вклинилась территория французского консульства, и оттуда, из-за забора, увенчанного копьевидной оградой с прикрепленной к ней металлической сеткой и пущенной поверх путанкой, выглядывала верхушка милой сирени, запоздало цветущей об эту пору...

— Стоп! — говорит режиссер. — Затемнение... Переснять... Мотор. Начали...

Это была сиреневая сирень, а не белая. Как любой из бренных цветов, но только чуть пуще, располагала она к долгому всматриванию, к простой и задумчивой медитации. Жалко было глядеть на нее сквозь решетки. Будто в неволе она там, милая, будто французы ее там, бедную, мучают.

С приподнятым чувством вставал Валентин — сегодня ему предстояло встретиться с Таисией Павловной. Поэтому он и брился с особым тщанием, и лучшую рубашку надел, бледно-зеленоватую, нефритового оттенка. Был он мужчиною одиноком, не первой молодости, а такому пристало следить за своей внешностью.

Таисия Павловна была его знакомая, дама лет тридцати, пригожая, надо сказать, собою. Она служила в городском экскурсионном бюро и была, как и он, одинока. Нравилось ее особенно гладкое, чистое от природы лицо и славная, примирительно-ироническая улыбка. К тому ж, одевалась она по моде.

Бреясь в ванной, Ягин припоминал обширную развлекательную программу, которую он заготовил для Таисии Павловны. Во-первых, они попьют кофе и полакомятся мороженым. Во-вторых,

зайдут в Эрмитаж к приятелю Ягина, Юре Ефимову, который обещал показать коллекцию японских мечей. Потом пообедают. Ну, а вечером — «Амаркорд», коего Тася еще не видела.

Невесть откуда всплыла в его памяти недавно произнесенная им, аппетитная на слух, фраза:

— И тогда он котлы напольные за полкуска забодал, и прокинулся!

«Боже мой! — всполошился Валентин. — Да что это я? Выпускник университета, бывший сотрудник квартиры мемориальной, человек, уважаемый хотя бы в узком кругу, — и такой, с позволения сказать, апашеский лексикон! В каком же лопатнике, пардон, в каком портмоне я его откопал? И как же случилось, что я вещаю, как заправский рецидивист, а друзья мои, люди весьма вожеватые, слушают безо всякого недоумения? Неужели в этом — стихийное опрощение, завещанное графом Толстым? Надо за речью-то последить! Тем более, в присутствии дамы».

Встретились у станции метро «Горьковская».

— Здравствуйте, Таисия Павловна! — приветствовал Ягин, целуя чистое сухое запястье экскурсоводки.

— Очень рада вас видеть! — обласкала она кавалера.

Пошли по аллее.

— Посмотрите, какое мягкое освещение. Такое ясное и разумное, — сказал Ягин.

— Ватто, сплошное Ватто! — усмехнулась она чуть-чуть иронически. — Предлагаю пройти мимо Водкинского шедевра.

На стене ортопедического института, укрывшегося за дощатым зеленым забором, была большая икона Богоматери с каштанововласым мальчиком на руках. Мальчик был похож на детскую фотографию Ленина. Мать смотрела глубоким-глубоким взглядом. Рядом, за стеклами операционной, сквозь густую крону заслонявшего их дерева горели неистовые огни. Шла операция.

Помолчали.

— А не испить ли нам кофею? — предложил Валентин.

— Извольте! — ответила Тася. — С премногой охотой.

— Тут есть неподалеку преславненькое местечко...

— Да что вы? Как мило...

Так, невинно дурачась, стилизуя в своем разговоре лубочный «девятнадцатый век», вышли они на Петровскую набережную. Здесь были солнце и легкий ветер. Яркая бумажная ткань, которая облекала красивое тело женщины, натянулась под ветром, и Ягин, взволнованный, замолчал. Тася не мешала его пристальному голодному созерцанию. Она понимала, что так должно быть.

А Ягин? Ягин-то, бедолага! Впервые, может быть, в жизни (или так кажется всякий раз, что впервые) он почувствовал, что влюблен безусловно. В существе каждой женщины содержится какая-то сладкая тайна, какое-то обещание счастья через долгое совместное сорастворение в бытии, какой-то социально-биологический зов. Отклик на этот зов, импульс, родившийся в сфере, так сказать,

бессознательного, и есть нетленное (хотя бы в воспоминании) чувство, обывательски именуемое любовью.

Ягин просек это дело, созерцая округлые члены Таисии Павловны, облепленные тонкой натянутой тканью, и стал относиться к ней еще лучше. Бедный! Он попал в ту трагическую зависимость от другого, которую с блеском описывал Марсель Пруст. Счастливцев! Он проникся тем ощущением, которое не только суть испытания, но и дар. Валентин уже предвкушал, как они присядут за столик в кафе, где можно будет, поддерживая дружескую беседу, на свободе обмозговать родившееся в нем новое чувство. Но на этот раз ему крупно не повезло. Не успели они войти в стеклянные двери кофейни, притулившейся за домиком Петра I, как на него напал Лера Дементьев, старый знакомый, удивительный ленинградский плейбой.

— Ягин! — закричал он пронзительным хриплым тенором. — Вениамин! Давай ко мне, тут свободно!

Валентину стало нехорошо. Во-первых, он вздрогнул, когда его окликнули по фамилии. Не принято у нас окликать по фамилии. Бестактно это. Некий атавистический страх пробуждает... Во-вторых, Дементьев переврал его имя, и Ягин подозревал, что нарочно, «из пошлого стеба», как выразился бы он в иную минуту. В-третьих, надежда на приятный задумчивый тет-а-тет съежилась и отпала, как клоп под струей хлорофосной аэрозоли.

Но — положение, как говорится, обязывает. С тех пор как Ягину минуло тридцать лет, он старался блюсти приличия. Прежде чем встать в недлинную очередь за мороженым, он подвел свою даму к столику, за которым сидел Дементьев. Тот поднялся при ее появлении.

— Таисия Павловна, разрешите представить вам...

— Валерий сын Калистратов Дементьев! — бодро отрапортовал тот, перебив Ягина. — Разные городские яржки (тут он со значением посмотрел в глаза Валентину) зовут меня просто Лера. Так я притерпелся уже и не сетую!

«И этот канаец под девятнадцатый век! Что за поветрие!» — подумал Ягин с некоторым раздражением.

Не стоит считать Дементьева нетипичным для той, пусть отнюдь не академической, но по-своему интеллигентной среды, к которой принадлежат они с Ягиным. Но и в рамках своей типичности был Лера заметен, что говорить. Историческое высказывание Ягина насчет напольных часов, забоданных без особого табаша, относилось именно к Лере. Да что там часы! Забытый и малосущественный эпизод. Однажды он в лотерею выиграл «Волгу». Обменял билетик на деньги и прокатил большую компанию друзей в Сочи на самолете. На юге он, правда, увлекся бегами (известно было его равнодушное отношение к лошадям) и просадил оставшуюся сумму на ипподроме.

— Куда ж ты, холера, нас заманил? — возмутились обманутые друзья.

— О'кей, джентельмены, все обустроится! — отвечал неунывающий Лера своим хриплым тенором. — Придется нам поработать! — И тут же создал из них развеселую антрепризу кочующих акробатов. Они выступали на пляжах и пользовались колоссальным успехом. Успех был настолько велик, что где-то уже в Сухуми их специально забрали в милицию, чтоб на досуге и без помех посмотреть нашумевшее представление. И все, от нижних чинов до высоких, остались зрителем так довольны, что даже не взяли предложенную Дементьевым скромную взятку (у него опять завелись деньжата). «Катытэсь, студэнты, на жуликах отыграэмся!» — только что и сказали они. По возвращении в Ленинград довольные акробаты Леру просто боготворили. И впрямь, никогда, ни до, ни после того, не переживали они ничего столь возвышенно-романтического.

А Лера, поверивший в свои силы, устроился на Ленфильм каскадером. О нем даже сняли отдельную ленту на телевидении. С тех пор он стал знаменит.

— Ну, все! — сказал Лера подошедшему с мороженым Ягину. — Едем, и непременно!

— Куда, в Сухуми? — съязвил Валентин.

— Какое Сухуми, какое Сухуми, деточка! Я уже двадцать минут объясняю Таисии Павловне...

— Извини, но я тебе вовсе не деточка!

— Ах, какой ты обидчивый, Вениамин... То есть, тьфу, Валентин! Ну что ты выступаешь, в натуре? Впрочем, если обиделся, извини.

— Перестаньте, мальчики, препираться! — сказала Тася со свойственной ей примирительно-иронической улыбкой. — Валя, ваш друг предлагает нечно интересное...

— Не сомневаюсь! — сухо ответил Ягин. Как все влюбленные, он стал неровен к предмету своего чувства. Мгновенно поняв его состояние и одоблив оное по существу, Тася дипломатически промолчала.

— Послушай, Ягелло, — сказал Лера, ни на йоту не поступаясь своей наглой самоуверенностью. — Ты все же неблагодарнейший индивид! Не ерпенься, а выслушай. Сегодня Рэм Мори, культуратташе известной тебе страны, организует прием у себя на квартире. Имею карт-бланш прихватить с собою пару интеллигентных друзей. За интеллигентного ты, пожалуй, сойдешь, не говоря уже о Таисии Павловне...

— И чем же там развлекают? Стриптизом? — спросил Валентин, усмехаясь. Он уже вспомнил, что обижаться на Леру нелепо.

— Наконец-то! О том вся и речь! Обещал присутствовать сам Стивен Бублик!

— Бублик? А кто это? — наивно осведомилась Таисия Павловна.

— Всемирная знаменитость! — опять усмехнулся Ягин. — Граф Сен-Жермен двадцатого века.

— А если серьезно? — строго спросила Тася, машинально потирая гладкую щеку и копаясь ложечкой в размякшем мороженом.

— Знаменитый изобретатель. Автор нашумевшего «мандабура». Ну, вещь такая, головоломка. Дольки раскрашены в разные цвета. Они перемешиваются, а потом надо голову поломать, чтоб собрать их в определенном порядке. Механический мандарин Стивена Бубрика. Сокращенно «мандабур». Вы что, не видели никогда?

— Что-то такое я видела... Детская игрушечка, кажется...

— Тася! — возопил Лера Дементьев. — Ну что вы, о том ли речь? Вся мировая общечеловечность бьется над тайной этого проклятого «мандабура»! Философы с трудом пересекают его сакральную сущность! Компьютеры чадят и ломаются, пытаются постичь его алгоритм! Герильясы из подпольного объединения «Анда» сделали его своим тайным знаком! Читайте газеты! Взорвут высоковольтную опору или там банк с десятком-другим посетителей, а на месте теракта, на самом виду — пожалуйста, лежит «мандабур»! Так что игрушечка непростая.

Таисия Павловна вопросительно поглядела на Валентина.

— Ну, что, поедем, полюбуемся на этого Бубрика?

— Вам хочется? Так поехали! — похерив надежду остаться с Таисией наедине, сказал Ягин.

— Ну, все! — разюмировал Лера. — Берем тачку и едем! Почему я вас так долго уламывал? На меня не похоже.

— Спасибо вам, — ласково улыбнулась Таисия Павловна, и по тому, как расцвел Дементьев, этот бесстрашный чоновец, ежедневно летающий с трехлинейкой с высоты деревенской колокольни, на которой засели белые с пулеметом, Ягин понял, что данной женщине присущ редкий дар — «вязать и разрешать». И оттого полюбил ее еще больше.

Они забрались в такси и поехали в сторону городского агентства «Аэрофлота», рядом с которым находилась резиденция зарубежного дипломата.

...Затемнение. Крупный план. Тумбы для коновязи. Их моют дожди, посыпает их пыль... Из некоторых можно стрелять. У дома светлейшего князя Голенищева-Кутузова, недалеко от Летнего сада, вкопаны морские орудия. Бронзовые. Бери и пали! Впрочем, стреляют обычно в последнем эпизоде...

У арки Строганова дворца — улыбающиеся гротескные морды. А неподалеку, вокруг Казанского — огромные бомбошки белого камня, да только они почти утонули, у некоторых торчат лишь макушки граненые, все остальное — в земле. По тумбам особенно замечаешь, что город тонет. Многие из них уже скрылись с головой в мокром асфальтовом море, поднявшемся заметно выше ординара.

А где цоколи старых домов — дворцов и доходных зданий? Проглочены нещадной стихией. Кое-где она уже подбирается к памятным местам: «Се — уровень наводнения тысяча восемьсот

двадцать четвертого года». Обесценивается великое произведение Пушкина! Да что ж это, право, за наводнение, когда уровень его — по колено? Оземление здесь грозит, наасфальчивание! Дамбу-то ставят не там — ее надо бы громоздить на дорогах, по которым везут и везут щебень, песок, вонючую гудронную связку! Казнить управляющих РСУ! Отменить благоустройство, ибо оно всех поглотит в конце концов! Останется лишь кораблик Адмиралтейства, ныряющий среди асфальтовых ухабов, да крест Александровского столпа — тяжелый, могильный, вселяющий ужас в одинокого путника, согбенного под морозящим дождем. Тот путник задержится у креста, погрузит ненароком и выбьет у его асфальтового основания следующую эпитафию:

Здесь город был. Потом исчез,

Как многие из мест.

В чертоги мрачные небес

Глядит лишь этот крест...

В чем выход? Немедленно приступить к откопкам! Меншиков откопали? Прекрасно! Фонтан, говорят, в Летнем саду откопали тоже... Но что-то его не видно, наверное, опять закопали. Ах, эта всегдашняя непоследовательность! Начать хорошее дело, а потом... Надо, надо его поставить на твердую ногу... А не то будет поздно!

Компания оказалась в квартире культурного атташе. Это был невысокий коренастый мужчина, на вид — обрюзгший на покое боксер. Здороваясь, он похлопал гостей, в том числе и Таисию Павловну, по спине. Потом усадил их за низкий стол огромных размеров, столешница которого была выполнена из чистого полированного стекла; здесь грудой были навалены журналы на русском и иностранных, проспекты с портретами их президента, бывшего мотогогонщика. Стены гостиной были увешаны репродукциями передвижников в аккуратных типовых рамках. Над пианино висело любимое произведение Ягина — «Грачи прилетели». Этот пейзаж он всегда ощущал как шедевр похмельного озарения. Как будто бы зритель восстал после страшной пьяни в курной избе, опираясь на закопченную стену неверной рукой, отдернул зашмыганную занавеску, и — ах! — садануло ему по глазам, — грачи прилетели, батюшки! От нечего делать он долго рассматривал репродукцию.

Помещение, меж тем, потихонечку заполнялось своею и иностранною публикой. К ним на диван подседа немолодая пара английского типа. Мужчина, повернув к Валентину голову, долго, с какой-то не нашей, скорей, марсианской доброжелательностью смотрел ему в очи, а потом заявил через Леру, который знал по-английски:

— Моя жена любит толстых очкариков!

— Моя тоже! — холодно соврал Ягин. «Чего от них ждать? — думал он. — Еще вовлекут в группен-секс, назаразят спидом...»

Тася спросила:

— А ваша жена кем работает?

— О, — смутился юродивый англичанин, — так просто не объяснишь! — тут он что-то сказал своей, еще красивой, жене, и она прыснула. — Скорее всего, моей секретаршей... Да-да, секретаршей... Ведет корреспонденцию.

— И вы ей платите? — спросила Тася в своей несколько наивной манере.

— Конечно, плачу! — воскликнул англичанин, едва дослушав дементьевский перевод. — А как же иначе? Иначе она объявит мне забастовку! Да-да... Не далее как вчера вечером так и случилось! Так, Лиззи? Вчера ведь ты бастовала?

— Перестань! — ответила Лиззи, смеясь. — Ай-м сорри, май френдз, не слушайте этого старого трепача! Совершенно безответственный человек!

Тут в комнату вошел Зайцев, негромко разговаривая с известным в Ленинграде поэтом, красивым и большекетым, которому странно шли повадки двенадцатилетней девочки. В руках у беседующих были стаканы с какою-то, явно не прохладительной, жидкостью.

— Кто это? — спросила Таисия Павловна, повернувшись к Дементьеву.

— Да так, — неохотно ответил Лера, — литераторы местные...

— Оба поэты?

— Да нет, не совсем. Вон тот, черноусый — прозаик. «Корвет нечестивых». Не слышали?

— Нет, не случалось. А что, интересно?

— Интересно-то интересно, да как-то бессодержательно, игрово... И потом — написал человек двадцать лет назад короткую повесть, и носится с ней, и тычет каждому встречному!

Почувствовав, что говорят о нем, Зайцев поглядел на сидящих. «Так. Дементьев. Понятно — супер. С ним дама. Красивая, гладкокожая... И где он берет таких, черт побери? Третий, толстый в очках. Его фамилия, кажется, Ягин».

Автор повести «Корвет нечестивых» отвернулся и что-то промямлил поэту. Тот засмеялся.

— А что это он такой насупленный? — не унималась Таисия Павловна. Лера, мучительно вслушивавшийся, не на его ли счет там проходятся, не услышал Тасин вопрос.

В комнату вошел ангел. Да-да, ангел; художник обязательно поместил бы его лицо на стеной росписи. Темные глаза с поволокой, тонко очерченный нос, красивые губы. Все это соединялось в ансамбль запредельной духовности.

— Здравствуй, Сергей! — сказал Зайцев. — Играешь сегодня?

— Да, блин, попросили сбачать с Вапировым...

Сережа повернулся и отошел. Ангельским был его лик, и жесты его были ангельские.

Гостиная, между тем, заполнялась приглашенными. Они образовывали естественные, большие и малые, группы и тихо о чем-то

гаддела. Иногда какой-нибудь заводила выкрикивал что-нибудь вроде: «Рикки-Тикки-Тави!» И компания хором, в ритм ему, отвечала: «Ха-ха!»

Тут Рэм Мори постучал обручальным кольцом по стакану.

— Друзья! — сказал он. — Мандарин позвонил, что немного задержится! А пока — музыка!

Неожиданно резко вступил саксофон, непомерно огромный для этой комнаты, но Сережа тут же смирил его звук и гармонизировал, мелодично играя на пианино. Все стихли — и мертвый бы понял: работают два замечательных музыканта. Два русских артиста играли под картиной Саврасова, и, несмотря на сильную духоту, установилась как бы весна, и грачи, грачи, па-ра-ба-ба-ба, действительно прилетели, летели...

Весна, однако, стояла мусцическая, а так — было лето. И раскрасневшаяся от духоты Таисия Павловна, замороженная прекрасными звуками, была особенно мила Ягину, созерцаемая в профиль, а не анфас. «Как ты хороша и желанна! — думалось Валентину. — Неужели ты когда-нибудь полюбишь меня? У меня, конечно, есть своя, и притом отдельная, площадь, и это — уже кое-что... Но, с другой стороны, зарабатывать я немного... Впрочем, если наши зарплаты объединить... Ах, какой же я циник, черт побери! Тася слушает музыку, прекрасную музыку, вон как очистилось и посвежело ее и без того замечательное лицо, а я — я черт-те о чем думаю!»

Музыканты вдруг перестроились и сыграли оглушительный туш. В комнату вошел невысокий подтянутый человек, коротко махнул красивой рукой в сторону пианино. Музыка смолкла.

— Хелло, доктор Бубрик! — подскочил радушный хозяин. Публика загалдела. Вошедший поднял тяжелые темноватые веки, и шум прекратился.

— Рад представить вам Стивена, леди и джентльмены! — заулыбался культур-атташе расплюснутыми губами. — Уж он вам расскажет, что и к чему! Стивен — прошу!

Лера в поте лица трудился над синхронным переводом с английского.

— Господа! — сказал Бубрик. — Я весьма рад и польщен, что моя скромная особа привлекла вас сюда, в эту тесную келью цивилизации. Мне случалось выступать и на стадионах; должен сказать, что массовое общение — безлично, не видишь трепета людских глаз. Мне по душе более камерный вариант, причем я достаточно скромнен, чтобы понять, что интерес не ко мне лично, а к моему изобретению и связанным с ним глобальным проблемам собрал вас сегодня.

— А также к импортной выпивке! — басовито шепнул Зайцев другу-поэту, и тот едва удержался от смеха. Бубрик вперил в прозаика большие, словно бы резко открывшиеся глаза. Что-то свиное было в их постановке. В поднятой кисти докладчика, как

бы сгустившись из воздуха, появился пластмассовый мандарин с разноцветными дольками — его гениальное изобретение.

— Манда — бур, ха-ха-ха! — закричали в компании, расположившейся у окна, и гости зааплодировали.

— С вашего позволения, — сказал Стивен, тонко и поощрительно улыбнувшись, — я буду называть свое творение аппаратом. Да и что он, собственно, как не аппарат для путешествий в Непознанное? Я построил его из ударостойкого полистирола. Долек, как видите, всего семь — по числу Пифагоровских сфер. Две желтых, две красных, две черных. И одна — фиолетовая. Специальное внутреннее устройство позволяет, двигая их автономно, перемещать дольки...

— А фиолетовая зачем? — громко спросила Таисия Павловна. Лера невозмутимо перевел сказанное.

— Очаровательная леди задала очень важный вопрос! — важно отвечал Бубрик, опустив темные веки. Потом вскинул их на Таисию. Сверкнули выпуклые белки.

— В ней — вся загвоздка, мадам! — сказал Бубрик. — Эта фиолетовая штукавина и вносит тот элемент вне-рядности, асимметрии, который придает упражнению с моим аппаратом особенную, я бы сказал, безмерную привлекательность.

— Яркая пустота! — внятно вымолвил Ягин. — Действие без расчета на результат. Уж лучше клей нюхать...

Дементьев невозмутимо переводил. Бубрик заулыбался.

— Не знаю, что значит «клей нюхать», — ответил он, — я не знаком с советскими идиомами. Что же касается пустоты — совершенно верно! Ибо лишь пустота чревата наполненностью, только из ничего рождается нечто. Тот, кто этого не понимает, пусть играет в глупые электронные игры: «Обмани ведьму», «Убей сандиниста» и прочее.

— Пустота есть пустота! — упрямо возразил Ягин. — Меньше любой пустяковины.

— Во чешет! Правильно, срежь рационализатора! — громко сказал уже пребывающий под хмельком дебелый поэт, и все, понимающие по-русски, заулыбались.

— Ну, хорошо. Для тех, до кого не доходят абстракции, приведу реальный пример, — парировал Бубрик невозмутимо. — Допустим, вы переходите улицу. Вы торопитесь и решили нарушить правила — перебежать между двумя едущими машинами. Между ними-то пусто! И, лишь подбежав вплотную, вы замечаете, что между ними натянут тонкий стальной трос — одна буксирует другую. Все! Вы погибли! Вот чем чревата может быть пустота!

Бубрик для вящей убедительности вскинул веки, сверкнул фарфоровыми белками и снова прикрыл.

— А лучше сплести из этого троса большую сеть! — воскликнул негибамый Ягин. — И ловить в пустоте дураков!

Великий человек схватился за сердце и сел на стул. Рэм Мори, не помня себя, встал в боксерскую стойку. Вапиров (артистическим

чутьем он ушучил, что все здесь — немного хеппенинг) стал про-
дувать саксофон. Английская пара, сидевшая рядом с Ягиным,
безудержно хохотала.

— Ну, Валентин! — сказал Лера, едва сдерживая смех. —
Не ожидал от тебя такой прыти. Все, накрылись дипломатические
коктейли!

Тася глядела на Ягина с тонкою миною — то ль с осуждением,
то ли нет, во всяком случае — с нескрываемым интересом.

— Ай бэг ё падн! — сказал разошедшийся Валентин и покло-
нился. — Тэнк ю вери мач! Бай-бай, мои крошечки!

Он встал и направился к выходу.

— Бай-бай, бай-бай! — кричали ему иностранцы.

У дверей гостиной он оглянулся. Пожилая красивая англи-
чанка, смеясь, посыпала ему воздушные поцелуи. Ее муж корчил
разные невообразимые рожи. Бубрик пил кока-колу.

Друзья не оставили Ягина одного. Вместе они выкатились на
улицу. Остановились, поскольку Дементьеву понадобилось прику-
рить.

— Ну, братцы, — сказал Валентин, все еще возбужденный, —
если хотите устроить мне сцену у фонтана, пожалуйста. Фонтан
тут рядом, перед Адмиралтейством.

— В самом деле, пойдете! — предложила Таисия Павловна. —
День такой замечательный!

В душе Ягина шевельнулось жаркое чувство признательности.
«Не сердится она за испорченный раут! Или, может быть, сердится,
но не хочет усугублять, золотце!» — подумал он.

День стоял теплый, ясный, реальный до муки, живой до безу-
мия! Верблюд Пржевальского местами был начищен до блеска.
Это дети, многие поколения детей, взбиравшихся на него, надраили
выступающие детали своими штанишками и локотками. Свеже-
остриженная трава пахла резаным огурцом. Сырые, желтые на
просвет комары жалили вовсе не больно. Дементьев отгонял их
струями сигаретного дыма.

Посидели, пошутили над сложившейся, довольно комической,
ситуацией.

— А знаете что, ребята? Я, пожалуй, пойду, — поднялся Лера,
не дожидаясь приближающейся паузы. — Спасибо вам за компа-
нию. Рэм, конечно, будет беситься. Ну, да я на него... Гм-гм.

— Спасибо за развлечение. Извини, ежели что не так. Я, в прин-
ципе, не выступальщик — само как-то так получилось...

Тася протянула Дементьеву руку. Церемонно поцеловав ее,
Лера скрылся.

— А вы на меня и вправду не сердитесь? — спросил свою даму
Ягин.

— Я не сержусь, — ответила Тася, — но все же нельзя быть
таким ершистым! Я думала, — улыбнулась она, — что вас дипло-
мат, ей-богу, нокаутирует!

Глава 2. Короли и капуста

— Давай пушку, будем посмотреть, — сказал Горбоносый. У него было черное, цыганское, забитое щетиной лицо. — Так... Ну, здесь пустышки... Приходи к вечеру. Сделаем в лучшем виде. Толкнуть не желаешь? Есть клиенты...

Они разговаривали, склонившись к металлической стенке типового гаража. Вдаль, сквозь просвет меж двумя гаражами, тянулись такие же, без конца.

— Сколько? — спросил Дементьев.

— Столяк! — сказал Горбоносый. — Меньше нельзя — криминал!

— Стольник за пустышки! Не кисло...

— А не хочешь — как хочешь! — ответил Горбоносый, заворачивая наган. — Неси в ремонт металлоизделий.

— Дело! — отрезал Дементьев. — Торговаться не будем. Но чтоб работал.

— Само собой, — равнодушно ответил Горбоносый.

Не следует думать о Лере черт знает что. Нет, он не был бандитом или убийцей-маньяком. Он был — ребенок. И, как многих детей, его влекло к настоящему боевому оружию.

— Шухер! — сказал Горбоносый, засовывая наган за ремень рабочих штанов и запахивая куртку. — Секи, Заводной шкандыбает!

— Попались, сограждане! — злорадно вымолвил Заводной, заслоняя свет. В проеме между гаражами сразу же стало холодно. Он глядел на них с высоты немалого роста, над глазами нависли тяжелые надбровные дуги.

— Что за разборки? А, Горбоносый?

— Все путем, гражданин начальник! — заблестел черными глазками Горбоносый. — Тачка-то пашет?

— Еще б она не пахала! Ты б у меня повертелся! А вы по какому вопросу? — воззрился Заводной на Дементьева.

— Да кенты мы, кенты, гражданин начальник! Давно, понимаешь, не виделись.

— Зачем спрятались?

Тут Горбоносый сунул руку за пазуху, и у Леры упало сердце. «Все, приехали!» — с грустью подумал он. Горбоносый достал из-за пазухи непочатую маленькую.

— С нами раздавишь? — спросил он с деловитой интонацией в голосе.

— Я? Чтобы с а м и ? Не пью.— Заводной смачно сплюнул в мазутную лужу. — Горбоносый, зайдешь через пятнадцать минут. Я тут вышел, понимаешь, на самого товарища Расторгуева! Такого слышал? Будем ему гараж ставить. Вот и продумаем, во всех звеньях.

— Так места же нет, все забито!

Заводной холодно улыбнулся, бурявя обоих тяжелым взглядом из-под нависшего лба.

— Найдем, будь уверен!

Он ушел, мерно размахивая обезьяньими своими руками. Солнце упало на собеседников, стало теплее.

— Ладно, пропустим глоточек! — сказал Горбоносый. — Только по-быстрому, из горла. Чтоб метко стрелялось! — съехидничал он.

Они выпили водки. Темное лицо Горбоносого еще потемнело.

— Крут Заводной! — сказал он. — Почисти всякого Пиночета!

— Говно! — сказал Лера. — Где-то я его видел...

— Крутой. Деловой. На ГАЗ-24 разъезжает! Иной раз так прижмет, что и не вздохнуть! Недаром он председатель! Знаешь, что он отмочил, когда здесь появился? Место ему отвели рядом с кладбищем. Он меня разыскал, стали траншею копать под гараж, ну, и погреб. Тут под гаражами у многих свои погреба. И наткнулись на жмурика. Череп и кости. Так он эти кости лопатой выскреб, и выбросил рядом в канаву. Да еще помочился сверху. Тут его гаражные и зауважали!

— Гнида он! — сказал Лера. — Ну, ладно, до вечера. Принесу патроны — проверим.

Выйдя на пустырь, Дементьев оглянулся. Ровные, по линейке, крашенные безликой кубовой краской, ряды металлических гаражей упирались одним краем в пустырь, другим — в старое заброшенное кладбище. У въезда тоскливо торчал в небо самодельный полосатый шлагбаум с бетонным противовесом. На верхушке ржавой металлической фермы блестел отражателем прожектор. Под ним располагалась стеклянная будка дежурного. На горизонте призрачно дыбились белесые массы типовых зданий.

Тут он услышал хлопанье крыльев над головою и оглянулся. Недалеко от обочины, на синевато-сухой бугор опустился божественной красоты белый голубь. Было понятно, что птица породная, непростая. Идеальной круглоты головка, украшенная небольшим хохолком на затылке и маленьким прочным клювом, глаза цвета зрелого красного проса, весь абрис его, созданный для красивого повивного полета — обвораживали любителя лошадей, да и всякой причеловеческой живности. Лера замер.

— Эй, друг, пугни-ка его! — услышал он возглас откуда-то сверху, издалека; поднял голову. Метрах в тридцати от него, сбоку от гаражей, он увидел некрашенный дощатый сарайчик с сетчатой клеткой на крыше. Там ощущалось легкое шевеление птиц. Рядом с сеткой стоял человек в вылинявшей штормовке, сквозь вырез которой был виден застиранный матросский тельник; плотный, длинноволосый, украшенный усами и бородой человек походил на Демиса Руссоса. В руке у него трепетала красная тряпка.

— Пугни его сюда, брат, и сам подходи, я тебе птиц покажу! — закричал голубятник.

— Кыш! Кыш! — воскликнул Дементьев, маша руками в сторо-

ну красивого голубя. Тот полетел и, хлопая крыльями, сел на дощечку летка. Голубятник взял его в руки, погладил.

— Иди сюда, у меня птички редкие, есть на что посмотреть!

Торопиться Дементьеву было некуда, и Лера пошел на сов. Его заинтересовало это дело, этот необычный «зрительный ряд», как говорят на Ленфильме.

— Будь здоров, орнитолог! — сказал Лера с инспекторской интонацией, пожимая протянутую мягкую руку. — Хорош голубок! Чистокровный?

— А как же, братушка! — усмехнулся в бороду голубятник. — Такие встречаются экземпляры — почище иного самопального князя. Которому «Кыш!» говорил — прямой и последний потомок великого Заиграя! Того самого, которым еще граф Орлов-Чесменский любовался! Как поплывет на гладких — душу захватывает! Есть и бойные краснодарской породы. Вот хоть возьми Мастака! Каждый раз сердце ухает! Сплющится парень о крышу, думаю! Нет, развернется, для смеху на щитках покачается, и — домой! Есть и ростовские, чилики, луганские белые... Чистые голоногие и чистые космоногие, скороглазые, вполглаза скороглазые, соломенные, с головкою гранистой, круглой и щучьей, с покровами прилуковыми и карими, со щитками смурыми и китайчатыми, а хочешь — с синей полявкою. Выбирай на вкус, одним словом!

— Ну, брат, у тебя семь пар чистых! А с нечистыми как же?

— А нечистых — везде что грязи! Они сами водятся. Кто-то же и чистых должен блюсти... Иначе мешанина получится...

— Извини, старичок, но выходит у тебя какой-то расизм...

— Не расизм, а сознание четко поставленной цели. Если не будет чего-то лучшего, как же мы худшее отличим?

— А как же бабульки дворовые? Они-то всех голубей кормят, не разбирая!

— И я о том же. О толпе голубиной всегда есть кому позаботиться. Породный же голубь — редкое ныне явление. Надо его сохранить — чтобы было кем любоваться. Сейчас слишком много некрасоты.

— Да ты, я вижу, эстет в своем роде. А селекционный эстетизм — это и есть зачаток фашизма. Твердое мое убеждение.

— Логическая подмена, дурной каламбур. Нет символа в моем беззломном занятии. И социальных аналогий нет. Хорошие голуби — прямое достижение человечества! Не только — сокровища Эрмитажа. Коровы голландские, английские гунтеры, московские турмана — все это — шедевр в своем роде! Результат целенаправленных долголетних усилий. И иной безграмотный дед, знаток, каких поискать — носитель уникальной и ничем не заменимой культуры! А не только — Рихтер или Набоков!

— Может быть, познакомимся? Трудно спорить с безымянным энтузиастом. Меня зовут Лера.

— А меня — с утра Андреем звали. Заходи, чаю выпьем.

Лера толкнул некрашеную щелястую дверь с кованой плотниц-

кой скобой вместо ручки. Смешанный слабый запах сухого старого дерева, зерна и птичьих фекалий был довольно приятен. Легонький свет из небольшого оконца лепил в сумраке благородную фламандскую светотень, и перевернутый ящик из-под стеклотары с окованными железом углами, предназначенный для сидения, выглядел, как старинный сундук антиквария. Грубый маленький стол домашней работы и приставная деревянная лесенка слегка взблескивали в полутьме, как бы натертые воском. В углу, на подставке из кирпичей, стоял примус, а на нем — большой медный чайник, надраенный до золотого сверкания.

— Садись, — указал на ящик Андрей, — я чайник поставлю.

Лера уселся на ящик, положил рядом с собой сумку. Коробка с патронами тихо звякнула. На столе лежала открытая книга с пожелтевшими страницами и старинным правописанием. Лера в нее заглянул.

«Увеселяют охотника, — вслух прочитал он, — не выиграш заклада, но птица, которая в кладьбе отменно летала. Об ней многие годы в разговорах упоминать будут, как нынешние охотники твердят об...»

Сверху послышалось хлопанье крыльев, птичья возня. Дементьев поднял голову.

— Что-то они у тебя беспокоятся, — сказал он.

— Кормить пора. Хочешь поглядеть?

По приставной лесенке они поднялись на крышу. Андрей зачерпнул из прихваченного мешка горсть зерен, бросил голубям. Те стали жадно клевать.

— Что так немного? — спросил Дементьев.

— Закармливать нельзя. Форму спортивную потеряют. Теперь погоняем?

— А как же? — воскликнул Дементьев хриплым тенором. — Самое то, гвоздь программы!

...И вот праздничный фейерверк вырвался из летка голубиной клетки. У Леры зарябило в глазах. Белые, черные, с синими и перламутровыми крылами, какие-то золотые, серебряные — порскнули и закружились в пространстве около крыши. «Кыш, кыш!» — замахал красной тряпкой Андрей. Став на крыло, стая проделала малый круг. Потом круг стал больше и выше. Они уходили ввысь в чистом небе, сияя крылами. Было в самом ритме полета что-то неизъяснимое, плавно-совершенное, тянущее за неведомые дотолы струны души. Косо освещенные солнцем, они плавались и сверкали в лазури, ни на миг не сбиваясь со своего гармоничного лета. Сладкая тоска самой жизни, в ее голом наглядном виде, чистая, эфирная экзистенция накатывала на сердце. Хотелось заплакать. Дементьев смутился, глянул в сторону голубятника. Тот был весел, топорщилась задранная вверх борода. Андрей вложил в рот два пальца и разбойничьи засвистал. Голуби грянули еще выше, уменьшая круги. А потом вся стая свечой ушла вверх, в просторы небес, и ее уже было не разглядеть.

— Скоро вернутся, братушки! — сказал Андрей, играя глазами. Видно было, что он едва сдерживает нарастающее возбуждение. — Теперь бойных жди. Интересный аттракцион.

— Как же я их отличу? — спросил Лера.

— Отличишь! — засмеялся Андрей. — Сами скажутся!

Вдруг с неба, перевертываясь через голову, скатился голубь.

— Раз, два, три, четыре! — считал голубятник его кувырки. — Мастак выдает! — гордись, молвил он.

Голубок задержался, отмахал малый круг, чуть покачался на крыльях и снова стал кувыркаться.

— Раз, два, три, четыре, пять! — считал Андрей. Голубь падал прямо на крышу.

— Ух ты, разобьется! — выдохнул Лера.

— Небось, Мастак дело знает! — задорно крикнул Андрей. И точно. Метрах в пяти над их головами турман расправил крылья, неуловимо шевельнул ими и точно опустился на дощечку летка, выставив перед собой мохнатые лапы. А с неба сыпались другие турмана. Плавными кругами спускалась вниз и вся пестрая стая. Плыли «на гладких», неощутимо для глаза работая крыльями.

Вдруг со стороны гаражей раздалось гуденье клаксонов. Оно становилось все гуще, назойливей; звук неестественный, неприятный. Андрей изменился в лице.

— Это гаражные им обструкцию делают! — сказал он. — Не нравится гаражистам такое дело! Не любят они живое зверье! Им подавай вонючую тарахтелку! Пошли-ка, брат, вниз — как бы чайник не распаялся!

Голубятник, за ним и Лера спустились по приставной лесенке. Примус шипел. Большой блестящий цилиндр медного чайника, доверху полный водой, только еще зашумел — не кипел даже. Лера захлопнул дверь. Наверху перетоптывались, шумели крыльями возбужденные птицы. Вся процедура, всколыхнувшая душу Дементьева, заняла не более десятка минут.

— Воюют бни со мной, сволочи! — пожаловался Андрей. — Говорят, я их территорию занимаю. Мало им места! Тут куда ни гляди — пустырь. Так нет! Мы у них с голубками — как бельмо на глазу. Мол, у нас — все железно, а тут анархия, самопал... Развелось любителей правильных линий — не продохнуть!

— Знаю я этих любителей! — сказал Лера. — Одному такому на «Волгу» свой выигранный билет втюхивал... Да здешнему бугру — Заводному! Ну и жила, ну и кулак! Он мне всю душу вымотал! Машину хочет по-быстрому, а накинуть лишние тонны три — сердце останавливается. Сошлись на мизере. Не было времени другого клиента искать. Любитель порядка... сквалыга и жох! А пристрастие к порядку — для понта, род мимикрии. Знаем мы этот «порядок» — через него страна гибнет!

— Нет, тут не только одна мимикрия. Тут, брат, особый гомункулос выработался, агрессивная тварь! Как увидит, что рядом порхает и движется, норовит испоганить, смести, изнасиловать!

Через бумажки, параграфы, или хоть так — через связь со своими же, мертвяками! Как там у Высоцкого? Чтоб было тихо все и глухо! Точно схватил! Воители энтропии... Ладно, чаек заварю! Сегодня индийский.

Отъезд. «Проход», «ПНР» (сиречь панорама, а не Польская Народная Республика) — уже были. На очереди — «отъезд». Не тот, конечно, отъезд в чужие пределы, который для киношников известного временного периода стал последним и самым сильным художественным эффектом, а — смена крупного плана на самый общий. Поглядим-ка на местность с высоты вертолета. Тем более, что прием этот принят в прозе задолго до появления синема. Вот блестящий пример: у Достоевского — Раскольников приходит к Соне Мармеладовой, и они вместе читают Евангелие. Дальше — камера отъезжает, меняется ракурс, эпизод через то становится символическим.

«Огарок уже давно погасал в кривом подсвешнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся над чтением вечной книги». Сильно, не правда ли? Но герои, мирно беседующие в голубятне, ничего не персонафицируют... Было бы странно прочесть: «Так за питьем индийского чаю собрались Каскадер и Голубезнатец...» Нелепо как-то получится. Ближе к Кэрроллу и даже к О'Генри, писателям, знатым в своем роде, который они, впрочем, скрывшись за псевдонимами, прославить не захотели. Вообще, как-то персон не хватает в наше партикулярное время, некого символом выставить. И все же «отъезд» — хорошая штука. Так что просто над местностью летаем.

Итак, прекрасные невские гирла. Видны и Малая, и Средняя Невки, Крестовка, Финский залив. Разлапились мачты стадионных светильников. В Приморском парке торчит заброшенная парашютная вышка. По тропинкам лодочной базы, своей анархической, на живую нитку сшитой архитектурой, напоминающей черты латиноамериканской фавелы, бродят доморощенные вороны. Рядом, на воде, продолжается то же самое — суденышки непутевые, разномастные. Зато на другой стороне протоки — строгие линии государственного яхтклуба. Там чайки не сидят на волне, а картинно ширяют белыми крыльями, и могутные светловолосые девушки в раздутых оранжевых поп-туниках, предназначенных для спасения себя от стихии, взнуздывают очередную красочную ладью.

Скучные ряды гаражей. Кладбище. Мировой океан.

А что там за трепет в крохотной сетке? Что за вибрация разных тонов и оттенков? Что за живые, божественные флюиды? Так это же голуби, голубки, голубочки! Гуленьки, гули! Горлинки нежные, самцы крутогрудые! Спаривайтесь, милые, спаривайтесь! Больше вас будет, больше будет и красоты! Так просто? Да, вот так просто. Избави вас Боже от орнитоza.

Но вот — краски сохнут и как-то уплощаются... В чем же дело? Оказывается, полет уже не над местностью, а над старую петроградскую картой, исправленной на 1918 год. Что там, на улицах, бегают за таракашечки? Люди? Нет, буквы. Попробуем-ка их прочесть. Так... Так... Заусадобная, Полевая, Рубежная, Рассеченная... Очень хорошо. Катавская, Вязовская, Американская... Как не у нас, честное слово! Мезенская, Эсперова, Задняя... Луна сама упадет на полированный стол. В глазах — ностальгическая тоска... Воробьи там лушат просыпанный из лошажьей торбы овес... Могильщики бросили заступы на свежий лоснящийся холм и, закатав штаны, пошли с бредешком через заводь на предмет горячей ушцы... Юная барышня с заспанными глазами пачкает персты земляничкой... Уже высохли грядки, политые по холодку. Уже время сменилось, отныне и навсегда. А здесь — еще пастораль... Ситный дождичек, пеклеванное солнце. Прошлое, завидное, как всякое прошлое, даже небывшее. Страна ложной памяти.

Вот и закончился сей невинный «отъезд». Затемнение. Крупный план. В полутемном сарайчике голубятник вспоминает нечто из Фукидида.

— Понимаешь, — говорит он, — старшина спартанская испугалась — как бы в государстве, ведущем напряженную битву с Афинами, не восстали илоты. И продвинула тонкий, чисто эллинский план. Объявили набор в пелопоннесское войско. Те из илотов, кто особенно стремится к свободе, то есть наиболее активные, несмирившиеся — могут получить ее на поле сражения.

— Ну и что?

— А потом их всех перебили! И снова все тихо!

— Нет, Андрюша, сейчас так нельзя! — убежденно сказал Дементьев. — История кончится. Небеса свернутся, как свиток! В том-то и уникальность ситуации, что сейчас так — нельзя. Эпоха традиционных решений в политике миновала. С такими прихватами все на тот свет отправится.

— Твоими б устами да мед пить. Ого — миновала! Вспомни-ка лозунг у Мао — «пусть цветут все цветы». И вспомни, куда девались эти цветы! Не забывай, что решают в политике не реальности, но долго слагавшиеся aberrации, крепкие мифы!

— Прости, но Чернобыль — не миф. И СПИД. И дыра над Антарктикой.

— А пойдешь объясни это все одномерному человечеству! Прихвостнем тебя обзовут, подголоском и подкулачником! Люди привыкли видеть зло лишь вовне, не в себе самом, а такой человек — интеллектуально и нравственно беззащитен! Его взглядами страшно легко манипулировать! А «цветы» — пускать на компост!

— Бардачите, граждане голубятники? — раздался откуда-то сверху внушительный бас Заводного. — А вот я милицию вызову!

Он стоял в проеме настезь открытой двери, заслоня воздух и свет. Лера лениво к нему обернулся.

— Ну, чего тебя принесло? — спросил Лера. В его голосе сразу напружились нетерпеливые нотки. — Не видишь — чай пьем!

— Еще разобраться, что это за чай! Не тот ли, что ты с Горбоносом гонял, спекулянт? Я-то тебя еще там, в гаражах, вычислил! Опять повезло в государственной лотерее?

— А ты, куркуль, молчи в тряпочку. Тебе бы на барахолке крутиться, а не «волгаря» торговать... Знал бы, что ты за изюм.. Уж я бы с тебя слупил, председатель! И вообще, друг любезный, — сказал Лера, вставая, — вас мама учила стучаться перед тем, как войти к чужим людям?

— А ты-то уж точно пьяный, ишь, как винищем разит! — сказал Заводной. — Может, свидетелей привести? У меня их тут целый легион наберется!

— Оставь-ка свои прихваты ментовские! — сказал Лера, делая шаг к Заводному. — А то ведь нетрудно и схлопотать ненароком!

— Товарищи, бросьте вы ссориться! — воскликнул Андрей. Лицо его выражало настоящую муку. — Неужто нельзя нам по-доброму, по-хорошему? Ведь вы пришли по какому-то конкретному делу?

— С тобой — по-хорошему? — мрачно залыбился Заводной из-под нависшего лба. — Ведь ты же агрессор, чужую территорию оккупировал! Пора настала освобождать. Понял меня, птицевод вонючий?

Видно было, что он сознательно нарывається на серьезный конфликт.

— Ну, вот что, — воскликнул Дементьев высоким от волнения тенором. — Канай-ка отсель, пока цел! Тебя тут не ждали!

— Что-о-о? — спросил Заводной. — Да я тебя разберу на запчасти!

Он хотел еще что-то прибавить, но не успел. Бравый каскадер, отличный наездник и фехтовальщик, мастер нунчаки и английского бокса быстрым коротким выпадом вырубил оппонента. Тот, охнув, свалился в полынные заросли у порога, и только ноги его в модных импортных туфлях марки «Саламандра» торчали наружу. В сарайчике сразу стало светлее.

— Ох, братушка, что ж это будет? — горестно выдохнул голубятник. — Съест он меня вместе с птицами! Ты ж его, гада, знаешь...

Заводной лежал в зарослях навзничь, с выражением бессмысленной злобы на лице. Длинные его обезьяноватые руки разметались, приминая прутья полыни. Наконец он стал приходить в себя. Сел, бессмысленно хлопая глазами.

— Рессоры бы надо рассортировать... — бормотал он. — Заехать на яму, и... выхлопнуть. Накладные в телегу. Телегу на диких, товарищ Расторгуев...

Он поднял голову, осмысленно взглянул на Леру и произнес:

— Драться себе позволяешь? Сукин ты сын! Ну, я тебе руки укорочу...

— Вали отсюда, тварь тавотная! — сказал Лера. — А то у меня кулаки чешутся твою низкую морду отполировать! Ферштейн?

— Ну, ладно, — вставая, пригрозил Заводной. — Вам со мной не тягаться. Красавыми слезами умоетесь, шпана неорганизованная...

— Жопу отряхни! А то тебя гаражные засмеют! — улыбнулся Лера злобно, а в самой глубине — слегка примирительно.

— Все! — сказал Заводной с непонятым удовлетворением. — Репетиция окончена! Ждите оргвыводов!

— А как же птицы, братушка? — некстати спросил потерявшийся голубевод.

— А... с прибором я клал на твоих голубей!

Тяжело ступая, Заводной удалился. Неумолимо, меж тем, день заваливался в сторону вечера. Голуби на крыше притихли, так что донеслись из яхтклуба короткие бодрые звуки моряцких команд. Кто-то там, в гаражах, размеренно бацал кувалдой о железо. Чай остыл, но подняться, уйти, Дементьев теперь не считал для себя возможным. Нельзя было оставлять Андрея одного в этой неприятно сложившейся ситуации. Тем паче, что скоро идти в гараж — забирать заказ у Горбоносого.

— Поставь-ка, Андрюша, еще чайку! — сказал Лера.

Глава 3. Удивительный вернисаж

Ближе к вечеру Зайцев сочинял автобиографию для очередного самиздата: «Родился в мае 1944 года, и свой майский цветок, так сказать, мэй-флауэр души своей отдаю Ленинграду, хотя б потому, что все мужчины моей семьи воевали за этот город, несмотря на весь его гнилой мистицизм, к которому они, местечковые подселенцы, были, впрочем, вполне нечувствительны. Каденция...»

Осталось неясно, при чем здесь «каденция», потому что зазвонил телефон. Он поднял трубку. Звонил поэт.

— Это ты, мастер? — спросил он с поразительным несоответствием мелодичного голоса и угрюмой его интонации.

— В каком смысле мастер, халдейском или же творческом? — ответил прозаик вопросом на вопрос.

— Неважно. Забыл тебе утром сказать. Мне приснилось стихотворение. Гортань жжет. Не хочешь послушать?

Зайцев уважал поэта, как ни странно, именно за его поэтический дар. И всегда с напряженным, завистливо-ревнивым вниманием относился к его новым творениям. Поражало, что этот заурядный, в общем-то, человек, недостатки и даже пороки которого знал он уже двадцать лет, иногда раздражается какими-то нейстовыми словами, в которых содержится редкий и возвышенный строй. Впрочем, бывало так отнюдь не всегда.

— Ну, ладно, гони! — сказал Зайцев.

— Сначала сядь, а то упадешь! — важно предупредил поэт и прочел:

Хорошо покойнику в лубяной коробке.
Он — солидный экземпляр, паренек неробкий.
Тикает, кривляется, лязгает зубами,
Вспоминает солнышко в деревянной раме.
Хорошо покойнику. А в евоном стерве
Копоятся шустрые маленькие черви...

Прозаик помолчал. Потом сказал:

— Откуда тоска такая замогильная? Живот разболелся?

— Приснилось! — ответил поэт. — За что купил, за то и продаю!

— Признаться, звучит весьма выразительно! Но есть и сомнения в плане словесности...

— Какие?

— «Вспоминает солнышко в деревянной раме». Непонятно, толь солнышко в раме, то ли кадавр...

— Я имел в виду солнце в раме окна. Но двойное толкование меня даже больше устраивает, майн либе кухмейстер...

— Сам ты кухмистер! И потом — что это за дворницкое «в евоном»?

Поэт задумался:

— А бес его знает, приснилось, и все! — сказал он. — Да я к тебе, собственно, совсем по другому поводу... Тут выставка открывается. Одному туда лень, ну а вместе...

— Послушай, мы же пару часов как расстались! Я ж еще от мандабура не отошел!

— А там обещают похлеще всякого мандабура! И — скучно, Евгений!

Последнюю фразу он произнес с каким-то надрывом. Зайцев глянул в окно.

Было светло. На углу Вольнского переулка сиял синий коготь газовой резки. Сдували заусеницы на торце толстой трубы перед тем, как сварить с точно такую же. Он тотчас подумал, что живет в эпоху, когда подземные коммуникации вылезают наружу, и этой «временке», сооружаемой с лязгом и грохотом, суждена долгая жизнь. Уже многие улицы оплели текущие вдоль поребрика, ныряющие у арок, чтоб не мешать проезду, фрагменты стальной паутины. Вскоре все эти трубы сольются в одну систему, полезут на стены, и город станет похож на парижский центр Помпиду.

— Ты что там, заснул? — сказал поэт.

— Ладно, идем! — сдался Зайцев.

Клуб трамвайщиков, в котором располагался сногшибательный вернисаж, находился в каком-то трущобном конце Таврической улицы. Это было не очень казистое здание красного кирпича, весь замысловатый декорум коего свидетельствовал о том, что строено оно в эпоху промышленного, теперь уже весьма закопчен-

ного, подъема столичной буржуазии. На фасаде этого скучного здания висел коряво исполненный на кумаче транспарант:

САЛОН СЛЕПЫХ

— О, это ново! — комментировал Зайцев. — Туда бы еще оркестр глухих!

У входа стоял знакомый художник: глаза его были завязаны красною тряпкой с белыми буквами — «дружинник». Он стоял, загородив двери, и напряженно вслушивался в шаги подходящих.

— Стоп! — сказал он друзьям. — Билет предъявите!

— Сеня, друг ситный, — сказал Зайцев, — ты что, собственных знакомцев не узнаешь?

Слово «знакомец», почему-то, раздражило «дружинника».

— Какой я тебе знакомец, безрадостный ты человек! — возопил он. — Иди билет покупай! «Зна-к-комец-ц»!

— Сенечка, сколько раз я тебе говорил, не яришь, не поддавайся дионисическому началу! Вот, смотри, Шемякин поддался, и что из этого вышло?

— Не знаю я никаких Шемякиных-Ломакиных, забугорных там либералов, билет предъяви!

К дружиннику протиснулась молодая толстенькая девица и сказала тихонечко:

— Милый Сенечка, а мне можно?

— Кто это? — испуганным голосом спросил стражник. Потом вслепую обхлопал девушку со всех сторон и, добравшись до бедер, спросил неуверенно: — Это ты, что ли, Варь?

— Я, Сенечка, я, пусти, пожалуйста, я Тишу ищу.

— Проходи! — уступил он дороге. Потом снова загородил проход.

Услышав, как друзья перетаптываются перед ним в нетерпении, он сказал:

— Ну, а вы, литераторы луковые, идите билеты покупайте! Это вам не прогулка на халяву в помойке!

Зайцев пошел и занял очередь в кассу. Там выдавали вместо билетов стальные блестящие шарики.

— Это что? — спросил он смазливую рокершу, сидевшую в кассе.

— Матзнак. Для лучшего вщупывания! — невозмутимо пояснила она, поправив зеленые волосы ярко-голубыми лакированными коготками. Прозаик приобрел один шарик, передал другу-поэту. Они снова подошли к Сене. Зайцев проклинал свои скрипучие туристические ботинки, купленные от бедности, — вдруг этот слепой-дилетант узнает их характерный скрип?

Поэт вложил шарик в руку художника.

— На две персоны! — с важностью произнес он своим мелодичным голосом.

— Ты, что ли, Шурочка? — спросил его ласково доморощенный цербер.

— Я, милый, я. Мы тут с одним другом. Пропусти нас, голубчик...

— Проходи! — откашлявшись, сказал он значительным басом и, брякнув, опустил шарик в специальный, подвешенный к поясу холщовый мешочек. А когда Зайцев прошел мимо, бросил ему вслед:

— Поскрипи у меня... Не-знакомец!

Зайцев багровел и давился от сдерживаемого хохота. Тесемки, завязанные бантиком, нелепо торчали на затылке коротко стриженного художника.

Друзья прошли в просторное помещение, где вкривь и вкось, наезжая подчас один на другой, висели предлагаемые мнимыми слепыми шедевры. Впрочем, зрители быстро забывали о нелепой подаче живописи, потому что там были работы нескольких серьезных ребят, интересные сами по себе, в том числе и картины дурацкого здешнего привратника, дурацкого в вышеописанной ситуации, но не в работе с холстом и кистью: его работы притягивали своим болезненным артистизмом. Вскоре Зайцев насмотрелся на живопись и устал. Увидев Ягина с женщиной, удивился: «Вот те раз! Оказывается, на приеме она была не с Дементьевым, а с Валентином! Ай да Ягин, какую фемину завел!»

Помещение наполнялось народом. Вдруг свет в зале погас и зажглись огни рампы на сцене. Занавес поднялся. Там стоял художник Нарвалов, глаза которого были прикрыты бахромой от занавесок, спускавшейся до самой бороды, густой, клочковатой и черной. Худое лицо его было густо набелено. Посетители вернисажа притихли.

— Поднимите мне веки! — громко возопил он. Никто не появлялся.

— Поднимите мне веки! — снова воззвал художник. Видно, и вправду кто-то должен был поднять ему веки, но замешкался за кулисами. Пауза становилась неловкой. Он еще постоял.

— Ну поднимите мне веки, черт подери! — потерял терпенье Нарвалов.

— А на хрена? — громко спросил кто-то из зрителей. Зал грохнул от судорожного хохота.

— Я хочу видеть, видеть! — перекрывая редеющий смех, воскликнул Нарвалов. — Я хочу видеть вас, соляные столбы, Лотовы подмахалки! Я хочу вас испепелить, гоморьянцы!

— А мы на тебя болт забили! — раздался из темноты все тот же издевательский голос. Нарвалов не знал, что ответить. Его становилось ужасно жалко. Вдруг из-за кулис появилось двое каких-то испитых субъектов и подняли ему веки, сиречь — бахрому на лице. Сверкая глазами, Нарвалов вперился в зал.

— Не вижу! Здесь пусто! — декларировал он. — Некого пепелить! Одни тени, тени!

— Разуи глаза, милый! — посоветовал ему оппонент. — Народу полно!

— Совет не из вещей! — мрачно усмехнулся доморощенный Вий, переходя вдруг к повествовательной интонации. — Мы, выразители новых идей в искусстве, носим глаза обутыми! Ибо не в свете глаз мы видим реальность, а в жестком излучении тайнознания! Тайна! Вот принцип. Тайна! Вот идеал!

— Ваше благородие! При ребенке!

— Сказано: «будьте как дети!» — удостоверил оратор. — И тайна откроется вам.

— А как же вы краски различаете? — крикнули из угла. — С обутыми-то глазами? На удельный вес, что ли?

— А вот это — секрет! — ответил Нарвалов. — Информация не для профанов!

— Бред какой-то! — густым контральто выдохнул женский голос.

— Все! Опустите мне веки! — рассердился вдруг выступавший. — Слепой глухим не товарищ! Тени вы несусветные!

Он повернулся боком, и неровной, усталой походкой, поддерживаемый под локотки ассистентами, дошел до правой кулисы. Тут он воспрянул и, воскликнув: «Избавим искусство от предрассудков!», — скрылся со сцены.

— Bravo, Нарвалов! — крикнул какой-то его поклонник. Все засвистели, заржали, заплодировали.

Вдруг на сцену выскочил шуплый малый.

— Товарищи! — крикнул он. — Целиком поддерживаю! Избавим искусство от слепоты предрассудков! Предыдущий оратор был прав! Я посвятил ему свою басню. Зачесть?

— Давай-давай! — кричали из публики. Голос шуплого казался знакомым. Уж не этот ли разорялся из темноты?

— Слушайте! — крикнул он.

Однажды некий кит, пороною Нарвал,

На именинах у моржа гулял.

Он там нарвал, нассал и наблевал.

Морал:

Каков нахал!

Привратник Сеня и ассистенты Нарвалова бросились прогонять шуплого за кулисы. А он бегал от них кругами, ловко увертывался, гримасничал; публика совершенно неистовствовала.

Зайцев вернулся домой слегка осовелый, развалился в креслице у окна. Трубопроводцы продвинулись далеко в глубину Волинского переулкa, сыпались искры, тихо шипел в поздних, но светлых сумерках синий огонек автогена. Отчего-то всплыла в сознании прямоугольная металлическая пластина, вделанная в стену старинного особняка, стоящего неподалеку от его дома. Некогда

особняк принадлежал одному почтенному князю, философу-чудаку. Железка покрыта слоями позднейших напластований, так что рельефные буквы на ней едва различимы:

Русск. Акц. О^{во}
Электрических
Районных
Подстанций.

Как, все-таки, здорово, что она уцелела! Шумели войны и революции, ширяли вокруг хищными крыльями просторного черного макинтоша стервятники-антиквары, а этот скромный распределительный щит, свидетель былого, окрашенный в защитные цвета стены, на которой он укреплен, все еще здесь, на положенном ему месте*. Удивительно это и потому, что место-то было недавно довольно бойкое — в нескольких метрах отсюда — пункт приема посуды. К счастью, сдатчики тары — люди особые, ослепленные блеском бутылочного стекла, на старинку не больно падкие. Впрочем, тайну дощечки знал еще один энтузиаст-краевед, бывший доцент по водному транспорту; позже — коллега Зайцева по производству пара, горячей воды и газовой копоты.

— Висит? — улыбался он заговорщицкой улыбкой, полной усвоенного на старости лет доморощенного демонизма.

— Висит, — отвечал Зайцев, помахивая авоськой с пустыми бутылками, и задавал по традиции идиотский вопрос: — Вы крайний будете? — Зайцев знал, что спроси его: «Вы последний?» — бывший доцент не на шутку обиделся бы.

Покуда двигалась вдоль шелудивых подвальных стен неторопливая очередь, приятели обсуждали разные актуальные вопросы, типа: можно ли привести в действие глухую стройную лавку из гофрированной стали, спущенную когда-то над дверью лавки на углу Мойки и Невского, и с незапамятных пор, очевидно, бездействовавшую.

— Думаю, можно! — говорил бывший доцент. — Подъемный механизм, вроде бы, цел. Отмочить в керосине...

— Напротив, совершенно, по-моему, безнадежное дело! — возражал Зайцев. — Там же все намертво приржавело! Проще новую изготовить, да кому это нужно!

— А и неплохо бы: мимо идешь, а штора-то поднята! Заглянул, а там — пустота!

— Пустота? В каком смысле?

— В прямом! — сказал доцент, и лицо его в электрической полутьме стеклопункта озарилось мертвенной, inferнальной улыбкой. — Ничто, и более ничего.

— Где-то Бубликом отдает! — ответил Зайцев, немного поразмышляв для приличия.

— Хороши еще фонари у подъезда Дома Ученых. Украшены, между прочим, грифонами. Представляете — идете ночью по набе-

* Увы, недавно его кто-то снял.

режной, а грифоны мигают в неровном газовом свете! Я видел — там даже краны сохранились!

— Все это мило, — возразил Зайцев, — но там теперь лампочки Эдисона. Установленные, надо полагать, еще Русским акционерным обществом районных подстанций...

— Т-с-с... — шептал собеседник, прикладывая палец к губам и озираясь с таинственной миной. — Как бы вас не услышали! Не подвергайте опасностям наш маленький раритет!

Но сдающим посуду было не до раритетов. Диалог прервал происшедший в очереди неизбежный скандал. Приемщик обсчитал какую-то толстую, неряшливо одетую тетку, и она разорвалась у окошка, задерживая плавное движение очереди.

— На двадцать копеек бы обсчитал, по закону, а то на рупь целый! Умный какой, паразит!

— А вы не оскорбляйте, милицию вызову! — гулко, как из бочонка, парировал бывалый приемщик. — Вы двадцать бутылок сдавали...

— Нет, двадцать пять!

— Так где же они?

— А ты их по ящикам рассовал! Умный какой!

Очередь недовольно шумела. Всем не терпелось скорей сдать посуду.

— Тетка, кончай бакланить, отваливай от окошка! — прохрустел какой-то прокуренный джентльмен в капитанской фуражке.

— Да чего собачиться, все равно бутылки-то дармовые! — выступила старушонка с остреньким носиком. — Она их по садика собирает!

Модно одетая женщина, глядевшая дотоле отрешенно и свысока, резко обернулась к активной той старушонке.

— А вы бы взяли да подарили ему бутылки! Чего ж вы-то собачитесь?

Доцент нагнулся у уха приятеля.

— Каков уровень правосознания! — ехидно шепнул он. — Прямо Афины древние. А-с?

Однажды он неожиданно позвонил Зайцеву.

— Спешу огорчить вас, почтеннейший!

«Ишь ты, „спешу“, старый фанфарон!» — подумалось Зайцеву.

— Да, я вас слушаю! — откликнулся он.

— У Одоевских нынче не принимают!

— В каком смысле?

— Пункт приема посуды закрылся. Говорят, навсегда... Теперь принимают у Виельгорских. На канаве Екатерининской. Милости просим! Не забудьте надеть визитку!

Все это привиделось Зайцеву в полудреме, которую вдруг нарушил металлический лягз. В прозрачных сумерках за окном все еще вкалывали ремонтники.

.....

На выставку Ягина затащила Таисия Павловна, любившая современную живопись. Комические сцены, там происшедшие, здорово их позабавили, и они собирались уже уходить, как столкнулись в дверях с пожилым лысым парнем, хорошим знакомым Ягина, по слухам — бывшим доцентом. Извинившись перед Таисией Павловной, он схватил Валентина за руку, отвел в сторону и заговорщицки прошептал, показывая глазами на его спутницу:

— Что за фемина? Ей можно доверять?

Ягина покоробил его панибратский тон; все-то сегодня мешают остаться наедине.

— Имею все основания ей доверять! — сказал он, иронически глядя в глаза доценту и вытирая толстые щеки не очень-то свежим холостяцким платком. — А что, готовится серьезная акция?

— Имею к вам предложение — проехаться в дельту Невы. Там у меня дружок голубей разводит — невиданных! Выпить можно, искупаться и поболтать. Ну, и конечно — без посторонних ушей! Поедьте вместе, ну что вам в городе киснуть?

Ягин на минуту задумался. Он и хотел, и бессознательно дрейфил остаться с Таисией наедине. Идти по хорошей погоде на «Амаркорд»? Как-то не хочется. Пригласить к себе в гости? А вдруг откажется? Или, наоборот, согласится, что еще, пожалуй, страшнее?

Они подошли к Таисии Павловне.

— Сегодня мы нарасхват! — сказал Ягин с виноватой улыбкой. — Вот Тихон предлагает голубей посмотреть... Не хотите?

Тася как будто бы поняла его душевное состояние.

— Отчего бы и нет? Я с удовольствием.

— Отлично! — улыбнулся бывший доцент. — Секундочку, я только Варю возьму, и — вперед!

Толстенкая Варя, увидев эту, в ее глазах уже весьма солидную, пару, почему-то вдруг зажеманилась.

— А я не помешаю вам, Тихон Петрович? У вас, может быть, свои планы?

— Ну что ты, котенок! — усмехнулся старый заговорщик. — Какие там планы! Пикник на обочине, вот и все.

— Да нет, не поеду! — вдруг зло уперлась она. — А вы — как хотите! Без меня вам, наверное, будет интереснее!

Таисия Павловна с Ягиным переглянулись. Заметив их ироническую реакцию, Варя еще сильнее надупилась, стояла, уперев глаза в пол.

— Бунт на корабле... — немного растерялся доцент. — Валя, подождите меня немного на улице! Только не уходите, пожалуйста!

— Мы уж пойдем, Тихон... Не беспокойся... — нерешительно произнес Валентин.

— Ни боже мой! — заволновался Тихон Петрович. — Погодите, мы быстро!

Вскоре он действительно вышел с виновато улыбающейся

пигалицей. Лысина у доцента сверкала как-то особенно победительно.

Вскоре, погромыхая на стыках, подъехал трамвай, и они тронулись. Заняли свободное место. Сидение было холодным, Таино тело — упругим и теплым, и хорошо пахло. Тихон, сидевший позади со своей девушкой, старался ее рассмешить — время от времени она прыскала.

Вот уж и Кировский мост. Черные на фоне легкого неба проплывают мимо старинные трамвайные мачты, как в театре теней. Солнце закатилось, но светлые лучи его витают в небе и облаках, создавая особое вечернее освещение, которое скрадывает, обобщает детали; в округе царит благородный кремовый монохром, как на картинах питерских пейзажистов середины прошлого века. Ощущается еще нечто розовое. Угрюмо-горизонтальные бастионы Петропавловской крепости почти что съедобны, будто сложены из темно-розовой пряничной выпечки. С реки несильно тянет водой. Легкий розовый отсвет играет и на одеждах Таисии Павловны. Ягин трепетал.

Тася поглядела на Валентина долго и испытующе. Потом, как бы в чем-то удостоверившись, она улыбнулась сама себе характерной, примирительно-иронической улыбкой и рассказала ему не совсем уж веселую историю из своей жизни.

Любил ее тот самый дебелий поэт, которого они встречали на приеме у Бублика. Тогда он был веселым и легким, и в этом она нуждалась. У них случился роман. Ее особенно поразило, как он все хотел ее одарить каким-то роскошным рубиновым ожерельем, фамильной редкостью баснословной цены. Она отказалась, но была ему благодарна. А когда умерла ее мать, и она ужасно переживала, он вдруг пропал, ослабев душою — не умел он делить чужого несчастья. И тяжкую ношу тех горьких проводов, ношу тем более тяжкую, что она была связана с глупейшей бюрократической беготней, столь не соответствовавшей ее глубокому горю, пришлось донести ей одной. Потом он вновь появился как ни в чем не бывало — улыбчивый, ироничный. Но она прогнала его, сказав на прощанье: «Так все вы, поэты — готовы дарить и перлы, и лал; сочувствовать в горе — вы неспособны...»

Сильное, почти слезное чувство всколыхнулось в душе Ягина.

— Если хотите, я лично буду оберегать вас от горестей, — сказал он. — Поверьте — всю жизнь! Поверьте!

В паузу, которая установилась меж ними, влился голос их спутника, пожилого доцента:

— Согласен, политика кой-какая была! — докладывал он своей спутнице с лекторской интонацией в голосе. — Политика кой-какая была, но совсем не бывало политиков! Так, министр, назначенный сувереном, а не избранный волею народа, есть лишь более или менее искусный слуга, технический исполнитель монарших соизволений! Вспомните Сперанского, Варенька, вспомните Витте!..

Несмотря на весь драматизм их еще не остывшего в душе разговора, Ягин и Таисия Павловна переглянулись и приснули. Обоим стало смешно. Старый селадон охмурил свою пассию историсофскими выкладками!

Трамвай неторопливо катился в сторону моря.

Глава 4. Небесные божжи

— Но ты придаешь своему голубятству какой-то тайный оттенок! — сказал Лера, понимающе улыбаясь. — Ох, и непрост ты, Андрюша...

— А кто из нас прост? Разве что Заводной?

— Заводной? Падло! Заводной — игрушка железная! Кстати. У меня ж еще дело там, в гаражах.

— Ой, не суйся туда! Ну их, гадов.

— Дело, Андрюша, я не шучу. Хорошо, ты напомнил!

— Осторожнее, Лера, гаражные — они и есть гаражные граждане, душа из них вынута, белый голубь...

Лера распахнул дощатую дверь. Кусты полыни шуршали, колеблемые налетевшим под ночь свежим ветром. В них притаилась какая-то тоскливая сутемь. Сумерки сгустились, но было довольно светло. Грязновато-розовые от зашедшего далекого солнца ряды гаражей упирались в светлые значочки крестов — кладбище. На решетчатой ржавой мачте над сторожевой будкою горел синим светом бесполезный прожектор.

При входе, сбоку от шлагбаума, располагалась автомобильная «горка». Там с горделиво задранным капотом возвышалась красная «волга». Перед ней на коленях стоял Горбоносый, подложив снизу ватник наподобие молитвенного коврика. Дементьев тронул его за плечо.

— Что, вечерний намаз творишь, братец?

Горбоносый, не вставая с колен, поднял голову.

— А, это ты, мажор! — сказал он. — Видишь, машину починаю товарищу Расторгуеву! — Он почесал в голове. — Торцевой на двадцать два надо бы принести... — Видно было, что он увлечен своей деятельностью. И вдруг настроение его резко переменялось. Он вскочил на ноги.

— Вали отсюда, по-быстрому! Тут меня Заводной чуть коленвалом по кумполу не огрел! «Кого, — кричит, — к нам таскаешь! Хулиганье? Какие у вас с ним делишки?» Не знал, чего и сказать!

Он сунул руку за пазуху и вытащил замасленный сверток.

— Забирай и отваливай! Я его еще до Заводного исправил! Бери и давай — ноги в руки!

— Сотню-то заberi.

— Не нужно мне ничего. Ты меня не знаешь, а я тебя. Честно прошу — канай отсюда!

— Ишь, как вас тут всех — один запугал! Жить не скучно?

— Ничего, жить не скучно, за ним мы — как за каменной стеной. Своего пока что не упускаем. Но злить его — это уж на фиг, себе дорожке, тут все у него заряжено. Будь здоров, не чихай, не кашляй! А я за торцевым поканал.

Дементьев положил сверток на дно кожаной сумки, рядом с пачкой патронов. Надо идти. Проходя по щебнистой дороге мимо сарайчика, он увидел, как голуби мирно возятся внутри сетки, и ему захотелось проститься с Андреем.

— Гуд бай и арриведерчи! — сказал он, прикрывая за собой дверь, но уже не присаживаясь. — Мне с утра мочить кадетов и юнкеров! Такая уж работенка!

Не успел он договорить, как стены сарайчика затряслись от тяжелых ударов.

— Вылезай, сукин сын! — послышался с улицы голос Заводного. — Выноси манатки! Кончено с музыкой!

Дверь распахнулась. Сквозь узкий проем были видны темные фигуры гаражных, вооруженных тяжелыми монтировками. Их было много.

Андрей вышел на порог.

— Что вам, братушки? — спросил он, сдерживая невольную дрожь. — Зачем вы пришли в поздний час?

Вперед вышел Заводной, со злобным торжеством поблескивая глазами из-под нависшего лба. Он ткнул под нос голубятнику какую-то жеваную бумажку.

— Видишь — постановление! Решили единогласно. По генплану, территория, на которой расположен твой самопальный зверинец, принадлежит гаражному кооперативу. И на этом пятне будет поставлен гараж для товарища Расторгуева. Давай — выметайся!

— Братцы, куда же я птичек дену, на ночь-то глядя? Подождите хоть два денька, а там разберемся...

— Ну, это уж хрен тебе в грызло! Товарищи пайщики, прошу приступить к разборке!

Гаражные накинулись с монтировками на сарай.

«Птиц ведь погубят! — подумал Лера. — Надо им дверь распахнуть, чтоб летели!»

Взяв свою сумку, он по приставной лесенке поднялся на крышу.

— А, и ты здесь, драчун! — увидев его, закричал Заводной. — Ну, с тебя-то особый спрос!

— Слушай-ка, ты, рыло чугунное! — сказал ему Лера с крыши сарайчика. — Не трогал бы ты мирных птиц. Что тебе, места мало? Или опять в носу зачесалось?

— Слышь, Запорожец? — рявкнул вожак кому-то из своей стаи. — Он еще там выступает! Ломай, чего смотришь?

— Стоять! — закричал Лера, выдергивая из сумки наган и с треском распечатывая коробку с патронами. — Кто подойдет — застрелю!

Гаражные в страхе попятились. В отдалении мялись, но не уходили.

В это время к сарайчику подоспели Варя с бывшим доцентом и Ягин с Таисией Павловной.

— Ах-ах, — заахали дамы, — товарищи, что же здесь происходит?

Ягин придвинулся к Тасе, взял ее за руку.

— А, это ты, Ягелло! — усмехнулся Дементьев. — Скажи им, что я — человек решительный. Пусть лучше птичек не трогают, чумазные твари!

— Лера! Сейчас же спускайтесь! — беспомощно воскликнула Тася. — Товарищи, что ж это, в самом-то деле?

— Уходи, брат, плетью обуха не перешибешь! — чуть не плача, крикнул Андрей. — Пусть порадуются!

— От винта! — злобно выдохнул Лера. — Только суньтесь, гаражные.....!

Ему было жалко себя — того, что он, как лопух, влез в серьезную ситуацию; но птичек решил обязательно защитить. Гаражные по-прежнему мялись, не зная, на что он решится.

Заводной что-то шепнул коренастому Запорожцу. Тот, крепко покачиваясь на коротких ногах, заспешил в сторону гаражей.

— Слушай, земля! — крикнул из толпы Горбоносый. — Неужто ты будешь по людям стрелять?

— Так вы разве люди? — ответил Лера. — Разве людям мешают птицы?

— Дементьев, а может, выпьем, да разойдемся? — робко спросил его бывший доцент. — Мы и вина принесли...

— Вот разгоню эту сволочь, тогда и отпразднуем! — подбоchenился невысокий, но мускулистый Дементьев.

Гаражные захихикали, зашевелились. Чумазные лица их осветились предвкушением чужой выпивки.

— А может, и вправду, оставим до завтра? — сказал Горбоносый. — Что с ним, припадочным, связываться? С утра милицию вызовем и отселим голубчиков...

Запорожец спешил обратно с полной канистрой.

— Давай, поливай! — приказал ему Заводной, указывая на стенку сарая. Запорожец закувыркался с канистрой в сторону голубятни. Дементьев выстрелил. Из стенки канистры прямо на дощатую дверь полилась струйка бензина. Бросив канистру, Запорожец двинулся в толпу, за спины любителей автомобильного транспорта.

— Так-так! — злорадно пропел Заводной. — Вооружен и оч-чень опасен! Да нас и судить за него, бандита, не будут!

— Прекратите! — не выдержал Ягин. — Ты что, паханюга, раздухарился? Тоже мне, урловой! Тут же мокрухой пахнет; вышку подклямзить хочешь?

Кто-то коротко двинул ему кулаком в зубы. Охнув, Тася вцепилась в него и отвела в сторону, в темноту. Там она бережно стала стирать с его подбородка бегущую кровь.

— Нет, вы понимаете, какое это варварство? — спрашивал Ягин у Таисии Павловны, с трудом управляя разбитым ртом.

Стая гаражных придвинулась поближе к сарайчику.

«Надо птичек спасать!» — подумалось Лере. Он уперся плечом в некрепкую клетку и надавил. Стойки ее затрещали. Тут кто-то бросил в натекший бензин зажженную паклю. На дверях голубятни вырос огненный куст.

— В целях вынужденной самообороны! — как из бочки, пробубнил Заводной.

«Хреново!» — подумал Лера, нажимая на клетку что было силы. Птицы там беспокоились, трепетали. Лера еще поднажал. Пламя обступало его со всех сторон.

— Свобода! — закричал он, уже слегка обожженный. — Свобода превыше всего! Еввива де либертад! — Ноги его исполняли, под действием иногда достававшего их огня, какой-то дьявольский танец. Наконец клетка рухнула, и голуби взвились в воздух. Только один из них, то был последний потомок великого Заиграя, упал и забился, обожженный, у ног Заводного. Тот наступил на бедную птицу; Дементьев выстрелил. Заводной упал как подкошенный. В страхе толпа раздалась, а потом сгрудилась вокруг Заводного. Воспользовавшись замешательством, Лера сиганул вниз, сквозь огонь. Одежда на нем дымилась и сыпала искрами. Ягин и Тася сбили огонь.

Толпа раздалась. Заводной лежал, распластав на траве могучие руки. Бывший доцент, как умел, успокаивал бывшую в истерике юную Варю. Толпа гаражистов испуганно гомонила.

— Хйба ж ты нашего Заводного убил? — горестно-высоким голосом спросил Запорожец. — Он же душевный был человек, хлопче!

Дементьев молчал, глядя на раздавленного, грязножелтого при свете горящего сарайчика летуна. Ему было жаль прекрасную птицу.

Заводной вдруг открыл глаза. Сел, хлопая веками. Поднес руку ко лбу и оторвал от него как бы кусочек фольги. Потом поднес его к ошалелым глазам.

— Расплюшилась! — сказал он удивленно. — Отчасти...

— Граждане, выпьем! — воскликнул бывший доцент. — За чудесное избавление от неминуемой гибели! — Он достал из сумки «сабониса», ловко свинтил жестяную пробку и глотнул водки. На лице его застыло выражение неземного блаженства.

— Натe, попейте! — сказал он сидевшему в траве и с недоумением разглядывавшему расплющенный кусочек свинца Заводному. Доцент присел рядом с полуоглушенным лидером гаражистов и стал подносить к его рту бутылку, приговаривая: — За папу... за маму...

Лицо пострадавшего медленно розовело. Потом бутылка пошла по рукам.

Заводной вдруг заулыбался.

— С того бы и начинали, ребята! — сказал он с каким-то, не идущим к его тяжелому, налитому ртутью лицу, мечтательным выражением. — Ну вот ты! — обратился он к задравшему голову и всматривавшемуся в ночное небо Андрею. — Принес бы полбанки, раздавили бы, покалякали... Мы что, не русские люди?

— Вот уж, действительно, Ноев ковчег, — не отрывая глаз от темного неба, сказал голубятник. — Семь пар нечистых...

— Соляркой вас заправлять, а не водкой, вонючие полудизели! — промямлил Ягин распухшим ртом.

— Валентин! Мне очень вас жалко, поверьте! — сказала Тася, и глаза ее как-то особенно заблестели. Похоже, она собиралась заплакать. — Но послушайте! Сколько же можно говорить афоризмами? Устраивать представления в посольствах, скандалы на выставках? Доколе вы будете смелыми лишь с равными себе по чувству и мысли? Или вся ваша мощь — лишь в пространстве воображения, где ни фундамента, ни стропил? На холсте, на листочке писчей бумаги, в фиолетовой дольке детской игрушки? Чего же вы, Ягин, стóите вообще-то? Сделайте что-нибудь!

— Зайцев в таких случаях говорил... — вставил доцент, но тут Лера не выдержал.

— Да заткнулся бы ты со своим Зайцевым! — грубо прервал он. — Зайцевы, Нарваловы, Вапировы, Бубрики... Тут отечество в опасности, голубей убивают!

— Ну, Ягин! — пристально глядя на Валентина, требовала Тася.

— Вы уж увольте, Таисия Павловна, но Лера, как-никак, уже кое-что сделал. Я бы даже квалифицировал его действия как максимально возможные в данных условиях...

— Только-то? — с глубоким вздохом молвила Тася.

— Нет, это не все! — как-то тихо и кротко ответил Ягин. — Вам не нравится механический мандарин? Возьмите простой.

Он достал из кармана завалывшуюся теплую мандаринку, ошкурил ее и на открытой ладони протянул Тасе.

— И я хочу! — капризно протянул с земли Заводной.

— И мы, — сказали гаражные.

А птицы поднялись высоко. Оттуда, с небес, им был виден красивый невысокий пожар, где трещали, взрываясь, патроны из лериной оброненной сумки, и точки людей вокруг, возбужденно обсуждавших какие-то свои, людские дела. Голуби все кружили над сгоревшим гнездовьем, и никто, даже их несчастный хозяин, безрезультатно искавший их взглядом в мерцающей темноте, не мог оценить совершенной красоты их полета. Потеряв свое место жительства, они стали — бродяги, бомжи, что для птицы, впрочем, естественно, не то, что для иных, вполне несчастных людей. Ведь птицы небесные не жнут и не сеют, а Господь питает их.

Владимир Бацалев

КОЗЯВОЧКА

Надо же! Только я подумала, что вода в душе ревет, словно зал после бенефиса, и появились вы из полиэтиленовых кулис. Курите, курите. Я люблю табачный фимиам. Мой муж тоже балуется трубкой. Он — друг парадоксов и брат краткости. Но я не могу вас познакомить, потому что он ушел. А мы вот остались и теперь принимаем ванну при свечах. Это не эксцентричность, есть тривиальный повод: где-то перегорела проводка, или выключатель перестал работать в режиме выключателя... Откуда я знаю? В доме нет головы и рук, чтобы найти причину. Электриков из ДЭЗа я боюсь: я еще толком не оправилась от прихода слесаря. Слесарь не понял, что его вызвали к подтекающему крану. Он засунул нос в вырез моего халата, он обхватил мою талию, он потащил меня в комнату и там предложил в подарок оцинкованные трубы, которые не ржавеют, а когда я отказалась и заплакала, прижал ладонь к сердцу и пообещал не пить и жениться. И, наверное, женился бы, если б любопытная соседка не заглянула в дверь. Тогда слесарь подхватил чемоданчик и убрался, а я побежала на Птичий рынок и купила щенка у старухи. Сунула за пазуху и пошла назад, а у ворот тетка в ватнике и с метлой говорит: «Дура ты, девушка, она его вчера на помойке подобрала...» Но я и сама знаю, кто я. Не хуже нее. Спросила у помоечного щенка, что он о своей хозяйке думает, а щенок залег под вешалкой и давай скулить. По помойке скулил, наверное, и я вместе с ним чуть не выла. Но потом он прижился, я назвала его Фуфлунс, и вот теперь мы принимаем ванну при свечах и ждем, когда Фуфля научится рычать и лаять для моей безопасности. Тогда и позовем электрика. Без соседки...

Из свечей идет дождь по капле. Я, как Афродита, поднимаюсь из мыльной пены, застывшие капли облепляют тело, и вот я стою перед зеркалом вся в блестящей стеариновой сыпи — шедевр советской порнографии. Хороший бы получился автопортрет, но душ смоем краски. Фуфлунс лежит на кафеле и повизгивает. И так каждый день. Нравится вам у нас?.. А лужа откуда? Я пролила, или Фуфлунс надул? Я его бью за лужи. Он, правда, вредный такой, наострился ходить в самые укромные места. Тут из-под кровати я вымела ну просто каменную кучу. Как яйца маленького динозавра...

А муж от меня ушел. Давно ушел. Я даже забыла когда. Но раньше помнила. Целый год вспоминала, как убила муху, и она упала на паутину в углу, и, когда пришел муж, я показала ему паука, который сосал муху. А муж сказал: «Ты готова любоваться ерундой и кормить даже пауков, и только для меня у тебя нет ни еды, ни внимания», — собрал чемодан такой же, как у слесаря, и ушел, как слесарь, под немым укором соседки. В мастерскую ушел. Теперь угощает всех чаем без сахара и прячет грязные простыни за картинами, а недавно порвал брюки и пустил на тряпки, хотя можно было заштопать и носить дома. Но кто ему заштопает? А самому — недосуг, ему интересней работать, чем ковырять иглой ветошь. Правда, жила там одна, в него влюбленная, но оказалось — она умеет только любить и тратить. А это все умеют, особенно когда есть и любовь, и деньги. Несчастное существо с физиологическим счастьем. Но он и ее выгнал. Видите? — я все про мужа знаю, а что не знаю — придумываю. Например, — что вместо люстры у него висит подсвечник вверх ногами, а под ним — сталагмит из воска, макет его мечты — Эльбруса... Что мужу звонят глупенькие девушки, помешанные на художниках, и говорят с ним ни о чем: ни о погоде, ни о знакомых, ни о себе, — а он кладет трубку на пол и от одиночества целует узоры на обоях рядом с подушкой. Вот как ему плохо без меня! И сам виноват. Пусть не заводит барышень при живой жене... Хотя я тоже никудышная хозяйка, даже смешно, какая я никудышная. Постирать еще могу, но увенчать каждую вещь прищепкой мне лень. Представляете? Мне даже лень смотреть, как белье улетает с ветром. А вы видели? На птиц похоже. Когда люди убьют всех птиц, можно будет вот так вспоминать о них. Хорошо, хоть соседи выучили мой гардероб и подбирают на улице. А мальчик, что живет этажом выше, снимает мои юбки с деревьев. Вещей мне не жалко, они — уроды, они окружают меня с детства, с тех пор как меня чуть не оставили на второй год в первом классе за то, что я не умела завязывать шнурки, и сделали общественницей в наказание. Мне было бы жалко вишневое платье, но я его не стираю, и оно не летает.

Кто же вы такой? Может быть, вы ошиблись? Подъезды тут одинаковые, их надо считать по водосточным трубам. Если вам в третий подъезд, значит, заходить надо между третьей и четвертой водосточной трубой. Вы знаете, к кому пришли?.. Дома меня зовут Оля, а на работе — Козявочка. Это главный технолог придумал. Он однажды сидел на совещании и ковырял в носу. А когда вытащил застывшую козявку, то показал палец начальнику отдела и сказал: «Смотри, как на нашу Оленьку в профиль похожа», — и начальник засмеялся, Оленька-козявочка, говорит. Меня все обижают: вот в школе на выпускном вечере решили, что раз мы — гармонично развитое стадо с полным выменем трудовых навыков и в теле знаний, то кто-нибудь должен замычать вместо аплодисментов директорской речи, и мычать пришлось мне; вот и в училище, когда играли в Степана Разина на озере, я была выбрана

княжной единогласно, и меня брали на руки, чтобы бросить; вот и на работе разве что пальцем не показывают, а за спиной — ха-ха-ха и гы-гы-гы. И я терплю и мучаюсь, когда меня все обижают, потому что муж за меня не заступает, а сама я мнительная. Он ведь со мной работает, муж-то. Мы и познакомились на кладбище, разговорились в ожидании гроба, а гроб застрял с автобусом в пути, и кто-то звонил на базу, требовал подмену, а кто-то бегал по шоссе с протянутой рукой за машинами, способными служить катафалком. Хоронили нашего директора, но мы его даже в глаза не видели, хоть он и умер на посту. Сгорел синим пламенем. Пшик — и нет директора. Нас попросили прийти на кладбище для толпы. Чтобы вокруг покойника было людно. Мы работали художниками-оформителями по рекламе и на работу не ходили, только за зарплатой и заказами, а это не считается, что два раза в месяц. Я не ходила, потому что меня никто не просил, муж вообще не смог бы сидеть в комнате, где на окнах решетки и люди ежедневно проводят восемь часов в тюрьме, а почему не ходили остальные художники — я не знаю. Наверное, у них тоже была веская причина. Но я среди них — самая честная: я не хожу — я и не работаю. Знаете, как трудно рисовать рекламу плакатным пером! Я могу набросать флакон одеколona и подписать: «Духи „Красный мак“ — прекрасный подарок девушке!» — а невнимательный заказчик посмотрит на мои художества издали, без очков, и почему-то увидит силуэт завода, и прочитает: «Слава советскому народу — строителю коммунизма!» Нам бы, говорит, какую-нибудь аллегория счастья и надпись с завитушечками. Только я не могу изобразить аллегория счастья, а все аллегория воспринимаю буквально, и, если говорят по радио: «Вся страна дышит негодованием», — я теряюсь, мне этого не понять. Я смотрю из окна на улицу и вижу, что люди дышат воздухом и хоть бы один вздохнул гневом. Ну как мне жить с таким воображением?

Когда ушел муж, я чуть не умерла с голода. Но теперь меня подкармливает мама. Она приезжает из поселка, покупает два мешка продуктов и уезжает. А потом высылает мне небольшими порциями. И вот что интересно! — все посылки одинаковые. И у меня в столе лежит трафарет для письма маме... А знаете, как от меня ушел муж? Я вам не рассказывала? Увидел однажды, что я плюнула в унитаза, и перестал со мной целоваться. Не могу, говорит, целовать плюющее существо, мне противно. А сам называл меня хрупкой и ласковой. А сам собрал чемоданчик и сказал из дверей: «Хрустальный бокал тоже отделяет от помойки неосторожный поворот локтя». Вы знаете? — он меня обижал. Сначала возился со мной, как ребенок с погремушкой, а потом стал обижать. «Плоская ты, Оля, — говорил он мне, — как доска. Насмотрелась всяких журнальчиков, узнала, что в Европе мода на плоских женщин, и теперь мнишь себя чуть ли не королевой по плоскости», — вот что он обо мне говорил. Разве можно так обижать? «Помнишь, — говорила я ему, — мы ехали с кладбища, а водитель

играл педалями тормоза и газа, и инертные пассажиры, стоявшие в проходе, делали то шаг вперед, то шаг назад и, хоть ехали в автобусе, но как бы гуляли. И на той прогулке ты сказал, что у меня не волосы, а тополиный пух, и когда перебираешь их — словно вода бежит меж пальцев. И я после этих твоих слов целую неделю ходила такая счастливая, что мне перед людьми было неудобно». — «Расскажи это бабкам на подъездной завалинке», — ответил он. А я молчу, смотрю на мужа с опаской и думаю: сейчас еще гадость скажет. Может, я должна ходить по улицам и выливать юбкой, раз больно нечем? Может, шея у меня, как у курицы, и на ней браслет сойдется? Смотрю и думаю: отчего это все? Оттого, что я с первого класса рисовала стенгазеты и транспаранты к праздникам и потом в училище тоже рисовала?.. А за что? Муж говорит, что меня с детства окружали уродливые вещи и понятия, то есть они — обыкновенные, но обязательно с какой-нибудь внешней или внутренней щербиной. Оглянитесь вокруг — сами поймете. Все понятия ущемленные, а вещи — на полпути к помойке. И вот меня ими заразили с первого класса, и я больная, то есть мое воображение больное, сама-то я здоровая, но дурная, потому что понимаю все буквально. Он говорит: «Ты с детства видела одних уродов», — вдальблывает в мою голову, а потом удивляется, когда я подхожу к зеркалу и на глазах порчусь. Кольца надену, серьги, лицо нарисую — а все равно уродина, потому что живу у кинотеатра «Родина». «Посмотри на микрорайон из окна, — говорит он. — Даже пасека наряднее выглядит. Вокруг ульев хоть трава свободно растет, а тут и деревья обкорнали под новобранцев. Вот и в мазульках твоих люди разнятся не лицами, а возрастом». И так кричит, кричит на меня, как раненая птица, и как будто я в чем-то виновата. Я уйду от него, присяду на край ванны, пушу воду и думаю: вот на земле миллионы ключей собираются в реки, а реки — в моря и океаны. Это хорошо, но это общий мир, и я тут ни при чем. А в нашей квартире два горячих ключа — на кухне и в ванной, — и три холодных — на кухне, в ванной и в туалете, — и все пять текут в канализацию. Может быть, в этом моя вина?..

Вот он — мой муж — свое воображение берег. Когда в детском саду всех заставляли строить из конструктора панельные машинки и дома из кубиков, он назло собирал панельных зверушек и квадратных человечков. И теперь он художник-конструктивист, а я малюю натюрморты из героев и лозунгов. И заказчикам они не нравятся, а некоторые откровенно смеются, пока я не разревусь. Им только одна моя работа подошла, про «Хлеб всему голова». Но там заказчик оказался на меня похож. Он в яслях стал старшим группы, а из школы ушел в общественную работу. Вот он восторгался моим «хлебом» и говорил: «Как-как-как?! Как-как-как?!» — и так настойчиво, так уверенно, так долго, что его маленький сынок наклал в штанишки... И я жила-жила на тот хлебный заказ, деньги таяли-таяли, как свечи... Но свечи-то ерудна, я могу лежать в ванне с фонарем. «А как существовать без денег?» — спросила я на-

чальника. Он наложил мне полную сумку деревянных болванок и говорит: «Вот, Козявочка, раскрась их, и выйдут матрешки. Верни мне, получи деньги и питай тело». И я принесла домой эти болванки, беременные друг дружкой, думала, опять вместо игрушки какое-нибудь заранее счастливое уродство на свет появится, даже контуры набросала этого «заранее счастливого» с комсомольским значком, в рабочем комбинезоне и руками на животе. А потом вижу: получилась у меня то ли палеолитическая венера, то ли степная каменная баба, — получилось у меня, что матрешка — это русский символ женского плодородия. И я стала думать: а как выглядит мужской? — подумала и решила, что это — блуг. И вот я повесила матрешке на спину плуг, как рюкзак, а на беременном животе написала лозунг: «Будьте неразлучны для пользы и радости!» И всем мои поделки понравились, а начальник даже велел сфотографировать их для рекламного проспекта и выписал направление на съемку. И я пошла в фотостудию, но в коридоре меня поймал начальник штаба гражданской обороны, приставил палец к груди и спрашивает: «Что надо взять из дома в случае ядерной войны?» А я опешила и говорю: «Вот, матрешки мои». А он говорит: «Зачем они тебе без противогаза?» И я послушалась его, села тут же на стул, достала кисти и надела на все символы по противогазу, раз так требуется, а потом пошла к фотографам...

Только когда принесли готовый проспект, я испугалась, потому что мои матрешки на картинке были сине-серые, я подумала, что стала дальтоником, хотя знала, что женщины дальтониками не бывают, вот и испугалась до смерти, что стала дальтоником и мужчиной. Но оказалось, это в типографии проспект печатали на двукрасочной машине, а глаза мои тут вовсе ни при чем. Зря испугалась, надо было спасибо сказать, что хоть так сделали. И я подумала: ну и пусть символ плодородия будет синим, он ведь не председатель профкома, рекламирующий путевки в дом отдыха. А муж посмотрел в проспект, посмотрел на паука, сосавшего муху, посмотрел на меня, которая плевалась в унитаз, и ушел восвояси, в свою мастерскую. У нас оказалась полная разновкусица. Он оказался эстет, а я — плакатная потаскушка в сине-серых тонах.

Была, правда, одна вещь, которая нравилась и мне, и ему — мое вишневое платье. И вот теперь, если я забываю про мужа, то несу платье в «комиссионку», а как вспоминаю, бегу назад, срываю с вешалки и кричу продавщице: «Заверните!» А она говорит: «Вы бы хоть померили», — а сама скорее складывает, боится, что я передумаю, и кивает головой на кассу. Только я не передумаю, у меня уже кошелек разбух от этих квитанций, и каждая — в двух экземплярах, потому что одну мне выписывают при сдаче платья, а другую — при покупке: ведь у меня могут возникнуть претензии к товару. Там так и написано: «В три дня».

Вот сейчас соберусь и дам платье. Муж мой хоть и смотрит только на себя, а вдруг пройдет мимо магазина и заметит на витрине, заметит и одумается, и придет домой, покормит чем-нибудь.

Он ведь бросил меня и не понимает, что я привязалась и одна с ума схожу... Нет, платье я уже сдала, завтра покупать... Может, мне пойти на работу в столовую, чтобы есть там досыта?.. А вы откуда свалились? Ну, что вы стоите и на меня, голую, смотрите? Как вы вошли в запертую дверь? Вы почтальон с посылкой или курьер с работы? Впрочем, все равно: я не жду ни того, ни другого. А может быть, вы, как образцово-показательный сантехник, пришли на «бис» моей водопроводной трубы, похожей на руку культуриста? Нет, вы — дохлый, вам с ней не справиться. Но, может быть, у вас есть отвертка для моего выключателя?.. Ну, сделайте хоть что-нибудь доброе, раз пришли. Хоть полы подметите. Да не хватайте вы меня! Терпеть этого не могу и сразу плачу. Вы уроните свечу и устроите пожар. А эта лужа откуда? Это Фуфлунс напрудил?.. Никакой вы мне не муж, не прикидывайтесь и не считайте меня за дурочку. Считайте лучше водосточные трубы. Я знаю, чего вы от меня хотите, только этого у меня давно нет... Мой муж молодой, а у вас борода и усы, у вас паранджа на лице. От кого вы спрятали щеки? Фуфля, укуси дядю побольнее, как меня за палец... Не надо, я сама, прошу вас, не берите меня на руки. Я вся в воске, меня в музей надо поставить к Адонису поближе... Никакая я вам не маленькая девочка! Я уже в первом классе созрела для общественной работы, потому что умела проводить прямые линии. А теперь все говорят, что я сошла с ума, и я не знаю, кому мне верить...

ЭРЗАЦ В КАРТИНКАХ, НА ОЩУПЬ И ЗАДАРОМ

У некоторых женщин в пожилом возрасте на лице выступают волосы. Как раз Г. В. была из их числа, только еще не добралась до старости и поэтому довольствовалась лейтенантскими усиками, которые ничуть не портили ее физиономии, наоборот, из них складывалась сытая усмешка амазонки, вернувшейся из боя. Начальник планового отдела даже гордилась врожденным вирилизмом, но сейчас, перед кабинетом директора, она отняла у секретарши косметичку и тщательно засыпала усы пудрой. Поправив нитку крупного искусственного жемчуга, дважды перетянувшую шею и поэтому напоминавшую зубной протез, который, казалось, готов укусить любого нахала, решившего сунуть нос в декольте, Г. В. подтолкнула вперед Веру, вошла следом и сказала с порога, отмечая каждое слово шагом:

— Я категорически! Такую скромницу! Только через мой!

— Удивляюсь вам, Галина Владимировна, — сказал директор. — Что мне ее скромность? Я не жду от Веры Петровны приглашения на «белый» танец. Мне нужна трудолюбивая и исполнительная сотрудница. Ваша рекомендация...

— Да не главбухом я ее! — закричала Г. В. и подалась вперед, отчего директор спрятал руки под стол. — Я на свое место! Потому что уходить тогда!

— Успокойтесь и проговаривайте фразы до конца, — попросил директор.

— Могила ее там! — сказала начальник. — Таська после себя в бухгалтерии! Полный кавардак! Она так дела, что, кроме нее, — никто ничего! Даже в какой папке какую бумажку! Потому что незаменимую работницу из себя!

— Я догадываюсь, — сказал директор. — Но кого мне назначить? Заместителя не могу: у нее дети все время болеют, — остальные в бухгалтерии без образования. Конечно, я сразу не оформлю Веру Петровну, посидит полгода и. о., а там видно будет. Может быть, кто-то со стороны появится... В случае чего — вернем родному отделу. Пишите заявление, — сказал директор Вере. — «Прошу перевести на должность главного бухгалтера». Пишите, и в добрый час!

— Дайте ей! — сказала начальник.

— Что? — спросил директор. — Персоналку? Выговор? Или подумать?..

Звона каблуками, как шпорами, и посыпая кафель искрами, Г. В. неслась по коридору впереди Веры и голосила:

— Ой, не вздумай! Ой, не ходи! Он дуру ищет, чтобы подписывала все подряд! Посадят тебя! Первая же ревизия упечет!

Но Вера не представляла, как сказать директору «нет».

— Главный бухгалтер должен зверем смотреть, — начальник на ходу развернулась и показала такого зверя.

Вере стало страшно.

— ...А тебя попроси хорошо, так ты свой смертный приговор подпишешь, не то что липовый трудовик!.. — сказала Г. В. и приняла человеческий облик.

На лестнице им попался Григорий Матрехин. Он курил папиросу, поставив ногу на урну и локоть — на коленку.

— Вера, — сказал Матрехин, загораживая телом пролет, — ты вон по службе растешь, а я все в женихах сижу. Разве это товарищески? Разве это по-комсомольски?

— Балда! — сказала Г. В. — Ты-то тут при чем?

— Я Веру люблю и хочу жениться, — сознался Матрехин и, сделав два-три неловких жеста, стал вылитый жених. Видимо, он давно репетировал.

— Это мы уже! И все про тебя! — сказала Г. В. — Что ты алфавит только до буквы «д» и по вечерам пиво!

— Не верь ей, Вера. Я — заботливый и домашний.

— Подойди-ка ко мне, — приказала Г. В. и, когда доверчивый Григорий приблизился, спросила: — Жить хочешь, слесарь?

— Хочу, — сознался Матрехин и почему-то покраснел за свое желание.

— Тогда марш на рабочее!

— Я хочу жить с Верой, — помечтал вслух Матрехин.

Г. В. вдруг хлопнула себя ладонью по ядренному бедру:

— Тебя надо срочно замуж! Ты народишь детей, которые заболуют! Ты забудешь всякую бухгалтерию! Решено бесповоротно! После работы пойдем в «Бутербродную» и найдем тебе мужа. Правильно я мыслю? — спросила она саму себя и сама себе ответила: — Наверняка правильно! Откуда в моей голове ошибки?

Вера чуть не заплакала, слушая решение своего начальника, которая с раннего детства твердолюбила знала, где хорошо и что плохо. Возражать ей было бессмысленно: во-первых, на время спора она глотала; во-вторых, от волнения забывала говорить конечные слова в предложениях, и тогда ее аргументы становились еще убедительнее. Она убеждала бы до посинения, топя ногами, в крайнем случае снизошла бы к уговорам, но своего бы добились. Даже директор кивал головой, как болванчик, если Г. В. осеменяла производственную идею, высказанная обрубками фраз, но потом делал по-своему. Тем не менее, по понедельникам начальник возвращалась с планерки, сытая криком и довольная собой: «Терпение начальства — это бревно дубовой закладки. Но я гну коромыслом любые бревна и обтесываю их на свой лад! Там, в кабинете директора, я работаю, как папа Карло!..»

В плановом отделе младший экономист Леля сидела на столе и красила губы в сюжурюлевый цвет.

— Займись делом! — вскрикнула начальник, глядя на подчиненную василиском.

— Нечего мне делать, — прогундосила Леля, не шевеля губами.

Г. В. сунула ухо в радиоприемник, висевший на стене, и ее прямо-таки затрясло оттого, что из-за директора она пропустила производственную гимнастику.

— Над чем ты работала только что? — спросила она, стуча зубами от гнева.

— Не помню, — сказала Леля, — считала что-то.

— Пересчитай, проверь себя!

Вера села за свой стол и, придвинув арифмометр, стала решать задачу: сколько фабрике требуется на год шариковых ручек, склянок чернил, резинок и других канцелярских товаров. Хотя число в соответствующей графе бюджета было спланировано другими заранее, Вера все равно посчитала, лишь бы заняться и не расстраивать Г. В.: ведь та станет грызть ногти и нервничать, придумывая, какой работой загрузить подчиненную. Потом Вера перепроверила смету на ремонт крыши, но на самом деле она не столько считала, сколько смотрела в окно, подперев ладонью розовый подбородок, и представляла свою главбуховскую будущность. Приятных картинок не получалось. Виделись толпы мужчин, прижимавших к груди липовые трудовые соглашения и договоры по завышенным расценкам, виделся блеск в глазах посетителей, алчущих неправедных доходов, виделась она сама — не созданная

для отказов, и ревизор с материалами проверки и ключами от тюрьмы в руках...

Очнувшись от этих грустных сцен и решив вместо Г. В. позвать на переговоры с директором папу, Вера подумала, что ей уже двадцать семь, не за горами — восемь, девять, тридцать, и, может быть, права начальник: замуж пора. Хватит смотреть в окно осоловелым взглядом. Вон, Лелька потерялась в женихах, Вера же только раз в институте целовалась с каким-то студентом, вернее, студент целовал ее — она стояла и жмурилась от страха. А все беды оттого, что Вера чересчур стеснительная и неприметная. Один мужчина даже хотел пройти сквозь нее как сквозь пустое место, когда Вера застряла посреди улицы, не зная в какую сторону пойти, а спросить не решалась. Ей просто стыдно приставать к людям с какими-то словами. Я очень мнительная, думает она и идет обедать после двух часов, когда в столовой безлюдно и некому смотреть в ее рот. Я не виновата, что меня воспитали в скромности, думает она, берет поднос с обедом и идет в отдел. У меня неудобный для жизни характер, думает она и несет пустые тарелки на кухню, завернув в бумажку рыбьи кости и ошметки лаврового листа. Но бороться со стеснительностью Вера не в силах, больше того, она взвизгивает при виде зеркального отражения в ванной. Хочется, чтобы за ней пришел принц и забрал в «страну, где нет напрягов», как выражается Леля, но если бы тот действительно вдруг открыл дверь, Вера залезла бы под стол. Вместо принца ходит Матрехин, от которого она не прячется, потому что комсомольский секретарь поручил ей благодатно воздействовать на Григория. «Жаль, что заодно он не поручил Вере питаться публично!» — говорит Леля.

За окном ничего интересного не происходило. Вера обернулась и увидела, что начальник подпрыгивает на стуле и бормочет шестизначные числа. Пусть работает, решила Вера и достала из верхнего ящика стола томик Тургенева...

Через час ушей Г. В. достигли тихие всхлипы. В один прыжок она одолела полкомнаты и склонилась над Верой.

— Что случилось, девочка моя? — спросила начальник, раскладывая на столе валидол, анальгин и нашатырный спирт.

— Базаров умер, — сказала Вера и ткнула носом в плечо Г. В.

— А у меня все герои живы-здоровы, — сообщила Леля.

— А ты не лезь не в свое дело! — сказала Г. В.

— Ну и пожалуйста! — ответила Леля. — Я вообще могу сидеть и работать.

Леля тоже было собралась плакать, но одумалась, пожалев тушь на ресницах и решив, что на двух подчиненных у Г. В. не хватит жалости. Смерть Базарова в середине рабочего дня — трагедия безусловная, и оплакивать ее нужно, подумала Леля, но у меня есть более близкие причины для рыданий. Во-первых, надев утром мини-юбку, она вдруг заметила на улице, до чего же длин-

ные у нее руки. С их помощью она не шла, а кралась, прикрывая от стыда колени ладонями, кралась и проклинала себя за то, что лишила юбку карманов, а тело — физической культуры. Вторых, у Лели был принц — бармен с торчащими из волос перьями, в измусоленном и пониже пупа завязанном узлом халате. Садовыми ножницами лелин принц рвал курей-гриль порционно, урчал между делом и облизывался в момент реализации; вечно веселый, вечно заводной, каким и должен быть принц. Именно ему, доселе не замечавшему ее существования, еще не знавшему наверняка, до кого он так искусно и выгодно рвет птицу, Леля хотела показать свои ноги. И вот что сказал ей принц, собирая с покинутых столов кости: «Эй, девчужка, один мой знакомый хирург возьмется укоротить тебе руки, чтобы освободившимися частями удлинить ноги», — и захохотал, напустив в живот столько воздуха, что развязался халат. Леля вышла из гриль-бара и подумала: я — не девчужка, я — набитая дурочка. Но и он не принц: у принцев не бывают волосатые пупки...

— Успокойся, наконец! — сказала Г. В. — Вернись на сто страниц: он там опять здоровый. — Она взяла помадю, и на лице Веры расцвели губы. Той же помадой Г. В. нарисовала на стекле усатую рожу, похожую на трубу: — Вот такие мужчины ходят в «Бутербродную»! — сказала она. — Все они любят революционные праздники и книги по домоводству.

— А зарплату отдавать супруге они любят? — спросила Леля.

— Такого жениха Вере найдем, что сама рада будет! — решила Г. В., разговаривая сама с собой.

Начальник отдела вытащила из «Бутербродной» двух мужей, и хотя с одним развелась, а другой зацах и помер, тем не менее весь коллектив знал, что в скоротечные годы брачной жизни она была счастлива. Поэтому Леля ей поверила, а Вера растерялась.

— Я боюсь усатых мужчин из «Бутербродной». Гриша Матрехин пусть плохой, пусть ловит меня на лестнице и говорит глупости, зато с серьезными намерениями — по глазам видно, — сказала Вера и чуть не заплакала, вспомнив, как однажды Матрехин попробовал было ее обнять, и Вера уже робко подвинула навстречу плечо, но проходившая мимо Г. В. отправила Гришу в нокдаун. Кулаком начальник вышибала двери, от которых теряли ключи...

— Ты не глазам верь: в них правды нет, — ты в душу смотри, — сказала Г. В. — А что там у Матрехина? Душа безграмотной пьяницы!

— Никаких женихов вы не найдете, — сказала Леля. — Вера рта не откроет, а вы, Галина Владимировна, уже старая. С вами и разговаривать никто не захочет.

Но Леля была неправа. Г. В. ловила женихов на верную приманку. Она объявлялась в «Бутербродной» после шести вечера, присаживалась за столик и выкладывала перед собой, как приз достойнейшему, выпечные штучки и термос кофе. Мужчин вокруг удивлял ее поступок, и они засыпали незнакомку вопросами. Но

Г. В. хотела казаться таинственной незнакомкой, поэтому вместо ответов она протягивала мужчинам домашние пирожки, сырники, тарталетки, меняла напиток, сваренный в ведре, на свой — из термоса — и вообще вела себя как покровитель холостяцкого желудка. Поначалу обслуживающий персонал возненавидел конкуртку, но Г. В. и тут нашлась верно: на кухню она отнесла парфюмерные мелочи, а бабушке, которая уносила со столов грязные тарелки, вручила модную пластинку. Старушка очень обрадовалась, потому что внук стал носить бабуку на руках. Он тренировался в ожидании чуда. Чудом было появление девушки, которой можно заменить бабуку. Но старушка этого не ведала и советовала в «Бутербродной»: «Вон за тот столик присаживайтесь. Там та-акая женщина разлюбезная! Компанию вам составит». Нужно ли говорить, что ее внуком был Гриша Матрехин?..

Весть о возможной свадьбе Веры парализовала разум и волю Григория. Два часа бродил он потерянным вокруг да около планового отдела, слушая трест арифмометра, работавшего со скоростью швейной машинки, и ему казалось, что Г. В. шьет Вере подвенечное платье. Наконец он приготовил себя к борьбе, бормоча без устали строку из песни: «У любви нет преград», — и пошел в профком.

Услышав, на кого жалуется Матрехин, председатель профкома испугалась не меньше его самого и растворилась среди бумаг на столе. Напрасно пытался Гриша с помощью заклинания «У любви нет преград» взбодрить ее и позвать на борьбу: председатель профкома не страдала по Грише и Вере той любовью, какой они пылали друг к другу. Напрасно попросил он и бесплатную путевку, чтобы услать Г. В. в какой-нибудь санаторий подальше. Председатель профкома вынула из бумаг губы и сказала, что за десять лет работы Г. В. ни разу не была в отпуске, ее даже не смогли сплавить в бесплатный заграничный круиз. Напрасно я сюда пришел, решил Матрехин. Пойду в партком счастье искать. Но по дороге Гриша вспомнил, что секретарь парткома — тайная страсть Г. В. Завидев секретаря, грудь начальника планового отдела выступала вперед, как локти скрестившего руки человека, и, заигрывая, Г. В. расплющивала свою страсть о стену коридора. Секретарь успевал только охнуть и сообщить, что подобное он не одобряет, а начальник хохотала, наблюдая за его попытками вырваться. Вспомнив, Матрехин вздохнул и пошел к директору.

В приемной у двери кабинета стояла секретарша, растопырив руки, стояла, видимо, давно, потому что уже поникла головой. Григорий пощекотал ее, и она с визгом отбежала. Тут боевой пыл Матрехина иссяк: у директорской двери был страшный вид, словно она говорила: «Открыв меня, нельзя требовать, но можно попросить или покаяться». Гриша дернул ручку и просунул в кабинет голову.

— Давайте сюда, я подпишу, — сказал директор.

— У меня устное сообщение, — проямлил Матрехин и поведал о беде.

— Ну что ж, Григорий, боритесь за свое счастье и за счастье коллектива видеть в лице Веры Петровны главного бухгалтера. В добрый час! — напутствовал директор и встряхнул руками, словно вымыл их, но не нашел полотенца.

— Я не за советом пришел, а за помощью, — сказал Матрехин. — Как бы нейтрализовать Г. В.?

— Да, как? — спросил директор. — Я уже десять лет над этим ломаю голову.

Матрехин расстроился, вынул голову из кабинета и сказал:

— Все от меня отвернулись: и общественность, и администрация. А ведь на каждом собрании зовут: «приходите, если что, — поможем, чем можем».

Но еще был последний шанс: вспомнить, как сильно любит Гришу бабушка. Я знаю с детства — она всесильна, решил Матрехин. Она спасала меня от «ложку — за маму, ложку — за папу», от пятых штанов в солнечную погоду, от ремня, от яслей, от уроков, спасет и от Г. В., — и так, уговаривая себя, он добежал до «Бутербродной», распахнул коленкой дверь, перевернул три стула, попавшиеся на пути, и уронил голову на плечо старушки.

— Бабушка, а бабушка! Что мне делать? — спросил Григорий. — Через час моей невесте жениха искать здесь будут!

Тогда из-за кассового аппарата поднялся мужчина, с пиджака которого вспорхнули фиолетовые квадратики чеков, и сказал:

— Молодой человек, вы — второй жених, который забрел сюда сегодня. А первый — это я.

— Бедная Вера, и я тоже бедный, — прошептал Матрехин. — А ты, бабушка, плачь, плачь от горя.

— ...Но какой я конкурент? — продолжал человек за кассой. — Девушки сторонятся меня, женщины надо мной смеются, старушки соболезнают. Мне впору сесть на паперть перед женским общением и кланяться у его обитательниц поцелуи...

Между тем в плановом отделе стрелки настенных часов стали похожи на усы начальника, а Вера начала трястись от страха.

— Смелее! — сказала ей Г. В. — Мне в первый раз тоже было божно.

— Мы с мамой собирались вечером готовить плов, — пробормотала Вера. — Как же я подведу маму?

— Плов ты съешь завтра, а мужа будешь грызть до смерти.

— Отпустили бы попрощаться с Матрехиным. Все-таки первая любовь, — попросила Леля. Она сидела на столе в трусах и отпарывала подворот юбки.

— Ты тоже с нами пойдешь, — сказала вдруг начальник Леле.

— Я — вкусная, — ответила Леля. — Я и без вас себе сто мужей найду. На танцах этих кобелей холостых просто пробасть.

— Вот-вот, — сказала Г. В., вертя ладонью, — если какой-нибудь кобель удерет с танцев и проберется в «Бутербродную», то

первым делом на тебя прыгнет, а мы с Верой под шумок к самому скромному подсядем, — и, схватив Веру под руки, Г. В. подтащила ее к двери.

«Ужас какой! — подумала Вера. — Я там сгорю со стыда...»

По дороге начальник хвалилась, как много дала ей «Бутербродная».

— Первый муж, которого я там подобрала, сбежал еще в медовый месяц. Я гналась за ним через три квартала, но он-таки улизнул от своего счастья, хотя я и кричала на всю улицу: «Держи вора!» С горя, в спешке я подобрала второго и промахнулась. Этот целыми днями твердил, какая я дура, а когда молчал, то любовался собой в зеркале. Я терпела, вернее, терпел мой супружеский долг, но, в конце концов, от любви к себе муж перестал спать по ночам. Врачи посоветовали ему перед сном принимать душ или пить снотворное, а он стал делать и то, и другое. И вот однажды, наглотавшись таблеток, он залез в темный пруд и заснул, покачиваясь на волнах, и утонул, бедненький мой себялюбец. Как я страдала!..

— Небось, вы сами его туда и столкнули, в омут, — сказала Леля. — И никаких волн потом не было.

— Потом были поклонники, — сказала Г. В. — Один из них как-то неумеренно поужинал моими пирожками и чуть не умер от апоплексического удара. Я на руках отнесла его в больницу. Но после лечения он передвигался на костылях и говорил только три слова: мое имя, отчество и себестоимость пирожков.

Начальник так увлеклась воспоминаниями, что шла через улицы, не внимая цветам светофора и сиренам машин. Какого-то постового поразило ее поведение, и он спросил, покручивая жезлом у виска:

— Вы что, ненормальные?

— Нормальных людей вообще не существует, — ответила начальник. — Абсолютно нормален только учебник психиатрии. — А потом вдруг опомнилась и рассвирепела за то, что ей помешали вспоминать: — Кто вам дал право подзывать меня свистом? — закричала она. — Я вам не базарная торговка! Еще раз услышу — отниму свисток!

Перед дверью «Бутербродной» Вера повисла на руке Г. В. Она выглядела жертвой, которой собирались умиловить богиню любви.

— Ну же! — сказала начальник. — Приободришь! — и хорошенько встряхнула девушку.

Внутри «Бутербродной» была стойка самообслуживания с кассовым аппаратом на конце, четыре столика, занятые табличками «Для детей и инвалидов», и шестнадцать стульев. Во всю стену, свободную от окон, висел рукодельный плакат, на котором зазывным шрифтом было написано:

**НА ОЩУПЬ И ЗАДАРОМ!
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДОСТАТОЧНОГО АССОРТИМЕНТА.**

Тут же были нарисованы и продовольственные товары, с трудом, но угадываемые. В проеме служебного входа стояла старушка-уборщица с перекинутой через морщинистый локоть тряпкой. На одном из стульев сидел усатый мужчина и читал поваренную книгу. В петлице его пиджака розовел бантик, сложенный губками. Взгляд невольно искал чуть выше на лацкане нос и не находил. Посреди зала переминался с ноги на ногу Матрехин.

— Кыш отсюда! — сказала ему Г. В. — Нам Вере жениха надо искать.

— Вы лучше ворон пугайте, — сказал Гриша, — а я Веру люблю. Да и чем я не жених, парень хоть куда!

— А я люблю сухари, — сказала Г. В. — Что ж мне теперь, в тюрьму садиться?

— Садитесь, — сказал Гриша, отодвигая для нее стул. — Я пришлю вам сухарей.

— Типун тебе на язык, — сказала Г. В. — Завтра скажу начальнику цеха, чтобы тебя перевели в ночную смену.

— А я покажу ему дулю, — ответил Гриша. — Совести-то у меня нет, раз я пиво пью. Вы же знаете и всем об этом рассказываете.

— Ах ты какой! — сказала Г. В.

— Вот такой я, — подтвердил Матрехин...

— Ну и ладно, — согласилась вдруг начальник, а сама стала нашептывать Леле, чтобы та увела Матрехина на танцы. Вере же она велела посмотреть на усача с бантиком и спросила: — Как он тебе? Сойдет? Сейчас я с ним познакомлю... Гражданин! — сказала она громко, — вы бы не могли отвернуться к стене?

Человек, вокруг которого еще порхали фиолетовые бумажки, закрыл книгу и сказал, что, конечно, может отвернуться, он даже готов укрыться в подсобке, только не поймет: почему? — и его брови встали как два вопросительных знака.

— Боюсь, вы мне аппетит испортите, — сказала Г. В. — И хотя я сюда не есть пришла, и хотя глаза у вас честные и добрые, и хотя бантик в петлице говорит о гражданском повиновении, но по книге в ваших руках можно судить о частом несварении желудка, а в одежде меня коробит подчеркнутая небрежность. Так что показывать себя в общественном месте я бы посоветовала вам со спины.

— Посмотрите на себя, гражданка, — сказал человек, — у вас все лицо в пуху, но я терплю и не прошу вас побриться.

— Я, кажется, вам не! — закричала Г. В. — А вы самый настоящий!

— Успокойтесь, — сказала Леля. — На работе ваши вопли надоели.

— Хам бутербродный! — успокоившись, сказала начальник.

Человек встал из-за стола и отвел Г. В. к стене, на которой висела табличка с содержанием: «Если вам не понравилось обслуживание, нажмите красную кнопку».

— Так как я упразднил книгу жалоб, — сказал человек, — то

для утоления своей ярости вы можете воспользоваться этой общепитовской новинкой с повышенной эффективностью.

— Что случится, если я нажму кнопку? — спросила Г. В. — Приедет милиция? Прибежит сотрудник ОБХСС с протоколом? Или директор райпищеторга привезет приказ о закрытии «Бутербродной»?

— Загорится красная лампочка, — ответил человек.

— А дальше?

— Это все, — сказал человек. — Дальше я еще не придумал. Может, сделать так, чтобы чертик из лампочки выскакивал?

— Позвольте, кто вы такой? — опомнилась Г. В.

— Ты, милая, хоть и старожил тута, да давно не навевдалась, — сказала из дверей старушка-уборщица. — Это заведующий наш — товарищ Бередрядников.

— Позвольте, а где же эта?.. — спросила Г. В., шелкая пальцами. — Ну, как ее?..

— Моя предшественница? — подсказал заведующий. — Она попала в грустный переплет. Однажды она сварила кофе с запасом на неделю, а в субботу обнаружила два ведра остатка и, пожалев добро, выпила...

— Страшная судьба! — сказала Г. В. — А я, знаете ли, между делом рассмотрела вас внимательно. Сзади вы мне еще меньше нравитесь. Ваш костюм, наверное, сшит на покойника.

Это заявление заведующий «Бутербродной» проглотил молча. Он ходил в обносках, потому что всю зарплату тратил на эксперименты, целью которых было покончить с бедностью. Идея эта увлекла Бередрядникова с детства, вернее, с того дня, когда его мать в должности кассира раздавала зарплату, а маленький Бередрядников, оставленный без направления в детсад, резвился рядом и поглядывал на служащих, которые брали деньги, вздыхали и говорили, что мало. Вот тут он бросил бирюльки, сел рисовать деньги и недовольным доплачивал нарисованными. Потом, окунувшись в юность, Бередрядников разработал теорию победы над бедностью: надо создать огромное количество дешевой дряни, которая, по законам диалектики, однажды перерастет в дорогую качественную дрянь, — решил он. И хотя люди в годы его юности стали забывать, что бывает качество, принимая смывки за вино, а по четвергам — серебристый хек с макаронами, и хотя законы диалектики народ познавал через пень-колоду и по единому учебнику, Бередрядников усмотрел в этих проявлениях и во многих других надежных союзников своей победы. Оставалось найти способ, каким можно выиграть войну за качество, и способ нашелся у Бередрядникова после того, как он выпал из окна. нечаянно...

Наметившуюся было обиду заведующего отогнал повар, который пришел из кухни в колпаке. От колпака шел пар, поэтому повар словно въехал, дымя трубой на голове.

— Иван Ильич, вот беда! — сказал повар. — Я заварил целый котел какао, а молоко свернулось.

— Вот счастье! — ответил Бередрядников. — Отожмите сыворотку — получится шоколадный творог на радость нашим клиентам.

Г. В. в это время подседа к столику, за которым Гриша ел глазами Веру, Вера краснела за себя в глазах Гриши, а Леля малевала лицо косметикой.

— Я не могу принять ваши перемены: все эти плакаты и кнопки, — сказала начальник планового отдела заведующему. — У меня так много связано с «Бутербродной», с каждым столиком и стулом. Я дважды нашла здесь счастье, не говоря уже про мимолетные радости, и хотела бы вернуться пенсионеркой, сесть в углу, грустить и вспоминать. Очень вас прошу: не трогайте ничего в «Бутербродной», не глумитесь над моим прошлым.

— Мне легче отказаться от самого себя, — ответил Бередрядников. — Я настроен революционно и все переверну с ног на голову.

— Нет-нет, — сказала Г. В., — я вам не разрешаю, а с мнением народа надо считаться.

— Но я тоже кую здесь собственное счастье и пытаюсь раздать его людям, — ответил Бередрядников. — В «Бутербродной» я переживаю вторую молодость, поэтому и лицо у меня покрылось юношескими прыщами.

— Я вам отомщу, — сказала Г. В., — я буду приходить каждый вечер и зажигать красную лампочку.

Леля встала из-за стола, подошла к стойке самообслуживания и сказала, что ей надоела эта болтовня и она не прочь чем-нибудь закусить за счет своего начальника, которая всех сюда затащила — раз, так пусть расплачивается — два. В ответ Г. В. суетливо достала из сумки термос и кульки в жирных пятнах.

— Мне непонятно, — сказала Леля Бередрядникову, изучая цены меню, — почему черная икра дешевле сыра?

— А вы попробуйте, — предложил заведующий.

Леля съела три бутерброда и осталась с растерянным лицом: казалось, ей не хватило слюны на всю пищу, казалось, Леля забыла вкус икры, казались непредсказуемыми дальнейшие поступки икры и Лели. Поэтому Матрехин спросил:

— Ну?

— Гну! — ответила Леля и закрыла рот.

— Именно такого ответа я ждал! Спасибо вам, девушка, — обрадовался Бередрядников. — Люди уже не могут различать детали. Взгляды и вкусы их скользки, — он залез на стул, сорвал со стены плакат кусками и бросил их на пол.

— Мы ничего не понимаем из ваших слов, — сказала Г. В. и томно вздохнула, сдвинув стол грудью.

Бередрядников стал бегать взад-вперед, изображая гостеприимство. Матрехину он принес тарелку, полную сосисок, Вере — розетку варенья, переползающего на стол, а Г. В. спросил, что у нее в термосе.

— Кофе, который я сварила в домашних условиях, — призналась Г. В.

— Выплесните эту гадость, — посоветовал заведующий, — и попробуйте из ведра.

Начальник послушно пришла к стойке и пила до тех пор, пока ручка ведра не стукнула ее по носу.

— Вкусно, — сказала Г. В. — Сознаться, какой здесь процент натурального кофе.

Заведующий улыбнулся усами:

— Я перестал бы себя уважать, если в этот напиток угодило бы хоть одно кофейное зернышко.

Леля ему поверила. Она сказала, что в фабричной столовой тоже наливают тарелку горячей воды с масляным пятном и выдают за куриный бульон.

Бередрядников обиделся, усы его потухли, брови заехали на нос. Он никогда не пытал клиентов кипятком, сказал Бередрядников. Он — профессиональный удовлетворитель дефицитных потребностей, в худшем случае его можно назвать эксплуататором общественной наивности, но не более, то есть не истязателем.

— Я олицетворяю общественную наивность, — созналась Г. В.

— Тогда еще попейте кофейку, — отозвался Бередрядников.

Потом он повернулся к остальным посетителям и рассказал историю про себя, все объясняющую.

Дом, в котором до сих пор живет Бередрядников, построен почти вплоты к мосту, и, когда заведующий «Бутербродной» был маленьким, его одолевало искушение забраться на подоконник и прыгнуть в кузов проезжающего грузовика. Только родители отговаривали Ваню, да и сам он догадывался, что такой прыжок опасен: ведь между стеной дома и мостом была щель. Но к тому времени, когда Бередрядникову пришлось стать взрослым, малокультурные жильцы сверху и снизу забили щель мелким мусором по второй этаж. Однажды Иван Ильич мыл стекла и упал в этот мусор, как в перину. «Со многими случается что-то подобное однажды, — сказал Бередрядников, — кажется, падаешь насмерть, а очнешься — мягко. Вот и мне так понравилось лежать в мусоре, что я тут же набил пустой мешок ключьями ветоши, побрызгал одеколоном, чтобы обмануть мух, и получил пуховую перину. Сосед специально приходил ко мне и валялся на ней с удовольствием». И, глядя на отдыхающего соседа, Бередрядников решил, что всякая вещь в этом мире имеет свой эрзац и что вкус потребителя атрофирован напрочь. И через месяц в кафе-ресторане, где он служил директором, появилось меню под названием «Мы едим вслепую». Бередрядников лично подавал клиентам салат из лосолевых рыб, в действительности заправленный кильками, он угощал горбушей, которая была по происхождению селедкой, вымоченной в свекольном соке, каждое блюдо он заливал соусами и засыпал пряностями до неузнаваемости, а клиенты потребляли, не видя ничего вокруг, и думали, что обманывают Бередрядникова: ведь

расплачиваться, по его словам, они собирались нарисованными деньгами. И пока в ресторане шла игра в «жмурки», пока директор, угодливо склонившись над столиком, говорил, что в меню не хватило строчек для черепахового супа, лангуст, котлет по-киевски и бананового ситро, люди, не подозревавшие о кулинару, который выпал из окна, дрались в магазинах за свиное рагу банками томатных консервов.

— Другими словами, мне не хватило рекламы, чтобы осчастливить всех, — закончил свою историю Бередрядников.

— Из чего эти сосиски, чав-чав? — спросил Матрехин с сосиской в зубах.

— Из чего этот сыр, хрум-хрум? — спросила Леля, уплетая бутерброд.

— Как вы варите кофе, хлюп-хлюп? — поинтересовалась Г. В., не выпуская ведро из объятий.

Бередрядников стал похож на учителя домоводства, потому что вооружился столовым ножом, похожим на указку.

— Сосиски — это папиросная бумага, пропущенная через кофемолку, сбита в миксере с говяжьей кровью и спрессованная, — объяснил он. — Варенье я приготовил из сосательных конфеток «Театральные». Два литра воды на кило конфет, от фантиков лучше не очищать: разварившись, бумага даст ощущение розовых лепестков. Кофе я готовлю из толченого угля. Ну, а сыр алхимический: он случайно получился. Точно я сам не знаю, из чего сыр, но стоит он дешевле звонка по телефону. В этом его прелесть.

Выслушав слова заведующего, посетители перестали жевать и сербать и отодвинули пищу к центру стола, к вазочке с салфетками.

— Для кого, для чего вы такое придумали? — спросили они хором.

— Ради вас, ради общества я придумал такое, — сознался Бередрядников и развел руками. — Многие создают на работе подобное, только в тайне от окружающих. Многие из самих себя делают совсем не тех, кем являются на самом деле, и, лишённые возможности напрямую удовлетворять свои потребности, вынуждены делать это обходным путем — путем замен.

Но никто из слушавших Бередрядникова не желал размышлять над тем, что сам существует в подмене. Одна Леля подумала за всех и поняла, что заведующий прав. Противно, подумала Леля, ну да ладно. Жить-то все равно надо.

Между тем Бередрядников по просьбе посетителей рассказал, как в ресторане он лишил подчиненных материальной радости объедать, обпивать и обсчитывать клиентов (слишком дешев для этого оказался эрзац-продукт); как подчиненные пожаловались начальству анонимно, будто никакой Бередрядников не виртуоз плиты, а сам вор, алкаш и бабник, и к тому же таскает на кухню всякую дрянь с помоек; как пришла комиссия из директоров и командиров Общепита, и Бередрядников предложил угадать, чем ее угостит. В то время у него был кусок настоящей осетрины, который

он спас прямо из зубов официанта. И вот Бередрядников завязал общепитовцам глаза и сказал: «Сейчас подадут осетрину». Они съели и ответили: «Это черт-те что! Мы умрем вечером». Спорить с ними не имело смысла: они не видели, что ели, — и, хотя никто не умер так скоро, Бередрядникова уволили утром.

— Теперь я проповедую в «Бутербродной», но тоже, видимо, до первой ревизии. Ведь посетители обходят меня стороной. Вы, например, — первые сегодня. Правда, под вечер заглянут два шахматиста, выпьют чаю, но, чтобы взять с них хоть копейку, мне надо в каждого влить по самовару. Вот я и сижу целый день за кассой, кладу пяточки и пробиваю чеки.

Со всех сторон к Бередрядникову полетели советы. Предлагали не ставить цены, которые отпугивают покупателей; предлагали выдавать эрзац за товары по сниженным ценам; предлагали даже рассказывать о дотации от профсоюза работников вторсырья.

— Я не могу воровать и не умею обманывать, — отвечал на все предложения заведующий. — Наверное, я — парадокс советской торговли, но я также не хочу, чтобы люди рисовали деньги.

Тогда Матрехин, вскочив со стула, заявил, что никогда не видел нарисованных денег и попросил показать или объяснить, как они выглядят. Со слов Бередрядникова оказалось, что нарисованные деньги ничем не отличаются от настоящих, только лежат в бумажниках людей, которые получают их даром, не потя, и расстаются с ними запросто, без огорчений. В рабочее время хозяева бумажников много курят и развлекают себя, как могут, поэтому половина (если не больше) их денег — нарисованные, а плоды труда — только в отчете.

— Это так просто, — сказал Бередрядников Матрехину. — Лучше посмотрите: нет ли в вашем кармане подобных купюр.

Но Григорий не стал смотреть в пустой карман, он увлекся другим, он не понимал, как заведующий в одиночку искоренит инфляцию незаработанных денег. И Бередрядников ему объяснил. Он сказал, что уже близок к изобретению нарисованной пищи. Потом он создаст нарисованные дома и магазины, мебель и одежду, дачи и машины.

— Все окружающие нас блага предстанут в картинках, люди будут прикрывать наготу размалеванными бумажками, есть обертки от продуктов, рождаться и умирать в папках и отчетах, и вот тогда, — сказал Бередрядников, возвысив голос, — тогда, быть может, они опомнятся, начнут жить и работать как люди, а не эрзацы.

Тут все, даже старушка-уборщица и повар, пышущий паром, обиделись на заведующего. Они окружили Бередрядникова и стали пенять ему его же слепотой.

— Вот так-так, Иван Ильич! — сказал повар. — Да мне по ночам плита снится!

— Я за день не присела, — сказала старушка-уборщица.

— У меня десять грамот и одна фотография на доске Почета! — вспомнила Г. В.

— Мы же не машины, чтобы без перекуров, — вставил Матрехин.

Никому из них и в голову не пришло представить себя хоть в половину дармоедом и эрзацем. Но Вера с Лелей промолчали: Вера от постоянного стеснения, а Леля — по согласию с Бередрядниковым, — хотя и они встали со стульев и окружили заведующего, чтобы не отставать от других.

Леля вообще с первого рабочего дня считала себя ненужной в отделе. Г. В. и Вера тоже казались ей лишними, но свою никчемность Леля переживала острее, — наверное, потому, что свою. И в то же время она не искала другой должности: ей было абсолютно все равно, где работать. Господи, думала Леля периодами, хоть бы меня сократили. Я бы тогда с голодухи в два счета замуж вышла, трудилась бы на кухне с пользой для семьи. Леля частенько грелась этой надеждой, но теперь, после слов Бередрядникова, она почувствовала себя эрзацем, а надежда рассеялась. Дура я набитая, подумала опять Леля, вдолбила себе, что красавица, а посмотрел бы на меня муж утром без косметики, где бы я его искала, с какими собаками? Ей захотелось раздеться догола и завернуться в салфетку из вазочки, но она привыкла действовать коллективно и боялась, что никто не возьмет с нее пример, поэтому Леля повернулась и ушла из «Бутербродной». Тихо ушла, по-английски, как мышка.

Ее жест понравился Бередрядникову. Когда он устал слушать, что никто из присутствующих не лентяй, а труженик и всегда честен, как наедине с собой, так и в окружающей среде, то сказал: — Вот ушла девушка, с которой я мечтал бы дружить.

Хотя предложение прозвучало миролюбиво и без задней мысли, Г. В. поняла его как вызов и с подтекстом.

— Нет уж, дружите лучше с Верой, чтобы видеть мир правильно, — сказала она. — А если хотите, то можете стать ее поклонником. И даже мужем. А я буду приходить к вам в гости по вечерам и учить вас жить. Но, прежде чем согласиться, Вера должна подумать. Дайте ей одни сутки.

— Нет, — ответил Бередрядников.

— Ну, пожалуйста, — сказала Г. В., — хоть ночь.

— Если вы будете приходить по вечерам, то по вечерам я буду чувствовать себя в битком набитом трамвае.

От этих слов начальник впала в транс, близкий к обмороку. Матрехин и Вера вывели ее на улицу и усадили на лавку.

— Держитесь, Галина Владимировна, — сказал Матрехин. — Мы этому прохвосту не спустим. Это ж надо додуматься: всех в бездельники записал! Фальшь у него кругом!.. Кто это живет без противоположностей? У кого это одно мнение на всех? Кому это так хорошо, что нечего отрицать? Где он выкопал количество, которое обречено остаться количеством? — И Гриша погрозил кулаком «Бутербродной».

Г. В. чихнула и пришла в себя.

— Мы не будем нажимать красную кнопку, — сказала она. — Мы напишем пять жалоб: в Общепит, Минздрав, Санэпидемстанцию, горисполком, а пятую — ему лично. Он у нас попляшет! Будет знать, как обзывать! Кто он такой, чтобы мне грубить? Меня директора боятся, а тут заведующий... Тьфу!

— Смотри, Вера, какой замечательный фильм идет в кинотеатре, — сказал Гриша.

— Мне пора готовить плов, — ответила Вера.

— Разве ты не наелась в «Бутербродной»? — спросил Гриша.

— Мы с мамой так решили, — сказала Вера.

— Познакомь меня с мамой, — попросил Гриша.

Вера не могла сама отказать. Она посмотрела на начальника вопросительно.

— Как ты думаешь, Григорий, заведующий много пьет? — спросила Г. В.

— Мало, — уверенно ответил Матрехин. — Поддает для запаха, чтобы оправдать свои поступки

Г. В. расхохоталась:

— Это ты верно подметил: дури у него и на трезвую голову хватает...

Когда Матрехин и Вера ушли, к лавке подскакал человек на костылях, в котором Г. В. узнала своего поклонника.

— Владимировна... рубль?.. — спросил апоплектик, заглядывая в сумку.

— Да, конечно, угощайся, — сказала Г. В., протягивая кулек с пирожками.

— Рубль... Галина... — сказал апоплектик, пережевывая пищу.

— Я и сама знаю, что вкусно, — сказала Г. В.

— Владимировна... — сказал апоплектик, колупая ногтем краску на костыле.

— Пожалуйста, — ответила Г. В. — Пойдем-ка, проводишь меня. Тебе все равно на пенсии делать нечего...

А поздно вечером, перед самым сном, на всех вдруг словно спустился дух Бередрядникова. Вера, например, ломая углы подушки, подумала, что живет в какой-то книге, а книга стоит на полке в доме, где никто не умеет читать. Г. В., сидя перед туалетным столиком, вспомнила, как ввела в отделе арифмометры вместо калькуляторов, которые показались ей не по мозгам. Но Г. В. прогнала это воспоминание с тихим рычанием, как когда-то прогоняла провинившихся поклонников, и в зеркале увидела наглуую рожу — эрзац собственной беспомощности и бестолковости. И Матрехин, почесывая волосатую грудь, вспомнил за собой грех: когда в плановом отделе прорвало трубу, он поленился искать каучуковый зажим и заткнул дыру чем попало, а труба подтекает до сих пор, и до сих пор Леля каждое утро выносит ведро воды. Даже повар подумал, что стоит у плиты весь день, потому что у плиты тепло и сытно, а на улице — холодно и пища стоит денег. Даже старушка-уборщица подумала, что не отмыла ни одной тарелки дочиста, потому

что ополаскивала их в грязной воде. Даже директор, корпевший запоздно над очередным отчетом, подумал отчаянно, что никакой он не директор, а партийный работник по образованию, в добрый час делегированный укреплять и поднимать. Даже апоплектик, оставив костыли, пробормотал: «Галина... рубль... Владимировна... рубль... Галина Владимировна... рубль-рубль». И многие еще вспомнили о себе что-то неприятное в ту минуту и, по примеру Г. В., поскорей отогнали думы, чтобы не расстраиваться на ночь.

А наутро первым проснулся Матрехин, все еще злой на Бередрядникова. Ну и что? — подумал он. Может, я и бездельничаю иногда, и работаю не так, чтобы сразу в победители соревнований. Да не один я такой! Чего ж мне в лицо пенять? Я ведь не напроказивший щенок. Я — взрослый человек! Я — рабочий класс! Я могу за себя постоять!

А когда проснулась Г. В...

А когда проснулась Вера...

А когда проснулись повар, старушка-уборщица, апоплектик и директор...

...То Бередрядников еще спал. Он вообще вставал поздно и сразу щупал щеки: не выросла ли борода. Ведь у некоторых мужчин волосы на лице вырастают к пенсии. И как раз Бередрядников был из их числа. Правда, волосы у него обильно росли из носа, так что даже получились небольшие усики. Бередрядников их холил и лелеял и никогда не считал эрзацем. Он считал их естественным образованием.

Андрей Левкин

ВМЕСТЕСТВОВЕДЕНИЕ

Оле Хрустальной

Вместе, поди, они чегой-то производили. И, верно, к этому объединению приложили свою утверждающую руку весьма горные инстанции, только с подобными материями так вот, во вводном абзаце — не разобраться, зато хватает косвенных свидетельств: и собралась компания резко быстро, и оформилась отчетливо, будто накрыли какой-то крышкой. Что-то, как-то, какой-то — от этих «то», погружающих излагаемое в марево, прятаться не надо. Был бы не зыбко — как бы жить?

Так вот, хотя бы как крышечка захлопнулась: как сквозняком, едва не прищемив пиджак последнему, ставшему ими, чуток его попортив, пожалуй, этим хлопком — ведь он, князек ты наш чернявенький (по ласковому определению Белесой Мадам), так и остался малость посторонним: и не то ведь, чтобы не ко двору — ко двору, а как же? и появился не слишком уж позже предыдущего, ничего подобного — Васька-хмырь (звали которого, понятно, иначе) объявился хорошо если неделей раньше, а вот поди ж ты: свой насквозь; Князек же остался навеки пришедшим последним — между своими, впрочем, только и счеты.

Тем более, что и распалась компания разово и безболезненно — если уж о частных чувствах. Наверное, что-то они производили своим общением: находился там самим им невидимый смысл. Мы ж всегда рады узнать, что некто выздоровел либо избежал гибели — пусть человек незнакомый или литературный персонаж: странно, он же умрет потом, а в этот раз мог бы уже — и щелчком, куда легче, чем придется после; даже человек совершенно никудышный или — до какой-то грани — просто дрянной: все равно, продление дней его радует нас, ну, а поскольку не ахти какие мы сентиментальные, то чувства подобного рода имеют под собой грубую, если не жлобскую подоплеку: производит, должно быть, любой человечек какую-то для всех и каждого важную субстанцию, всем и каждому необходимое вещество. Поодиночке, а такой соразмерной гурьбой?

Сколько же их было: семь или восемь? Восточный Князек, Эксвайр, Баден-Баден, Васька, Еёжа, Монтигом, Нюша, ББМ

(Большая Белая Марта), Марфуша, Сен-Жермен-де-Лямермур, Диксон и т. д. Перечисление, однако, на вопрос о численности не ответит, поскольку Князек одно время был, вроде, Монтигомом, на какое имя обидчиво не отзывался, Еёжа не был нежный мальчуган, а двухметровый лось — либо теперь кажется таковым; о половой принадлежности Баден-Бадена судить тщетно, да, кажется, это имя не было и дефиницией очередного прихворнувшего. Может быть, оно и не обозначало никого. ББМ одно время была Марфушей, сделавшись затем, кажется, Охнутой — причины чего останутся неизвестными навсегда, разве что произвести опрос, результаты которого окажутся черт знает какими: выплывет еще дюжина имен и прозвищ, а никого ни с кем мы не совместим. Сен-Жермен-де-Лямермур была очень красивой женщиной.

Начнем, глядя назад, с крайнего. Жил Князек в самом центре, под самой крышей в доме во дворе. К нему, с привычным риском для жизни, подниматься на лифте под стеклянный колпак, освещающий лестничный пролет матовым слепым светом. Пролетик, кстати, три метра на два: дом из начала века, что же — счастливыми они тогда поголовно были — не тянуло их туда разве?

Лифт был поддерживаем в целостности связанный веревочками, лязгал, всхлипывал, переминался деформируясь, поднимаясь: из темно-коричневых мореных дощечек, иссохшихся и современная железячка пульта, а дом был приличен на редкость — даже теперь в кабинке не воняло мочой, но сохранился еще запах плотной и тяжелой красно-коричневой древесины, фундаментальный привкус пожилых рижских домов, который сохранялся и в квартире, даже в ванной — запах немецкого сантехнического фаянса, что загадочно, ибо как может пахнуть фаянс — разве что вступая в выделяющие запахи отношения со скользящей по нему водой.

Комнатенка у Князька была мечта студентика или начинающейся личности. Девять квадратных метров — сие сообщил Еёжа, имевший массивный опыт в деле установления площадей на глазок, ибо, желая самоопределения, уже три года (разборчивая матушка) занимался обменом. В комнату можно было войти через смежную большую, но Князек предпочитал туда замыкать, зато прорубил дверь в коридор, но ошибся, сделав ее отворяемой наружу, так что если внутренняя дверь квартиры была открыта, имелся шанс из комнаты не выйти вообще (если запропал ключ от соседней, что часто) — поскольку квартира была населена изрядно, а дверь внутренняя, будучи распахнута до упора, с удовольствием заклинивалась.

Девять, значит, квадратных метров. То ли это была детская Князька (Гдэ шпага, гдэ секир-башка?! — требовал в начале знакомства Монтигом, лицезрея потертый коврик с загадочным изображением, висевший на стенке как бы сакли Князька). Ничего такого холодного на ковре прибито не было, зато ковриков имелось штук: на стенках, на полу, на двери — и все потертые, обшарпанные, с заголившимися нитями основы; обшарпанный и потертый

диванчик; широкий — надставленный доской подоконник был стол; книжная полка, на которой стояли еще ключья детских князьковых учебников. Тут Князек пребывал и в годы становления себя как личности, когда и было осуществлено переустройство дверей — по понятной причине ночных бдений с приятелями и подружками: смазлив был в юности наш рано и сухо постаревший Князек, червовый этакий валетик. В комнате, из-за всей ее потертости и тишины, производимой ковриками (один и в самом деле изображал нечто черкесское с чинарами, горянкой черно-бело-красных ниток, казбич на коне, кипарис), пахло пылью и чем-то таким, как бы, как вальсы Штрауса, слабосильными юношескими прегрешениями. Здесь мы особо не тусовались — места было мало для вольных телодвижений, едва всем рассоваться сесть, а так... забегали, если коллективный выход в город (это в центре, возле Верманского парка). Собирались собраться.

Сюда-то Князек и вернулся под отчий кров после развода. При этом помолодев, прибрав к рукам оставшуюся тут часть своего существа — не растраченную: оставленную — изрядно-таки потешая затем остальных рецидивными желаниями младой жизни беспрестанно перемещаться без цели или пойти по девочкам или выпить чего-нибудь крепко-сладкого или вообще так. И мы топали в эту, как правило ночную неизвестность, и где-то что-то искали и находили или нет, постепенно рассеиваясь, пока каждый не оставался в одиночестве, окруженный отсутствующими остальными.

Комнатенка была гениальная для жизни лет тут до двадцати пяти—семи, пока не вырос; одиноко, тихо и уютно — или перезимовать здесь, с плотно занавешенными окнами: читать, починая от пыли, читать, перебираясь, когда продают пружины, с дивана на пол, на коврик. Сидеть за подоконником, читать, проваливаясь, взмечтывая, замечтовываясь: что-то себе, окруженному немymi тканями, все представляя да переставляя в уме. Мы тут редко бывали — и не только потому, что тесно, а не надо в таких местах бывать скопом: можно, ненароком зашагав в ногу, убить весь этот чуть клейкий, слегка медовый воздух, и останется облезлая жилплощадь на шестом этаже.

Конечно, милое бы дело было найти нам в городе какое-нибудь помещеньишко, оформившись в качестве этакой секточка, исповедующей нечто кое-как невинное: группа там ищущих живого Бга — идея подобного рода возникала, а то? Но на секту людей не хватало, не дали бы патента.

Так что собирались у Диксона, в его выдающейся идиотизмом своей планировки квартире. Тоже под крышей, но на четвертом этаже, зато натурально под крышей — скошенные потолки, все такое. Механический звонок, врезанный в дверь: крутишь, а он тренькает — прями настенная балалаечка. В Старом городе, возле реки, на площади Екаба тире Чернышевского тире Екаба. Квартира была запущена до изумления, составлялась же из четырех комнат, одна из коих была большим таким зальчиком, а три остальные,

вход в которые открывался из зальцы, — анфиладой, причем глубины комнатенок едва хватало на дверные проемы. Диксон жил в самой дальней. Его старики померли, другие родственники разъехались, но — то ли в результате предприимчивости Диксона, то ли по лености жилуправления проблем с излишками площади у одинокого на бумагах Диксона не возникало, а один он тут не бывал: вечно болтался кто-то из не очень хорошо знакомых персонажей; какие-то проезжие переночевать; общие полузнакомые. Все они как бы служили приправой к нашему быту, разнообразя и оттеняя чужую сплоченную жизнь. С прошлого, видимо многолюдного времени, здесь сохранились тюлевые ломкие и совершенно серые занавески, какая-то рассыпающаяся мебель, сальный хлам по углам: Диксону на все это — был он мужик серьезный и благородный: то прятал у себя кого-то, кому лучше немного пересидеть в темноте, то болтались у него системные люди, то отправляли сюда на отпуск кошку, а был случай — и попугая.

Квартиру эту: зальцу, кухню и парочку ближайших анфиладных комнат — мы, должно быть, выели до пустоты. И теперь еще, по прошествии пяти лет, болтается, наверное, в районе сей площади дыра в пространстве, причмокивая, обедающая — себя заполнить — всех прохожих, не говоря уже о живущих в доме бедолагах. Конечно, все это враки и наоборот — раз Диксон там и живет, да еще, вроде бы, женился, и собаку завел, и, с помощью жены, вымыл, кажется, даже окна во всей квартире, найдя, возможно, под диваном закатившийся туда рубль с портретом Бухарина, который рубль пропал при демонстрации его Еёжей.

Чего-то такого идейно-сплывающего или круговой поруки — не было. Трудно представить, скажем, и то, что, допустим, Диксон вдруг принимается посвящать жену в свое прошлое, неся ахинею о притарчивающей его сплоченности «старых друзей». Или, скажем, Сен-Жермен затеет воссоздать с Еёжей по телефону проказы милых дней. Впрочем, кто знает, как всех поодиночке скрутит с возрастом — уже скоро доедем.

Что мы о себе знаем, что в себе можем предсказать?: а ну как всплывет в каждом к старости этот громадный пельмень, оживет, а?! Да вряд ли, только ведь они не знают ничего. Шут его вообще, все эти начала и окончания: что откуда, что почему? Не рассуждать же об этом: средство охоты определит улов. Идущему на бабочек носороги до фени. В отсутствие денег жизнь удивительно дешева. Если знаешь, что Бога нет — так его и не будет. Не сводится наше трехлетнее общение к приятностям общения и бытовой взаимовыручке — пусть даже самой серьезной; хотя и выручали, да и продолжаем — когда все оттикало.

То, что крыша находилась в Старой Риге, как бы подразумевает большое количество ночных хождений по городу, что, особенно в летнее время, и происходило. Без, разумеется, коллективного распевания песен или обливания водой из какого-нибудь романтического фонтанчика, но шлялись, выходя из диксонова дома, не

в сторону, однако, Старого города, а, выйдя из подворотни, сворачивали направо и шли в сторону порта, в парк, в эту его замедленно-нервную часть с дубовыми аллеями и каналом, которой еще удалось задержаться в живых, и дух или ангелочек, который живет спокойно на своем месте, а не порывается, как прочие, встать и уйти к чертям собачьим, как прочие, которые и встали, и ушли: кто помер, а кого перевоспитали — как Старый город, ставший муляжом, пластмассовой индейкой туристам, умер десять лет назад, и теперь там яма, на дне которой булькает знаменитый органчик. Мы поворачивали направо, в плавную воднопарковую сырость со странной беседкой и размытыми деревьями, которая в сумерки являлась местностью, где живут ваттоподобные дамы с кавалерами либо отдыхают горожане карточной колоды — но не такие уж чтобы стерильненькие, а оплывшие, лысоватые, с потрескавшейся кожей, со шрамами от операций, чуточку себя перепродавшие. Еёжа тут однажды искупался в канале. Ну да выкупался и выкупался, обошлось удачно, без ментов — рядом ЦК, ходят — водичка оказалась, однако, тухлой и освежила Еёжу не вполне.

Или как-то это подбирается: изъян к добродетели, качество к его отсутствию, стыкующиеся плотно — скопом Африка. Америка, Европа, обратным ходом составляясь в одно — как бы обогащая по смыканию представление о? Ухватиться за свисающие с неба лямки веревок гигантских шагов, разогнаться да полетать, пока не устанешь, едя воздух и совокупно поскрипывая.

Вот Баден-Баден. Она была младшенькая, годиков на семь моложе остальных, уже по-разному тридцатилетних. Мы ее подобрали, как котенка, однажды ночью все в том же парке, где она сидела на сходящих в воду ступеньках возле «Молочника» (когда-то ресторан «Молочный», теперь — кафе «Айнава»), сунув ноги — прямо в босоножках — в воду. Тогда она выглядела таким подросточком-оторвой, оказавшимся в своем поколении человеком из времени другого, предыдущего. Нашего.

Оторванность от своих, босячность и расхристанность ее то ли дружили с, то ли были определяемы грустным ее задвигом: она, видите ли, ощущала всех, которые живут, неким каучукоподобным студнем: толстой подошвой, обновляемой сверху, шелушащейся снизу. Плоть она ах как ненавидела, мечтая — не весьма оригинально — стать эфирчиком без надоб и выделений тела, а уж как она не желала быть женщиной, воспринимая их — в соответствии со своим тотальным каучуком — одним существом с общей кожей, связанных во времени пуповинами; а мужики — те сбоку и легко могут уйти вообще, на двор покурить.

Теперь с ней как бы и обошлось: вышла замуж, родила, собирается, вроде, и дальше — замаливая, что ли, свой тогдашний строй мыслей. Из тех же, кто набрел на нее тогда ночью возле «Молочника», воззрения ее разделял один Эсквайр, да и то умозрительно, соглашаясь, что и подобная точка зрения вполне обеспечи-

ваается реальностью и, следственно, имеет право жить. Девчонка подрубилась к нам моментально и ладно бы только: эта взрослая и щупленькая пацанка почему-то оказалась позарез необходимой жестким несерьезным людям, она стала шестой, потом появился Восточный Князек, крышка — оппаньки, да и на три года. Или четыре, не помню.

Все эти семейные перемены с ней произошли уже позже, когда не стало нас и не стало ее самой, а тогда, в милом противоречии своим установкам, она сначала прибилась к женщинам, хотя в части своих психических уклонений вряд ли могла отыскать confidentку неудачнее, чем Большая Белая Марта (Бибиэм), которая Марта испытывала трудно изъяснимое умиление ко всякой живой твари — даже к букашкам, хотя лучше бы к чему мясному: к червякам, пиявочкам; а уж к животному теплу, реагирующему в ответ — куда там слова?! Чувства ее к самой провинциальной зверушке изгоняли в самую ее саратовскую глушь любые абстрактные концепты. А Баден-Баден изволило спрашивать у нее советов — это ж вообразить себе?! — поделом в шоке отшатываясь от очередной мощно-витальной откровенности ББМ.

Что до ее отношений с Сен-Жерменом, то последняя ее взгляды трудно сказать. Относилась, скажем, сочувственно. Но Сен-Жермен женщина умнейшая и не откровенная; ей, кроме того, единственной среди всех удавалось поддерживать свою жизнь в постоянном и чутком равновесии, держа ее как бы перед собой на руках, все остро различая и не только предупреждая обломы, но и — что встречаемо куда реже — умея выглядеть намечающиеся приятности: не попадая затем в них просто по ходу жизни, но — подготовленная — с полным погружением в суть приходящего кайфа. Дай бог, чтобы эта способность ее не оставила.

Таким образом, для Баден-Баден (ее так звали заглазно, и даже в ее присутствии это произносилось как бы вообще: и она никак не могла соотнести прозвище с собой, так что Баден-Баден к ней так и не приклеился и плавал вечно над собравшимися самостоятельно; а после того, как Нюшка скоренько выбралась из-под своей заморочки, Баден-Баден оформился демонским бесплотным персонажем — каковым, очевидно, и мечтал стать во время своего сожителства с Нюшкой). В общем, с девочкой все обошлось, в чем, надо отдать нам должное, заслуга всех нас, в особенности же — Эксвайра, сумевшего как-то так приручить ее, что уже на второй неделе нашего общего знакомства (уже объявился Князек, который увязался за ББМ в общественном транспорте, был милостиво дозволен проводить — Марта шла к Диксону за какой-то ерундой, а тут сидели все остальные, которые еще были сами по себе, но что-то коллективное уже напозало, рассуждали примерно на тему сколько ленинграда в таблетке аспирина, вошла Марта с Князьком и тут крышечка и захопнула) позволила себе чудовищное для ее психоструктуры мероприятие, а именно: лечь на диван, положив голову на колени Эксвайру, и лежать

смежив веки, покуда Эксквайр гладит ее русые кудри. Эксквайру же принадлежит и описание места жизни Баден-Баден, поскольку он единственный там бывал.

Дело было — по словам Эксквайра — очень жарким летом, когда был август, душно, солнце светило напряженно, а Эксквайр шел к Баден-Бадену за какой-то хреновиной, вроде ксерокопии, которую вдруг да посулила ему Ньюшка. Баден-Баден загорала лежа на полу и продолжила загорать. Эксквайр, находясь в мерзейшем состоянии духа: он птичка осенне-ночная и в теплынь ходит с сардонической такой ухмылочкой, к тому же отягчаем аллергией на жару. Эксквайр, который зашел сюда по пути в какое-то очень важное присутствие, стал настолько ошарашен положением дел (ксерокса и в помине не было), что присоединился к Баден-Бадену в ее упражнениях. Впоследствии он вспомнил, что живет Баден-Баден в Московском форштадте, в районе Красной горки, неподалеку от сохранившегося навеса (на рифленых чугунных подпорках) над бывшим там давным-давно рынком; комнатенка имела вид гостинично-аскетичный: «какие-то мебелишки Гирш» — сказал Эксквайр, однажды, в пору тех снесения, посетивший вышеуказанные мебелишки, так что говорил с разбором. Стены баденбаденского номера были совершенно нагими, имелись: железная, аккуратно застеленная кровать; недавно беленный потолок; блестящий, еще чуть липковатый пол; прозрачные — впрочем, нараспашку — окна, и далее — деревья, загруженные птичками. При этом казалось (то ли дело в августе, то ли в Баден-Бадене), что больше в комнате ничего нет (хотя там где-то в углу стояли и шкаф, и полка) и, более того — что в комнате четыре окна, стеклянный потолок, и вообще, существует она лично, индивидуально вися в пространстве, уж, во всяком случае, вне всякой окружающей ее коммунальности. Пахло в комнате накалившейся краской пола, загорающей кожей Баден-Бадена и табаком — от Эксквайра. Из отдельных деталей последнему запомнился лишь мощный альбом по древнеегипетскому искусству, с помощью которого Баден-Баден, видимо, примиряла в себе противоречия. Альбом был раскрыт на странице с изображением фараона в короне, с этим крестиком-с-петелькой на шее, окруженный поджарым египетским кошачеством, и с от-таким-от, указывавшим часов на одиннадцать, хотя времени было уже полвторого.

Там наличествовало еще что-то правильное и привлекательное, но Эксквайр так и не вспомнил точно: то ли полоска, проведенная по стене мелом параллельно полу с усиливающимся нажимом, пока мел не сломался, оставив легкий штришок падения и вспышку своей пыли на полу, или что-то иное сухое и белое.

В степени его доведенности до остальных случаев этот был из исключений: несовместные общения жили вне компании и не так — как ни странно, потому что перекрестно общались интенсивно, выполняли различные комиссии друг друга, были знакомы с близкими других, но те у нас не появлялись, а частные отношения раз-

вивались своим ходом в стороне от коллективных радений-журфиксиков по пятницам у Диксона (кличкой который был обязан песенке: четвертый день пурга чего-то там над Диксоном — Диксон был, значит, несколько с виду геологичен, к тому же старший из всех, еще немного и угодил бы в шестидесятники) или в любой другой день по общей договоренности. А там вся эта весьма серьезная внешняя жизнь мелела и служила лишь потренировать органы речи. Так ББМ однажды поразвлечь (и объект рассказа в том числе) изложила как вскорости после развода к ней зашел Князек и приступил плакаться на свое холостое бытие, хорошего в котором не находил решительно, и, страдая на мужской почве от непривычного воздержания, описывал приметы своего состояния, а также попутно возникающие образы: сидя грустно, подперев голову скалкой, пока Марта, не суетясь, профессионально суетится на кухне квартиры, до потолка заполненной детьми, мужем, свекровью, родителями, первым мужем, его женой, котом, собакой и канарейкой — в которой квартире когда ни зайдешь мы оказывались рассредоточенными друг от друга вовлекаемыми в какие-то каждый раз иные отношения с кем-то подряд на время обрастая новой семьей и отпрысками включаясь в бытовое вселенское братство по взаимному обеспечению друг друга жизнью теплотой и обедами. Черт знает, сколько там комнат и жильцов, но каждого из нас в свое время посылали в магазин за хлебом или молоком, а то и за спичками — что кажется невероятным: как это вдруг у такой прорвы народа не оказалось вдруг ни одного коробка?

Мы, когда нам удавалось выбраться оттуда всем разом, выходили оттуда несколько искаженными, рассаживались на лавочке, закуривали и ждали, когда нас прихватит наше, и окажемся в жизни, где Марта может, хихикая, рассказать о поведенных ей на кухне печалях Князька, а тот будет не обижаться, но вертывать упускаемые Мартой детали, и никого не будет волновать: а чего, собственно, Марте не пособить приятелю в беде — чего уж там: жили мы все по-разному, а более близких у нас не было — и не отправиться с ним в его выцветше-мечтательную комнатушку? Что, может быть, но было их делом. Да, кстати, по делу — да, а вот так просто: поболтать, провести время мы избегали неполным составом. Слишком большие в окружающем воздухе отсутствующие — будто их только что выслали или убили.

Очевидно, книги о вкусной и здоровой пище изобретают больные люди: болезненность, разумеется, не передающая авторов в ведение психоневрологических учреждений — это какое-то предрастройство души, которое вряд ли разовьется и вызовет иные, нежели пищевое помешательство, выплески. Трудно выяснить: расстройство врожденное, результат воспитания или задолбал социум. Скорее всего — сбой нормального развития, духовный рак, когда вещество роста уходит в больные накопления одномерного интереса бетонными стрелочками траты энергии.

Програл между духом живым и уже по-медицински ущербной

душой: мутная и муторная область, в которой барахтаются слабые странности и нелепые привычки, не расцениваемые как болезнь, напротив — образуются клубы филателистов, рыболовов; никого не удивит привычка другого категорически не сидеть против хода электрички. А только это плохо, конечно: перекос, распухание, трещина, обвал. Если бы устроить анатомию не-физического тела человека, и не на уровне узкоспециальных имеющихся знаний, а так вот, наглядно и общедоступно — как с цветными и настенными схемами тела физического: мышечная структура, скелет, кровеносная система: подобные же картинки плоти духовно-душевной. И, зная мы себя там столь же точно, как можем сказать, что за мышца потянута или какой с нами произошел бронхит, — окажется, что вечно дурное настроение либо обыкновение, например, знакомясь с человеком, оглядывать его, как крупную вошь, окажется следствием легко сводимой бородавки на памяти, или виной всему какие-то духовные сопли, обладатель которых, как дите, не понимает в чем дело, а ему бы высморкаться, да и жить себе счастливо.

И если поштучно разбирательства крутые, что уж о компании. Почему возникла, чем жила, почему умерла; тем более — без явных общих целей. Что за существо, у которого и характер свой, и повадки — не разделяемые по отдельности его составляющими. Да и поздно. Все — не вспомнить, а не собрать ведь из обломков кувшина такой же, да поменьше (чем, впрочем, и занимаюсь). Все кончается — как говаривала матушка Екатерина — оттого же, отчего всяк человек стареется: да и что бы мы со всем этим делали бы, кабы оно не состарилось да не исчезло.

Сверяться не с чем: мелюзга безделушек — кличек вот этих или вещичков: дарили же мы друг другу на дни ангелов всякую ерунду: линзочку, подвернувшуюся перед визитом, одноразовую наполовину оприходованную зажигалку — не с ними же сверяться, тем более, что все эти вещички запросто окажутся просто прибранными: зажигалка без газа, линзочка. Что мы знаем, что мы значим? Сколькими способами можно произнести эту фразу?

Произнесем ее звуком, какой иной раз возникает в джазе: в каком-нибудь трех-пятиминутном обмылочке, очутившемся жить как бы совершенно случайно в результате ф-но, ленивого ударника и баса: мелкоформатный, так просто, ни завязки, ни развязки, для себя лишь — и не для того даже, кто слушает свыше, а так, для себя одних: вот мы тут, среди немногих своих, обыденные, нежные друг к другу, привычно усталые; головой в руках временно не слышащие ничего, кроме этого; приехавшие слегка от спазма осознания неслучайности человеческого понимания среди этих сводчатых полуподвальных абстракций миллиона лет и после; колкое, как твоя же щетина, время, в котором мы закопаны — так происходило, когда богом в нашей компании оказывался Князек: не народным, не конфессиональным, а есть в любой компании разный человек, через которого компания дышит и смотрит вокруг.

Бог, возникавший, когда площадку держал Еёжа, был, например, комбинацией из трех слов, показываемой в кармане системе. Еёжа как бы понижал уровень жидкости в окружающей среде, как бы отсасывая ее, мучительно при этом раздуваясь — и на глаза перла, извлекаемая, схожая с кондовым арматурным каркасом система, плотно облепленная ржой, костями, памятниками и иными признаками ее здоровья. У Еёжи на проявления системы взгляд был науськан, и бедняга обращал внимание на вещи, свести которые в одно остальные себя не насильовали. Да что угодно: как в городе вдруг начинать крушить деревянные дома, раскрывая до-селе замкнутые кварталы, размыкая город в обшарпанную новостройку; те же скучные проблемы с выпивкой и прочей мануфактурой — движение одной мыслишки людей Тибета этой арматуры влекло рассыпание, размножение их слабенького усилия в черт-что, катящееся вниз: одно движение — и рушатся по всему городу дома или отправляются в ремонт сразу все рыбные магазины (так, конкретно, на конец февраля восемьдесят восьмого года, когда Еёжа об этом говорил, из небольшого числа магазинов «Океан» оказались закрытыми по крайней мере три: на углу Блаумана и Кр. Барона; на Стрелковой, напротив «До-ре-ми»; на Ленина, наискосок от ГБ. И, вроде, еще в Задвиньи. Бедные наши коты). Не говоря уже о... скучно.

В начале нашего общения мы полагали, что пристрастие Еёжи к событиям общественно-политической жизни является свойственной ему формой стёба, в дальнейшем, однако, обнаружился трагизм ситуации. Забредя к нему домой, было выявлено, что отец Еёжи — полковник ВВС, и детство наш приятель провел, мотаясь по Союзу, в аэродромных городках, где азбукой ему служил Устав Гарнизонной службы, а формой воспитания — Курс молодого бойца, что над ним полковник и осуществлял каждодневно. Самым лирическим воспоминанием Еёжи, вынесенным оттуда, был марш «Прощание славянки», который он несколько амбивалентно любил по сей день. Украшена квартира была статуями самолетов, гладко вылизанных из латуни и никеля, а также пластмассовых немецких моделек, которые в детстве старательно составлял уже сам Еёжа и которые от полуритуального впоследствии уничтожения спас в гостиную папа. В комнате Еёжи имелся аквариум с подводной лодкой, которую Еёжа однажды перекрасил в желтый цвет, но сквозь тонкую ацетоновую краску продолжала просвечивать красная звезда.

Понятно, мутные ночи с Еёжей во главе нам оптимизма жить не прибавляли, выслушивать его аналитические разборки (это трамвайная болтовня, когда: вот теперь он и пропал, сахар, а потом: хоп — и куда-то пропали все мы, так ведь... (щелчок пальцами) увидишь на другой день и эти рыбные, и вскрытые кварталы или газетку прочтешь через чужое плечо).

И тогда нас, вляпавшихся в продукты общественного бытия, поддерживал, как горнист, Диксон, неудавшийся наш шестидесят-

ник. Они так друг за другом и ходили: Еёжа-Диксон. Бог, по Диксону, был вроде дощатого настила, мостков, как возле озер: начинаясь от берега, тянутся через топь с сырой травой и жижей, с полузатонувшими там министерствами, строевыми шагами и праздничными демонстрациями, выдвигаясь над поверхностью озера; там, у обрыва, может быть привязана лодка, а может и не быть. Насчет лодки ему, наверное, додумывать было лень, или: мужик он конкретный, а установить этот штришок требует усилий и времени если не больше, чем все предыдущее — Диксон считал это эгоцентризмом, торчать же на себе отказывался категорически. Вот так. В жизни достаточно настильчика — им многое перекрывалось, да и удержаться бы на нем, скользеньком, провести с собой других, посидеть-покурить, болтая ногами над сырой бездной, освещающей бликами лица снизу — разве мало? И не следует забывать, что собирались мы именно у Диксона. А что там у него в дальней комнате в конце анфилад, что там за картинки на стенах или какой-нибудь тяжелый, плохо спящий по ночам бесшумный механизм — сам взрослый.

Чем-то они — теперь лишь, вспоминая — были схожи с Мартой: а тем-то и были схожи — как если бы вместо Диксона наши вечера вела сама его квартира со всеми чужими кошками-попугаями и постояльцами-ночевальщиками, которые и с нами сидели, и слушали, вроде, и понимали, слова вставляли, но при этом не самостоятельно, а оставаясь элементом самого Диксона; так и когда на острие лучика была Марта (Марфа, ББМ, Матрена, а звали ее — Люда), казалось, что ничего с нами не происходит вообще (происходило), а в Марте, это здравый смысл, который — на самом деле — никакой не общепринятый и не среднестатистический. Подкожное, обычно затаптываемое — наскучивает, настолько совместное с человеком, и от него тянет к абстракциям, которые — судя по Марте — весьма слабо тащат жизнь. Что-то такое, категории такие и другие быть, возможно, должны — по Марте — так есть они и ладно, оставим их для умственных упражнений: в которых, помахав кулаками и выдыхаясь, застопоришься вопросом — а про что речь? Хотя, конечно, будь она лишь вот такой — не было бы ее здесь и жила бы она спокойно со своими многочисленными родственниками, не водила бы личную дружбу с Диксоном и не околачивалась бы, ночуя и обкуриваясь в его аппаратах с диксоновыми ребятами. И, тем более, не прибилась бы к нам — да и не прибилась, пришла, многое определив, в самом начале, сразу после Сен-Жермен.

Сен-Жермен. Самый загадочный персонаж наших взаимодействий. Окрещенная вначале Диксоном как Сен-Жермен-де-Лямермур по причине своего надменного вида и шикарной наглости, одевающаяся всегда как в оперу или на прием в посольство, через месяц она благополучно утеряла скептическое де-Лямермур, ничего ему соответствующего в ней не оказалось. Ну, скажем, дома ее могло, конечно, отражать зеркало с золотой амальгамой, но никак уж в золотенькой багетной раме.

Если попытаться взглянуть на нее отвлеченно и как бы со стороны и объективно, то в обиходном обращении она была человеком весьма неприятным. Вряд ли ее можно было расстроить или растрогать. Она была красива, поэтому вокруг нее — в прочей жизни — ковылял хоровод мужиков разных достоинств, трудно сказать, как она с ними разбиралась; в семье проблем не было, взрослый сын, муж, с которым она ладила. Всех троих можно было часто встретить в концертах (короткий кивок, проходит мимо), но дома-то она была у нас, и бедные домогатели, поди, совершали групповые самоубийства, будучи не в силах постичь логику ее душевных движений. А и как им было понять, если весь мир в ее исполнении превращался в игру, да не безобидненькую — все предметы и связи наделялись ее смыслом: как, скажем, у ребенка камень то ли зверь, то ли приятель, то ли грузовик, то ли небо. А Сен-Жермен осуществляла такие штучки не в частном, но разделяемом с другими мире, который по ее мелкой прихоти шустро преобразовывался, да не надуманно: все это в нем, оказывалось, и было — все эти несуразные связи, когда произвольный разговор или действие вдруг захотят заполнить собой половину универсума, заставляя остальных — доводя которых в результате до нервного истощения — припомнить и всех своих прабабушек, и Адама, и что ел на завтрак, и Шкловского в бане, и как впервые узнал о смерти. Куда же ей было идти с такими склонностями, как не к нам — не могла же она обучать этому сына, тот, пожалуй, и спятил бы, не разобравшись между такой мамой и всеобщим средним.

Здесь нет примера, потому что нет того воздуха и нет Сен-Жермен. Все это не излагалось, игралось, что же до ее манер, то: «Как это не могу?» — Сен-Жермен Диксону (встать на голову). Диксон требует доказательств. «Мальчик, молодой человек!» — Сен-Жермен в сторону анфилад. «Да, вот вы, неумыточек, будьте добры». — «А?» — «Вы могли бы встать на голову?» — «Мог бы». — «Встаньте, пожалуйста». Встает. «Спасибо». — «А причем тут ты?» — Диксон. «А сигареты под диван заехали, — Сен-Жермен Диксону, — ты искал только что». Сигареты, точно, лежали под диваном. Такой театр.

Трудно быть уверенным, но, похоже, мир она видела столь остро, что — если принять во внимание и постоянную практику подобного рода, и уникальное чутье (нечего говорить о безупречности ее вкуса — не оценочного, но всюду профессионального). Если, скажем, пойти дальше Сен-Жермен, сделать угол зрения еще острее, раздробить вещество на совершенно уже неаппетитные отдельные песчинки и, не теряя ни резкости, ни зернистости изображения, вернуть вкус на место, повернув винт настройки на четверть оборота обратно: увидев, как бы обнаружив себя на лужайке еще абстрактной, но уже неравномерной материи, ходя по которой, можно ощупывать эти сгустки: брать в руки, подносить к глазам: волнушка, рубль, яхонт — и, при этом разглядывании, вернуть винт еще на оборот обратно: этот сгусток, вызывающий

те или иные чувства, обладающий такими-то цветом, вкусом, запахом и звуком, организуется в мире реальном, то есть привычном комбинацией его частей: чаем с килькой, кошкой под дождем, текстом, Брежневым на белом коне, пером в бок. И таким вот сочленением штучек и занималась эмпирически Сен-Жермен.

Что роднило ее с Баден-Баденом, то есть уже не с ним, а с Нюшкой. Но, в отличие от Сен-Жермен, в коей эти тонкие качества были выработаны шестнадцатью поколениями предков, Нюшка была городской дворняжкой, от природы с мгновенным врубом в любую ситуацию и нюхом на все вокруг: не изобретала, не составляла, а, распознавая, присоединялась — на благо ситуации. В компании от нее было светло и легко и, ох, сколько вокруг было воздуха, когда Нюшка была нашим Богом — это был божок весенний, начинался свирепый апрельский раздерг; божок о ста руках, в которых ничего не зажато, с легкой кислинкой во рту от железного леденца или пульки; она была как бы напичкана ангелами, которые вырывались из нее при каждом ее жесте или улыбке.

О ней говорить трудно, потому что, да вот, — больно, потому что надо тогда входить в разбирательства со временем, заставляя себя понимать, почему все. Она была единственная, оказавшаяся среди нас как бы авансом, по стечению обстоятельств — в своей баденбаденской ипостаси она тянула лишь на то, чтобы оказаться одним из диксоновых завсегдатаев, задвинутым его постояльцем, краем уха участвующим в наших разборках. И не были, конечно, произошедшие с ней перемены целью и результатом наших сборищ: мы бы расстались, как только она стала Нюшкой, а не провели бы вместе этих три года, вспоминать которые больно и почти одинажды, и за которые, поди, нам потом зачтется жизнь, если отыщется, перед кем отвечать. Что, собственно, уже не важно.

Баден-Баденский период ее окончился довольно быстро, и не от разговорчиков наших, и, уж конечно, не от лежания головой на коленях Эксквайра, а сам собой и очень кстати, потому что если бы не это — ничего бы с нами не произошло. Потому что мы боялись: это как поднырнуть под завал на реке — течение вынесет, сила, тебя движущая, вынесет, а не даешь себя ей на волю, опасаясь — ты же будешь пуст, весь в ее власти — страшно. А у нее был этот долговременный задвиг, очень постоянная точка зрения, и с этой прочной и дикой позиции ей удалось обучиться ощущать каждодневные, выбивающие из привычного самочувствия толчки и тумачи не разрозненно, а, по мере их учащения (а куда денешься, конечно, учащения, с каждым годом все плотнее) — что они не то-так-то-эдак, а одного течения, одной реки, на которой можно ехать верхом. И ей, Нюшке, сил поэтому не хватить не могло, все возможные были в ее распоряжении, которыми она наделяла всех остальных. Не забывая нас и теперь, когда нас давным-давно нет всех вместе — хотя мы и рядом, и встречаемся постоянно: куда же нам разбежаться в нашем малолюдном городском кругу, вот только не собраться, разве что как бы в виде эксперимента — да

только, боюсь, придут все не одни, желая приобщить новых друзей к былым радостям: нет, конечно, не придет никто.

Невозможно. Мы зачем-то были вместе, что-то вместе делали, нам было счастливо, что, собственно, дело десятое; потом это — неведомое нам — созрело и отвалилось, как августовская слива; мы давно уже про все забыли, в конце концов человек наполовину состоит из воды, что обеспечивает быстрое обновление всего организма и памяти. Но, встретиться мне на улице Ньюшка (зовут в миру которую, конечно, совершенно иначе), мы будем с ней обниматься, samozабавенно и нежно, и целовать друг друга в губы и глаза, а только все кончилось, вес рассеялся, воздух сделался пуст и безвиден. А точнее — стал другим.

Но был еще Эксквайр. Среда его обитания (он, кстати сказать, муж Сен-Жермен) была легендарная темная комната, в которой происходит ловля черной кошки, там, возможно, отсутствующей. Кошку-то мы не ловили, кошку бы мы позвали и она бы примурлыкала к нам сама. Другое: пройти по диагонали из угла в угол в этой комнате невозможно. Там в центре какая-то штуковина темно-неосвещенного цвета: какой-то черный алмазный конус, гладкий настолько, что ощупать его, не потеряв при этом ориентации, невозможно. Если ж не ощупывать, а идти, старательно выдерживая направление из угла в угол по диагонали, то препятствия идущий не ощутит (форма его, впрочем, не установлена точно: кажется — конус, а может быть, что-то сложнее или эта штука меняет форму, оставаясь, однако, гладкой и темной — либо совершенно прозрачной), ничего не ощутит, но начнет отворачивать в сторону — соприкоснувшись со скользкой поверхностью того, что в центре: разворачивающееся плечо почти ласковое противодействие, которое кайф ощущать; плечо опирается на препятствие, препятствием как бы и не являющееся: идущий продолжает идти по прямой в свой назначенный угол и, минуя в своем прямом движении эту область, вдруг ощущает отсутствие противодействия, момент отрыва, что отзывается в нем удовольствием от частичной потери веса, почти чувством парения и, да что же это я тебе все это разобъяснять-то затеял?!

Ну ладно. Сей интерьерчик он как бы приволакивал на горбу к Диксону, когда наступал его черед водить. Богом Эксквайр служил не часто, раз в два месяца, даже реже, а всего — раз семь-восемь, кажется, за все наше время. Все, как сквозь рентгенкабинет, проходили сквозь это помещение, задерживаясь неизвестное время внутри. Потом никто никому ничего не мог рассказать... И у другого не спрашивал. О чем, собственно? Все это было не сахар: никто не сможет сказать, сколько был внутри и что понял, пытаясь сладить с этим веществом, разобраться, что оно такое там стоит: как воспоминание сна, себя, въезжание во что-то абсолютно необходимое и нежно ускользающее. Там — совмещение наступало, а оставались: нелепая, казавшаяся там ключом — опытный, понимаешь, что все уйдет, строишь зацепку — но совер-

шенно дебильная фраза рода «дыр, бул, шир», а, казалось, все из нее наяву размотаешь. Или картинка — тоже почти ничего не сохранявшая на поверхности. Вот оно, вот — что? Как мы потом расходились: поодиночке или вместе, во сколько, куда? Потом мы встречались недели через две, не раньше.

Так было все это время, и вот мы вдруг обнаружили себя выходящими толпой на январскую улицу, часов в пять утра, после Эксквайра — и сам он тоже был тут, мы ждали Князька, который побежал вернуться за сигаретами, а Еёжа уже выскочил на магистраль ловить мотор, идущий через мост из Задвинья, мы все чего-то смеялись, охали как же сегодня на службу и явно тянулись взяться за руки, арестовать свои руки и стать хороводом.

И вот тогда я и разогнал их на свободу.

Леонид Межибовский

ДЕНИГИНА И ПРАГИН

Двор велик, и окоем занят им полностью.

Двор занят домом в стиле новый ампир. Дом — соединение четырех сурово-серых параллелепипедов, они делятся и делятся — столь долго, что повороты незаметны, и четыре становятся суть одним. Правильность их геометрии нарушена многими колоннами, башенками и башнями. Вместе с бочками: квасной и молочной, и булочным ларьком, пользующимися обитателей дома, они будто подчеркивают самостоятельность двора и отъединенность его от остального пространства, которое трудно отсюда представить как окружающее. И лишь арки, выводящие из — в, подразумевают, что оно все-таки есть.

Во дворе поместилось: десяток недавней постройки сараев, собрание разномастных гаражей и двухэтажное здание — когда-то владенье Денигиных, когда-то называемое дворцом. Довольно крепко стоит он на земле и совсем даже не теряется пред окружившим соседом. Его обрамляют жасминовые кусты — голые, потому что время не вышло им зеленеть.

Кроме строений и флоры собственно двору осталось достаточно места. Его заполняют (слева направо): песочницы, мусорный бак, карусель с лошадками и на оси пристроенным белым жирафом в полнатуральной длины, скамейки, скульптурная группа жнущих рабочих — крестьянок, бездомные автомобили.

Из одушевленных объектов имеются: велосипедисты, дамы болтающие — с авоськами и без оных, кошки, целящие в воробьев, собаки — среди них отвагой выделен юный бульдог, терзающий гуттаперчевого льва, дети в ролях разбойников, казаков, дочек и матерей, и казаки, в старости похожие на усатых детей.

Двор, если взглянуть с журавлиного полета, напомнит, конечно, колодец; дворец можно счесть за ведро на высохшем дне; сарай и прочую мелочь — за наросты; а вместо журавля колодезного — журавль летящий сойдет. Этот карандашный набросок — единственный, кстати, среди ярких масляных полотен Веретеного — так и назван: «С точки зрения журавля».

На некоторых картинах: дворец заперт, окна заколочены, стены украшены мхом, а массивная дверь табличкой: склад неизвестно чего и рогожи. Штукатурка облезает, как кожа от солнечных лучей. Воздействию солнца в нашем случае можно уподобить время

и небрежение. Сей вид вполне соответствует тому, что легко увидеть, выглянув из окна квартиры Веретеного.

Дворец населяет племя кошек. Оно молодо и полно надежд, кроме того — честолюбиво. По причине же молодости познакомиться с ним не успели. Да и вообще, так сразу во дворце его не обнаружишь. Оттого-то на одной-одинешенькой акварели изображение кошки размыто, ясно очерчен лишь ускользящий хвост.

Во дворце устроена дворницкая, — в задней его части. Потому в обзор, предоставляемый окном, которое обращено к фасаду дворца, она не попадает. Сейчас дворник Алексей Алексеевич Крузенштейн с приятелем Веней Блакитным — головой местной шпаны — пьют пиво. Изредка, собравшись с силами, они прерывают занятие, отправляются на двор и деликатно заходят за угол. У Вени так принято: пиво и тому подобное, то есть не более крепкое, питье он сопровождает демонстрацией удали и пренебрежения к нравам и взглядам любопытствующих. (Более же крепкое доводит Веню до скованности движений). К тому же он призывает Алексея Алексеевича. Как видим, успешно. Голые кусты не защищают их нехитрые действия и от потусторонних глаз. Дело вовсе не в мистике, а в том, что вышедших из дворницкой и зашедших за угол уже можно заметить из упомянутого окна. Впрочем, эти события не имеют отношения к живописи.

Есть и другие картины — около половины, — где фантазия Веретеного дала себе волю. Дома и, значит, двора на них нет; только дворец. Он сияет огнями, окна распахнуты в сад. Там, под купами цветущих акаций, прогуливаются изящные дамы и кавалеры. Статные официанты разносят подносы с изысканными напитками и под стать им (напиткам) закусками. Соловьи порхают и, засевши в листья, поют. Дирижер машет палочкой — из оркестра летят волшебные звуки. Или изображен пожар. На первом плане: бравый брандмейстер руководит молодцами; что храбро смиряют стихию; на втором помещены холмы, несвойственные здешним окрестным плоскостям. Историческая часть давнего путеводителя утверждает, что горел только флигель. Утверждается, что флигель благополучно сгорел. С тех пор сохранилось преданье, что некое чудо уберегло флигелев флюгер: когда приблизился к нему огонь, железный птенец улетел. Правда, кое-кто из доморощенных Фом говорит, что в тот день поднялся в небо авиатор Попаниди и его машину якобы и приняли за флюгер. Попаниди больше не видели, и никто не узнает точно: флюгер летел или летчик покорял просторы воздушные.

Вернемся же во дворец, благо с огнем совладали. Следующая картина, размер: метр на два, уйма подробнейше выписанных мелочей. К подъезду подкатывают кареты, из них выходят изящные дамы и кавалеры и с места — в кадрили; появляются и старые девы (где же без них?) со своими старыми маменьками — преклонными, в том смысле, что неважно распрямляются. На террасе, увитой плющом и приютившей несколько мандариновых деревьев,

уединились сановные господа (мандариновых чинов они еще не достигли и потому почтительно косятся на субтропических посланников), попыхивают сигарами и рассуждают о городской и мировой, в частности, политике. В зеленой Зеленой зале их жены играют в бостон. Кто-то сбросил червого валета, и они, усмотрев в этом знак измены, перемигиваются. На кухне собрание слуг перемыкает косточки, а посудомойка — посуду. У фонтана, замененного ныне скульптурной группой, авантюрист-итальянец — мастер импровизировать на женских сердцах — волочится за дочкой хозяина, который тем временем дремлет в буфетной.

На другом холсте: бал закончился. К подъезду подают кареты. Денигин, провожая гостей, демонстрирует новехонькое, с иголки, приобретение — горбатого уродца с огромной грушей на брюхе — автомобиль. Кожаный шофер жмет на клаксон, лошади шарахаются, люди вздрагивают. Денигин барственно смеется.

И вот уже — последняя картина — поздняя ночь, окна темны, кроме одного, у которого сидит молодая женщина и ласково смотрит на тебя, зритель. Ее рука лежит на шнуре, штора вот-вот задвинется. В левом нижнем углу — неразборчиво: «Последний взгляд на Драгину».

Прагин пристально вглядывается в ее лицо.

«Возможно ли?.. — подумал он, пораженный. — Неужели об этой женщине?..» — он не решился додумать. Неужели о ней он мечтал в тихие дни тоски, в тихие ночи, столь же тоскливые? Это лицо, лицо Денигиной, казалось ему, нет, не казалось, он был уверен, что оно совершенно. И совершенно воплощает красоту, о которой он и мечтал только. И вот же оно. Наяву. На картине.

Принципы реалистического искусства предлагают фотографу не просто зафиксировать лицо снимаемого, но подчеркнуть характерную его особенность. То непродолжительное время, что занимался Прагин фотопортретом, он не следовал этому завету. Ибо, как сказано, мечтая о красоте, не мог он предпочесть ей бессмысленный взор обаятельницы или презрительно поджатые губы. Презрительные к кому, к чему? К принципам? К Драгину? К темному цепкому глазу объектива, что будто бы тщится понять и раскрыть устройство объекта? Это-то меньше всего могло волновать Драгина.

Не раз на улице ли, в трамвае, в тому подобном общедоступном месте ищущий, искательный даже, взгляд Драгина внезапно выделял лицо, которое сперва казалось ему именно т е м . Словно что-то затемняло глаза, словно что-то пронзало. Словно нечто потаенное в нем, Драгине, вдруг приоткрывалось случайно отодвинутой створкой и болезненно сжималось от света. Но затмение рассеивалось, и, всмотревшись в лицо, отражаемое той плоскостью, что обнажала на мгновение створка, он замечал, что не все есть прекрасно. Брови почти срослись и похожи на беличий хвостик, либо чуть нарушена прямизна линии носа, или еще какой недостаток. И гас взгляд, вновь замыкая внутреннее пространство Драгина.

Он знал, как убрать на портрете то, что могло повредить красоте, как он понимал ее. Для того есть несложные, а есть и изощренные фокусы при обращении со светом и реактивами. Вначале Прагин не смущался тем, что приходилось ему подправлять натуру. Или совсем мало смущался тем, что как бы усовершенствует природу. Тому была, в общем-то, естественная вполне причина.

Взяв от жизни свои двадцать два года, Прагин был, как раньше сказали бы, молодым человеком, приятным во всех отношениях. Даром, что во всех. И не даром. И легкий налет жуаннизма, понятно, не мешал ему. Он умел заговаривать с незнакомыми. И, бывало, девушки те понимали его неправильно. И хотя настаивал он на том, что нужно ему лишь то, о чем говорит он, случалось ему пользоваться неправильным тем пониманием. Но после оставалось чувство недовольства, неполного, что ли, удовлетворения. (Пусть интеллигентный читатель поморщится от двусмысленности, если разочарований он не имел). Верно, подобное испытывает полный бокал шампанского, после, как пена спадает. Ведь хотел-то Прагин настоящего, а оно, как и все настоящее, представлялось ему обычным, но вопреки тому — и несбыточным.

А когда дело дошло до того, о чем говорил он, до первоначальной цели, до выбора ракурса, до освещения, он-то знал уже, что ошибся, и надеялся лишь на свое искусство фотографа. Точнее, искусность. Но, вместе с тем, отношение с моделью он все отчетливее воспринимал как неестественное. Ибо модели его, проявленные на фотобумаге, оказывались для Прагина, по сути, бесплотными. Лицо становилось портретом, а обратного соответствия не наблюдалось. Постепенно это все больше и больше тяготило Прагина. А те, дополнительные, отношения.., — да что все о них?! Теперь уже слишком настойчиво говорил он, что нужно ему лишь то, что имеет в виду, и ничего иного. То ли сезон изменился, то ли подчеркиваемая им определенность выглядела не очень-то вежливой, — ему отказывали.

Все совпадало: безрезультатность поисков и искусственность работ его.

В конце концов он завершил их монтажом, где соединил позаимствованные у отдельных лиц черты. Женщина та, женщина еще более нереальная, чем вся его коллекция, отчасти была похожа на Денигину. Но с настоящей Денигиной, с Денигиной с картины Веретенного, с Денигиной, заметно уставшей от бала, от итальянца, от батюшкиных причуд.., — какое сравнение?

Прагин подумал: оживи картина, дернись штора, вздохни Денигина — и он бы не выдержал. Он бы перескочил через подоконник. К ней. А что делать дальше? — он бы растерялся, конечно. И она, возможно, будет недовольна подобной дерзостью. Хотя Прагин и заговорить с нею вряд ли позволил бы себе. Но ничто не шлохнулось. А Прагин уже видел себя рядом с нею. Но ничто не шлохнулось. И она по-прежнему ласково смотрела на Прагина. На приятного, но чужого человека так смотрят.

Прагин еще раз обозрел серию с двором и дворцом. И то же лицо он обнаружил теперь на всех картинах. Правда, лишь на одной было оно так хорошо выписано и приметно. Но и там, где фигурки маленькие, Прагин не мог не различить его. И у женщины с сеткой бананов и букетом зеленого лука, и у девочки, что баюкает куклу, и у бронзовой крестьянки с серпом, и у барышни, катящей кресло с паралитиком-вельможей...

Прагин дошел до последней картины и задернул ее шторкой.

Он направился к выходу — в половину обычного роста синей двери — и у самой этой синей двери заметил несколько небольшого формата листов. Главным действующим листом-предметом на них был поезд. Все детали: от креплений шатунов до узоров на занавесках — тщательно прописаны. А сами поезда — желтые, словно заменяют солнце в тот пасмурный день, в котором довелось им оказаться. И в железнодорожной теме Веретеный не обошелся без Денигиной. Обратив ее то стрелочницей, грозящей поезду флажком, то проводницей, кормящей говорливых попугайчиков в клетке, то пассажиркой, полулежащей на своей полке и разряжающей миниатюрный (но смертоносный) «вальтер» в скотасоседа, посягнувшего на нее. А то еще буфетчицей, что торгует пивом и дохлого вида вареной курицей.

Коридор слегка освещен одинокой лампочкой. Здесь ничто не задержит внимания любителя отечественных коридоров.

Итак, пройдя коридор, Прагин ступил во вторую комнату.

Если в той, первой, посвященной Денигиной, — вообще-то мастерская Веретенного, а рабочее ее население: мольберт, подрамники, чистые холсты и так далее — запрятано в нишу и прикрыто занавеской, то эта комната — жилая. Со всеми необходимыми для жилья атрибутами. Но лишь самыми необходимыми. Обставлена она, следовательно, скудно. Полумрачна. У окна маленький, ломберный в прошедшем времени, столик. На нем: яблоко, ножичек, чайник, стакан и еще один стакан — кратковременно опустевший. Но это не натюрморт. Природа уже просыпается, выражаясь небезызвестными словами. Март, как-никак. К столику приставлен стул — колченогий, как отставной адмирал. На стуле... Сидит, то есть сложен, как складная кисть (недавнее изобретенье), как жесткий чудской халат. Прагину не хотелось сейчас смотреть. Ничего не хотелось. Но он заставил себя. Веретеный. Худой длинный человек лет тридцати. Худоба его, можно сказать, изящна, — он весь тонкий, а не тощий, как утверждает искусствовед Ч. Воолков с присущей ему страстью до анатомии. Тонки и черты лица. А нос, кроме того, еще и безукоризненно прям. Именно этому вот носу позавидовала однажды Ника Подольская после неудачи с Прагиным. Имеется в виду творческая неудача, конечно...

— Хочешь чаю? — вымолвил наконец Веретеный.

— Чаю? — откликнулся Прагин. — Ах, да. Я бы не против.

Он только еще отходил от воздействия Денигиной. Ему бы за-

крыть глаза и посидеть тихо. Одному. И устало мелькнула мысль, что надо было сразу уйти.

— Обычно приходится говорить: понравилось или нет. Или, например, раньше нравилось, а нынче — вот беда — разонравилось, или что-то другое в подобном же роде, — безжалостно произнес Веретеный, наблюдая растерянность (на самом деле — подавленность) Прагина.

— Или ничего, — вяло предложил Прагин.

— Что с тобой? — участливо, но, в сущности, лишь вежливо осведомился Веретеный. — Я освобождаю тебя от этой обязанности. Но скажи: как тебе девушка?

— Девушка? — переспросил Прагин. Сперва он и не понял, о ком речь.

— Ну да. Как еще сказать. Она же молодая совсем.

— Молодая, — механически подтвердил Прагин. И снова подумал, что лучше б уйти. — Кто она?

— Денигина? Я нашел ее... Этот дворец, дом отца ее, раньше ведь считался местной достопримечательностью. Да и сам Денигин был не из последних. Настолько, что даже удостоился чести попасть в путеводитель. Там есть снимок: он с дочерью на лужайке перед дворцом. А когда народ пробудился, они в Константинополь подались. Потом — в Париж. Он — в таксисты, дочь — в секретарши. Потом вышла замуж за какого-то Жана. Потом... Жизнь, короче говоря. А умерла она лет двадцать назад. Дожила до седины и почилла в окружении детей и внуков. Чад, короче говоря.

Прагину слышалось что-то насмешливое, но что именно, он не мог разобрать. (Веня Блакитный, когда чего-нибудь суть ускользает от него, признает свое недопонимание такими словами: — Капелька клюквенного сока теряется в сметане, но все же кислая остается, но не для меня, не для моего грубого вкуса.)

— А на той фотографии она хороша. Похоже, и тебе так показалось, если ты доверяешь моей редакции. Но и там, в фотонатуре, она не хуже.

Прагин все стоял у двери. Наконец оторвался от косяка, доплелся до узкого сухопарого дивана, в ночное время — кровати.

Веретеный потянулся за вторым стаканом — для Прагина, привстал, полы халата распахнулись, приоткрыв тонкие ноги. Прагин поморщился и поспешно отвел глаза.

— Но зачем вы так много ее рисовали? — выдавил он.

Веретеный неожиданно грустно посмотрел на него. Подошел к окну. Двор был темен и пуст, и расширившийся от своей пустоты. Дворец стал словно бы ниже и почти распластался по земле. Веретеный заметил невысокого коренастого человека, разравнивавшего метелкою песок в песочнице. (Беззащитная крепость рушилась и смешивалась с пирожками.) Алексей Алексеевич Крузенштейн, оставив Веню наедине с пивом, обходил с вечерней проверкою двор, готовил его к следующему дню. Все было в порядке. Алексей Алексеевич, в общем-то, аккуратный дворник и домовитый.

Но минуя парадный подъезд дворца, он стрельнул непотушенной папиросой. Та влетела в щель в разошедшейся двери и пала на благодатную почву. Рогожа замечательно поддается воздействию искр, не хуже российских просторов. На ходу Алексей Алексеевич вертанул спящую карусель. Лошадки спросонья скрипнули, а жираф улыбнулся: в этот момент ему снилось — он разбегается, пригнув низко голову, и вот-вот взлетит.

Веретеный повернулся к столу, наливая чай, промахнулся, смахнул лужицу на пол.

— Зачем? Знаешь, она тот... человек, женщина... Ну, словом, некто, в ком я нуждаюсь. Все картины, кроме одной, — лишь наброски. Я долго присматривался к ней, к ее изображенью. На той фотографии оно очень мелкое. Что-то я мог утратить. Неважно. И наконец она получилась. Получилась такой, какая нужна мне. Но, я вижу, и тебя она задела. Ведь так? — резко спросил он и спрятал голову в руки, как если бы рисковал получить неприятный, нежелательный даже ответ.

— Ладно, пойду уже скоро, — говорил между тем Веня Блакитный вернувшись с получасовой службы Алексею Алексеевичу. Они допивали последнее пиво. — Время-то не ранее. А мне еще к Нике успеть бы. Пока, ну, мамаша ее, не того, против поздних визитов вставшая, понимаете сами. Хоть вроде не девочка, — Веня ухмыльнулся.

— А дамочка, — вставил Алексей Алексеевич.

— В смысле Нику, а не мамашу, разумею, конечно. Той уж само собой, не того статута, — высокопарно так любил выражаться Веня. — А еще, кстати, Алексей Алексеевич, видел я во дворе, ну, помните — понимаете сами, Ника тогда по нем чуть не зачала. Так встретите, разъясните, чтоб не променировал тут. И мне не попадался на глаза. Под руку, соответственно.

— Хорошо, Веня. Помню, понимаю, скажу. Иди, Веня, иди, — не без труда доплел до конца фразу Алексей Алексеевич.

Прагин вздрогнул. Да. Так. Именно так. Даже больше, чем мог бы представить себе Веретеный. Но разве скажешь ему. Он же написал Денигину. Ему принадлежит она. И никому не скажешь. Не объяснишь.

Он чувствовал себя так, словно жесткая шершавая ладонь прошла по нему. И, сняв кожу, проникла внутрь и хозяйничала там. Перехватила она, сжала жизненный нерв. Ком, подступающий к горлу, захватывающая тело слабость — окончания этого нерва, по общему мнению.

Прагин откинулся на диван, коснулся головой стенки, почти что лежал. Он закрыл глаза, и под веками они наполнились слезами, а потом одна из них, уже лишняя в малом пространстве, выкатилась наружу. Но через несколько минут он успокоился, как будто задремал даже.

— Послушай, — сказал Веретеный. Он смутился. Он не ожидал такой реакции Прагина. Тем более он должен был объяснить ему то, что...

Прагин не отзывался.

— Ты помнишь? — Веретеный продолжал, — год назад я думал писать твой портрет. Тогда я сделал несколько эскизов, но что-то было не то. Мне казалось, для тебя надо искать какое-то новое решение. Я отложил их. И не показывал никому. В особенности тебе я не мог их показать. Я боялся, что ты поймешь то, что я тогда еще не понимал. А потом, не знаю, как это вышло, что случилось со мной, но, вернувшись к едва начатому твоему портрету, я понял, что смогу сделать с ним. Вернее, из него. И что он может сделать со мной, для меня. Что может мне дать! Я нашел ее! И тогда я стал писать. Я никого не пускал к себе. И даже тебя. Хотя именно тебе я и обязан тем, что она есть у меня. Тем, что у меня появилась Денигина. Я не ожидал, что она так подействует на тебя. Но если бы ты не заметил ее — не просто как зритель картину, а как ты, Прагин, увидел Денигину, я бы не говорил тебе ничего.

Прагин слушал, не открывая глаз, теперь сухих. В пустыне, должно быть, бывают такие глаза. У берберов. Из последних слов Веретенного, не поняв точно, к чему тот ведет, он заключил вдруг, что Денигина все-таки есть. Что она прекрасна. Что она существует. Но не так всё. Напрасно он взволновался. Веретеный договорил.

— Я придал твоему лицу более правильный овал, подправил линии лба, подбородка. Волосы — это совсем легко — их удлинить и завить. Еще какие-то штрихи изменились. И из тебя, из твоего лица. Что-то вроде пластической операции на холсте. Вот откуда Денигина. Имя? Оно ведь не главное. Оно действительно было известно в наших краях. В этом дворце оно было.

Обратно вернулось спокойствие к Прагину, оборотилось безразличием, убрало возникшую было надежду.

Веретеный приблизился к Прагину. Скрестив руки, постоял возле, зачем-то достал из кармана карандаш, бросил на пол. В его движениях появилась еле заметная неуверенность, словно он не знал, как следует подступить к тому, что хотел он от Прагина. Не рещался.

Окна плотно закрыты. А если бы чуть приотворены были они, Веретеный и Прагин наверное — он ведь не спал все же — почувствовали бы запах гари. И дым бы проник в комнату.

Не ведал еще Алексей Алексеевич Крузенштейн, что по ведомству его дворовому неприятность случилась. Пожар — дело серьезное. И кошки уже разбежались по всем частям света, огранченного домом. Они, как известно, первыми бегут из горящих дворцов. А не ведал Алексей Алексеевич по двум причинам. Во-первых, распивал он припрятанную от Вени бутылочку. А занятие это требует обстоятельности, сосредоточенности и чтоб не отвлекаться. Во-вторых, ветер дул в таком направлении, что сносил дым не в сторону дворницкой, а в противоположную. В сторону окон, за которыми были в тот вечер Веретеный, Денигина, Прагин.

Городишко оказался неказистым, скученным и низким.

Горожане были недалекими, хитроватыми и недоверчивыми.

Тони Шварцкорф промотал весь день на свои коммивояжерские дела и порядком устал.

Усилия его были бесплодны. О телефоне никто не желал и слушать — и без него здесь не испытывали проблем по части коммуникации. Рекламы новейших моделей кофеварок и велосипедов удалось всучить лишь пастору и директору гимназии. Но по их равнодушным физиономиям Тони справедливо предположил, что они будут и дальше варить кофе в чайнике и ходить пешком.

К вечеру Тони Шварцкорф засел в вокзальном буфете. В запасе у него было несколько поездов, и он мог не спешить. Он заказал сосиски и пиво неповоротливому буфетчику. Достал из саквояжа ручку и карту, не без труда нашел на ней Гайбург и нарисовал жирный крест на нем. Напрасно занесла его сюда беспокойная судьба.

Получив заказ, Тони тщательно осмотрел посуду. Тарелка была отмечена врожденным пятнышком на фарфоровой поверхности, а по краю кружки тянулся след неотмытой губной помады. Тони брезгливо поморщился, наскоро съел сосиски и наконец прилачился к кружке там, где было относительно чисто — над ручкой, и шумно засопел, втягивая пиво.

Мысли насытившегося Тони Шварцкорфа приняли вполне непритязательное направление, а именно — он подумал о женщине. Буфет был пуст, и Тони посмотрел в окно.

И женщина не заставила себя ждать.

Она сбежала с пешеходного перехода, поставленного над железнодорожными путями, и едва вскочила в дизель, как он тронулся.

Эрика Крюгер открыла дверь в купе и заглянула туда. Пожилой господин кивнул ей и отгородился газетой, такса у ног его видела во сне чудесную котлету, и ничто не могло отвлечь ее. Эрика заключила, что попутчики, видимо, ненавязчивы, и уселась на свободную скамью. Достала из пакетика напудренную булочку, слизала пудру и убрала булочку обратно. Положение Эрики, которое она оценивала как романтическое, предписывало не злоупотреблять мучным.

Три года назад с Эрикой произошло невероятное для скучного Гайбурга приключение.

Однажды Эрика прогуливалась по садику возле церкви, как к ней подошел незнакомый молодой человек. Он был изящен, хорошо одет, а его пронзительные карие глаза и тонкие черные усики... Ах, что говорить! Мгновенно очаровал он бедную Эрику. Он представился Алоизом Крюгером, спросил Эрику о ее имени, которое она доверчиво и выложила, затем стал путано объяснять, что обстоятельства так сложились, выхода иного у него нет, и не оказа-

ла бы Эрика ему честь, потому что, право же, от того зависит вся его жизнь, одним словом, он боится показаться нескромным, но не могла бы Эрика, вернее, ее рука и сердце, но при том и она сама принадлежать ему. Для чего необходимо зайти с ним в храм — священник и свидетели ждут — и обвенчаться, а Эрику он клянется любить. В его предложении простодушная Эрика не нашла ничего странного. Ей показалось даже, что сначала любовью и лишь потом другими причинами, оставшимися, впрочем, неясными, Алоиз мотивировал свое желание. Одним словом, когда венчание совершилось, Алоиз Крюгер одарил Эрику благодарной улыбкой и своей фамилией.

Они направились было к выходу, но пастор задержал Эрику и завел разговор о ее кроликах, которые недавно чем-то переболели и прекратили плодиться. Алоиз же быстро вышел из кирхи, сел на предварительно спрятанный в кустах велосипед и исчез. Растерянная Эрика немного подождала новоприобретенного мужа и отправилась домой. По пути она встретила сына зеленщика — он сунул ей в руку записку и убежал. Алоиз уверял ее в любви и преданности, но обстоятельства требуют незамедлительного его отъезда. Конечно же, это страшно расстраивает его, но поступить иначе он не в силах. Эрика должна понять и постараться простить огорченного разлукою мужа. Обещание дать о себе знать завершало послание.

Эрика всплакнула, но, в общем-то, отнеслась к происшедшему довольно спокойно и сочла за лучшее ждать. К тому же, хозяйство требовало забот и не оставляло времени на переживания.

В городке недолго поболтали о необычном замужестве, но Эрика Крюгер держала себя так, как подобает женщине, чей супруг в отлучке, и толки вскоре сошли на нет.

И вот накануне Эрике принесли телеграмму. Алоиз назначал ей свиданье. Чтобы оно состоялось, Эрике следует сесть в предпоследний вагон поезда, отправляющегося в четверть седьмого, сойти на четвертой от конца маршрута остановке, и там он и встретит ее.

Эрика поправила прическу и подумала, что она-то совсем не изменилась за три года, а вот муж ее... интересно, каков стал Алоиз? Может быть, он носит бакенбарды? (Для Эрики законодателем моды по части волосяного покрова был эрц-герцог.) Обрадуется ли ей Алоиз? Хотя, раз он предлагает ей встречу, значит, обрадуется. И как долго продлится их свидание? Исчезнет ли он так же скоро, как тогда? Или он, предположим, поведет ее в ресторан, а потом... Вдруг он снял номер в отеле и они зайдут туда? А потом... Что потом? Эрике уже надоело думать, и она устало зевнула. В мечтах о счастье Эрика не забиралась дальше чего-то кратковременного и не очень определенного.

— Эрика, дорогая, приехали, — сообщил Алоиз Крюгер, пригладил разлапистые, в пол-лица, бакенбарды, потряс жену за плечо и дернул за поводок таксу.

Эрика открыла глаза и грустно и признательно взглянула на Алоиза. Ее поразило, что впервые в подобных снах в образе героя ей привиделся, как ни странно, ее собственный муж. (Уже давно он не изящен, не очарователен и не любим.) Но привычное отвращение сразу же вернулось к Эрике и она повела плечом, словно стряхивая след от руки Алоиза. Он на ходу дочитывал газету и не заметил прискорбного для себя движения. Впрочем, ему было все равно.

Ольга Александровна Чернигина заложила ленточкой немецкий роман, что случайно увязался с ней в пригородный поезд. (Пусть читатель будет благодарен за бойкий пересказ добрых его двух третей. Сейчас он основательно подзабыт и вряд ли кому попадет.) Ольга Александровна медленно продвигалась по течению утомительного слога и не слишком-то занятого сюжета. В романе ее тронуло только то, что героиня по описанию была внешне похожа на нее.

Ольга Александровна поднялась и вышла в тамбур.

Поезд остановился, двери разъехались, и она ступила на перрон.

Перед нею мгновенно вырос незнакомый молодой человек. — Эрика! Наконец-то! — закричал он.

Ольга Александровна обернулась, полагая, что за ней стоит женщина с таким редким для среднерусской возвышенности именем, но никого не было. Обращались, несомненно, к ней.

— Вы, наверное, ошиблись, — сказала она довольно любезно.

— Как!? Ты не узнаешь меня? — спросил он и смущенно улыбнулся.

— Нет, — уже менее любезно отвечала Ольга Александровна. — Вы незнакомы мне.

— Но разве ты не помнишь, как три года назад ты вышла за меня замуж? — чуть растерянно спросил он. Но нашелся и решительно сказал: — Но тогда почему ты здесь, как не потому, что получила мою телеграмму?

Он вплотную пододвинулся к Ольге Александровне и крепко взял ее руку повыше локтя.

— Вы путаете что-то, я ничего не получала. Но постойте, ваше лицо откуда-то знакомо мне, — сказала она.

— Это же я, Алоиз Крюгер, — мягко произнес он.

Ольга Александровна взглядела в него внимательнее: эти пронзительные карие глаза, эти тонкие черные усики..., это же в самом деле тот человек, о котором она читала.

Она вырвала руку, сделала шаг назад и оказалась снова в тамбуре. Двери, будто ее поджидали, задвинулись, и лицо Алоиза злобно перекосилось за разделившим их стеклом.

Ольга Александровна вернулась в вагон, ее недавний сосед удивленно посмотрел на нее.

«Не может быть, это совпадение, случайность, — подумала она. — Точно такая же, как то, что я взяла с собой именно эту книгу».

В том месте, куда она направлялась и на пути к которому появился Алоиз, ее ожидали дела не очень важные, и она могла задержаться.

Чтобы успокоиться, Ольга Александровна раскрыла роман и снова погрузилась в сновидения добропорядочной бюргерши Эрики Крюгер.

Отдадим должное сонливости и мечтательности Эрики — она умела и спать, и мечтать при малейшем к тому поводе. На сей раз она навещала приятельницу, пока Алоиз заходил на биржу и в банк, уселась крепко на диван, ту вызвали к телефону, и Эрика...

Обстоятельства, приведшие Алоиза Крюгера к скоропалительной женитьбе, изложены в следующей части романа. И, соответственно, — затейливого сна Эрики.

Вкратце они таковы.

Двоюродная бабушка Алоиза — старуха, по части ума которой существовали известные сомнения, — была весьма и весьма богата. Мирно завершая свой путь, она составила завещание, где просто и без обиняков говорилось, что все она отказывает дорогому внуку Алоизу. Лишь одно условие сопровождало наследство. Алоиз должен жениться на какой-нибудь девушке из Гайбурга, откуда старуха сама была родом. День — как раз три года назад — был выбран согласно расположению небесных тел. Им бабушка доверяла во всем. По ее мнению, и дата, и место рождения невесты гарантируют счастье Алоиза и приумножение его богатств. В случае неисполнения воли рехнувшейся бабки все было роздано бедным.

Теперь уже можно догадываться, почему Алоиз предпочел скромностью, а не соблазном богатства покорить Эрику.

Итак, Алоиз выполнил условие. А Эрика, того не ведая, кроме сердца своего и руки принесла ему немалое состояние. Но приобретение жены не входило в планы Алоиза, и потому он исчез, тайно запросив позднее у священника подтверждение брака. В результате он сделался богат, и никто не претендовал — как жена, будь она с ним — на его деньги. Но мысль о том, что жена все-таки есть и что она может разыскать его и потребовать компенсацию за соломенное свое вдовство (или какие-то близкие к тому соображения), не давала Алоизу покоя. И постепенно у него возник зловещий замысел, и он вызвал Эрику.

Ольга Александровна закрыла книгу.

«Но вдруг это не случайное совпадение? — спросила она себя. — Если со мной разговаривал настоящий Алоиз Крюгер, может быть, он и в самом деле ждет свою жену, то есть Эрику. И что, если она действительно едет к нему и не подозревает, что ждет ее? Но тогда я должна вернуться и постараться помешать

ему. Он обозначился, приняв меня за нее. Но если она приехала, он обнаружит ошибку и... Дай-то Бог, чтоб она опоздала».

Сейчас же была остановка, и Ольга Александровна выбежала из поезда. Вскорости подошел встречный, и она поехала обратно.

Когда она вышла на той же платформе, что и полчаса назад, сразу же она увидела Алоиза. Он был один и выглядел абсолютно спокойным.

«Кажется, пока все в порядке, и Эрика не появилась», — заключила Ольга Александровна. Подобно всем невинным созданиям, она представляла, что после преступления убийцу на месте выдаст безумный взгляд и трясущиеся руки.

Алоиз быстро приблизился к ней и остановился в полушаге. Она долго пристально смотрела ему в глаза.

— Ты вспомнила меня, Эрика? — с несколько пренебрежительной интонацией в голосе спросил он. — Я понимаю. Прошло много времени. Ты волновалась. Тебе, наверное, трудно видеть меня. Но я был уверен, что ты вернешься.

— Я уже говорила вам, что я не Эрика, — решительно заявила Ольга Александровна.

— Раньше ты была сговорчивей, — Алоиз улыбнулся.

— Неважно. Не перебивайте меня! — продолжала Ольга Александровна. — Вы ошиблись, к счастью, и я должна предупредить, что не следует делать с Эрикой того, что вы задумали.

— Откуда тебе известно, дорогая, что я задумал? — подчеркнул любезно спросил Алоиз.

— Вот, смотрите! — Ольга Александровна достала из сумочки книгу. — Вам знакома она?

— Я не поклонник романов, — равнодушно произнес Алоиз.

— Сейчас я покажу вам то место, — сказала Ольга Александровна, листая страницы. Она хотела найти ему описание гибели Эрики. Она надеялась, что тогда Алоиз поймет и то, откуда ей известно, и то, что она сможет разоблачить его, если не удастся нарушить его плана. И это заставит его отказаться от гнусного замысла.

Алоиз взял ее руку повыше локтя и сказал:

— Не беспокойся напрасно, Эрика.

Поезд наконец тронулся, и Алоиз Крюгер сильным и коротким, со стороны незаметным движением толкнул ее.

Она вскрикнула и судорожно протянула к нему руки. Он отстранился, и она упала в щель между набирающим скорость составом и платформой.

— Эй, приятель, не проспи свой поезд, а то застрянешь на ночь, — сказал буфетчик и легко похлопал Тони Шварцкорфа по спине.

Тони проснулся, взглянул на часы, — действительно, ему пора, — а провести здесь еще и ночь — нет уж, спасибо, — собрал саквояж и пошел на перрон.

Он ехал около часа. Пытаясь занять себя, Тони вспоминал, что снилось ему, но толком ничего не вспомнил — лишь какие-то размытые лица и отдельные фразы.

Ему надо было сделать пересадку. Выйдя на промежуточной станции, он обнаружил у входа в зал ожидания небольшую группу. Человек пять-шесть обступили тело женщины. Лицо ее было изуродовано ударом, но Тони узнал в ней ту самую женщину, что сбегала с перехода там — в Гайбурге.

Чуть поодаль, под фонарем, стоял молодой человек не очень приятной наружности. Тони не нравились такие усики, какие часто бывают у лейтенантов, — Тони был личностью сугубо гражданской.

Группа сосредоточенно обсуждала, что делать с телом. В конце концов, решили нести его в полицейский участок.

И Тони пришлось обратиться к молодому человеку, потому что больше вокруг никого не было.

— Что случилось? — спросил он.

— Не знаю. Несчастный случай, должно быть, — безразлично отвечал тот.

— А жаль. Довольно хорошенькая была. Вы не находите? — спросил Тони, который сейчас был не прочь поболтать.

— Я не видел.

— А я-то как раз видел. Она так спешила на поезд, чуть не опоздала, — не унимался Тони.

— Мне это не интересно, — холодно произнес молодой человек.

Его нелюбезность обескуражила Тони, но один вопрос не давал ему покоя и слетел с языка как бы сам собой.

— А мы с вами нигде не встречались? Ваше лицо откуда-то знакомо мне.

— Нет. Не думаю.

Тони было уже неловко собственной назойливости, и он собрался небрежно кивнуть на прощанье и отойти, как вдруг... Как вдруг он вспомнил (сначала — смутно, а затем — отчетливо и подробно) недавний свой сон. Он хотел было что-то сказать Алоизу, но тот отвернулся и зашагал прочь. Тони смотрел ему вслед, размышляя, что предпринять.

Раздался свисток — подходил нужный ему поезд.

Тони побежал к пешеходному переходу — такому же, как в Гайбурге, — и только успел спуститься с него и протиснуться в закрывающуюся дверь, как поезд отправился.

В вагоне к Тони Шварцкорфу подошла цветочница, и он купил у нее букет бледных роз для фрау К., которую собирался навестить после долгого перерыва.

...Добрался я, наконец, до Тулы. Пришел на главную площадь. Там самовар стоит. И человек рядом — туляк.

Подсел я к нему.

Он спросил меня:

— Тебе чего, прихожий?

— Мне бы чаю крепкого, если можно, после дороги, — сказал я.

А он говорит:

— Я бы рад угостить, да заварки нет. А кипятка сколько душе твоей угодно. Хоть залейся.

— Моей душе, — сказал я, — много кипятка не угодно, а совсем немного хорошо бы, но с заваркой только.

— Нет у меня заварки — вот и сказ тебе весь, — отвечал он.

А потом предложил:

— Можно что-нибудь и другое заварить.

— Чай не суп — из гвоздя не сваришь, — сказал я.

— А ты пробовал? — спросил он.

— Ладно, — согласился я, — давай пробовать. Только что же заваривать будем?

Он оглядел меня и сказал:

— Вижу, мешок у тебя изношенный. Его и заварим.

— Нет, — сказал я, — его ни в коем случае нельзя, потому как неприятности от этого выйдут.

— А рубашки не жалко тебе? — спросил он.

Жалко, конечно, было, да отступить не хотелось. И заварили мы из рубашки чай. Не очень хороший. Но и не так, чтобы совсем плохой. Выпили. Даже с маленьким удовольствием.

И спросил он:

— А что у тебя в мешке?

— В мешке кот, — ответил я.

— А покажи, — попросил он.

— Нет, — сказал я, — не могу. Убежит он. Лови его потом.

— А цвета он какого?

— Цвета? — сказал я. — Не помню. Давно к нему не заглядывал.

— А кормишь-то как, если не заглядываешь? — спросил туляк.

— Простое дело «как», — сказал я, — положу что-нибудь в мешок — он и доволен будет.

Солнце поднималось и жарче грело. И пить сильнее хотелось.

И я сказал тогда:

— Давай чаю еще сделаем.

— Давай, — сказал он, — если штанов не жалко.

Жалко, конечно, да не отступать же. И заварили чай из штанов. Не хуже, чем в первый раз получилось.

— А все-таки, — сказал туляк, — что за толк в твоём коте?

— Не могу тебе сказать, — ответил я.

А он предупредил:

— Ты меня напрасно не серди.

— Хорошо, — сказал я, — напрасно сердить не буду.

— Сделаем так, — сказал он, — я загадку тебе загадаю. Отгадаешь — не говори секрета своего, а не отгадаешь — твой секрет моим будет.

— Твоя воля, — сказал я.

— Какой герб Орла-города? — спрашивает он.

Я подумал и отвечаю:

— Орел.

— Не угадал, — обрадовался туляк, — решка — герб. Так что сообщай свой секрет.

— В том коте, что у меня в мешке, — сказал я, — сом, а в соме — кролик, а в кролике — удав, а в удаве — еж, а в еже — волк, а в волке — ящерица, а в ящерице — индюк, а в индюке — яйцо, а в яйце — сверчок, а в сверчке — булавка.

— А в булавке-то что? — не выдержал он.

— А в булавке — жизнь. Вот тебе мой секрет, — сказал я.

— Чья жизнь? — спросил он.

— Твоя, конечно, — ответил я.

А солнце еще выше поднялось. И еще жарче стало.

И сказал я:

— Может, еще выпьем.

— Можно, говорит туляк, — если шнурков от кед твоих не жалко.

Их меньше всего жалко было. И из них чай заварили. Слабый он вышел. Но все равно выпили.

А потом сказал туляк:

— А отдал бы ты мне жизнь мою, приятель.

— Не могу, — сказал я. — Не затем я сажу здесь да чай с тобой гоняю.

— Давай тогда бороться, — сказал он. — Ты поборешь — у тебя жизнь моя останется, а если я тебя — возвращай мне ее.

— Твоя воля, — сказал я.

Одолол он меня. На лопатки положил.

— Теперь, — говорит, — верни жизнь-то мою копеечную.

— Нет, — сказал я, — не делается так просто дело. Надо еще бороться.

— Все судьбу свою пытаться хочешь? — спросил он.

— Есть такое хотение, — ответил я.

На этот раз я его одолол. На лопатки не положил, но одолол все же. Огорчился он.

— Что ж, — сказал, — у тебя жизнь моя, значит, останется.

— У меня, — сказал я. — Ты не беспокойся напрасно, я худого тебе не сделаю. Пока время не придет.

— А когда придет, сделаешь? — спросил он.

— Тогда — да, — сказал я. — А ты извини, коли что не так. А за чай — спасибо, конечно.

— А когда придет оно — время мое печальное? — спросил туляк.

— Да зачем тебе? — сказал я. — Живи, пока живется.

— Попробую, — говорит он.

— Успеха тебе, — пожелал я.

А солнце в зенит вошло. Совсем от жары невольно стало. И я еще чаю попросил сделать. И кеды туляку отдал.

Выпили мы по чашке напоследок.

Встал я, чтобы дорогой своей идти. А земля горячая. Сделал я шаг, а больше не смог.

— Видишь, — говорит туляк, — дело-то какое? Непутевое.

— Чувствую, — сказал я.

А он смотрит на меня и усмехается:

— На себя-то взгляни. Неужели и пойдешь так?

Застыдился я, взглянув.

— Давай, — сказал туляк, — я тебе башмаки сыщу, чтоб по земле ступать можно было, и одежду, чтоб прикрылся, а ты мне жизнь за то оставишь.

Нечего делать мне было. Отдал я ему мешок. А он мне одежду кой-какую с башмаками.

И сказал я тогда:

— Слушай, я не весь тебе секрет мой открыл.

— Что еще? — спросил он.

— В булавке той, — сказал я, — не только твоя жизнь, но и моя тоже. Так что, сам понимаешь, не могу я без мешка остаться.

— Твое это дело, — сказал туляк, — а мешок у меня будет. Иди куда дорога тебе.

И пошел я из Тулы. Без того, с чем пришел. А он так на площади и остался. У самовара и с котом в мешке, со своей жизнью и моей впридачу.

СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Довлатов		
Предисловие к книге рассказов «Чемодан»		3
Креповые финские носки, <i>рассказ</i>		5
Номенклатурные полуботинки, <i>рассказ</i>		14
Офицерский ремень, <i>рассказ</i>		22
Поплиновая рубашка, <i>рассказ</i>		32
Зимняя шапка, <i>рассказ</i>		41
Татьяна Бутовская		
Бармалеев переулок, <i>повесть</i>		51
Михаил Городинский		
Текст и слово, <i>рассказ</i>		100
Андрей Столяров		
Цвет небесный, <i>рассказ</i>		109
Вера Кобец		
Судьба Веденеева, <i>рассказ</i>		135
Евгений Звягин		
Небесные бомжи, <i>повесть</i>		153
Владимир Бацалев		
Козявочка, <i>рассказ</i>		185
Эрзац в картинках, на ощупь и задаром, <i>рассказ</i>		190
Андрей Левкин		
Вместествоведение, <i>рассказ</i>		207
Леонид Межибовский		
Денигина и Праггин, <i>рассказ</i>		222
Эрика Крюгер, <i>рассказ</i>		230
Кот в мешке, <i>рассказ</i>		236

**СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС
СБОРНИК**

Редактор **П. В. Крусанов**
Корректор **Н. И. Концевая**

ИБ № 31

Сдано в набор 14.06.90. Подписано в печать 14.08.90. Формат 60×90¹/₁₆. Печать
офсетная. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 15,00. Усл. кр.-отт. 15,00. Уч.-изд. л. 15,98.
Тираж 10 000 экз. Заказ 987. Цена 3 руб.

Объединение «Всесоюзный молодежный книжный центр», филиал «Васильевский
остров». 191028, Ленинград, Манежный пер., 2.

ПО-3 Ленуприздата, 191104, Ленинград, Литейный пр., 55.

СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ

ТАТЬЯНА БУТОВСКАЯ

МИХАИЛ ГОРОДИНСКИЙ

АНДРЕЙ СТОЛЯРОВ

ВЕРА КОБЕЦ

ЕВГЕНИЙ ЗВЯГИН

ВЛАДИМИР БАЦАЛЕВ

АНДРЕЙ ЛЕВКИН

ЛЕОНИД МЕЖИБОВСКИЙ



ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ